

ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ

Ф. НАСТАКИН

# ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ

Ф. НАСТАКИН



## Annotation

Филипп Иванович Наседкин родился в 1909 году в селе Знаменка Старооскольского района Белгородской области, в семье бедного крестьянина. В комсомоле он прошел большой путь от секретаря сельской ячейки до секретаря ЦК ВЛКСМ.

Первая крупная книга Ф. Наседкина роман «Возвращение» издан был «Молодой гвардией» в 1945 году. Затем в нашем же издательстве выходили в свет его книга очерков о Югославии «Дороги и встречи» (1947 г.), романы «Большая семья» (1949 г.), «Красные Горки» (1951 г.), повесть «Так начиналась жизнь» (1964 г.).

Повесть «Великие голодранцы» опубликована в журнале «Юность» (1967 г.). Для издания ее отдельной книгой автор внес много нового. Это повесть о деревенских комсомольцах и коммунистах конца 20-х годов. В ней показаны острая классовая борьба, мужество и героизм сельской молодежи, помогавшей партии проводить социальную, культурную революцию, коллективизацию. Автор являлся активным участником событий, описанных в повести, — это делает ее особенно достоверной и волнующей.

- 
- [Филипп Наседкин](#)

- 

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Филипп Наседкин**  
**ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ**  
**Повесть**



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1968



Бледный огонек в синей лампаде вдруг жалобно заморгал и погас, словно задутый ветром. Мать, сокрушенно покачав головой, взяла в печурке спички и взобралась на лавку. Шепча молитву, она иглой выдвинула фитиль и зажгла его. Потом, как-то неловко повернувшись, взмахнула руками и полетела вниз. Я вовремя подхватил ее и поставил на земляной пол, посыпанный свежим песком.

— Осторожно, ма!

Мать истоиво перекрестилась и со страхом взглянула на темную икону в углу хаты.

— Ох, быть беде! — простонала она. — Неспроста потухла лампадка. И ненапрасно богородица оттолкнула грешницу.

— А ты не накликай беду, — сердито сказала Нюрка, старшая сестра. — Не за что богородице на нас гневаться. Живем не лучше и не хуже других...

Причитая и охая, мать ушла на кухню. Там она готовила куличи, творог, яйца и прочую снедь, чтобы нести в церковь святить. Нюрка вплела голубую ленту в косу, завязала бантом и полезла в сундук за нарядом. На полу у стены Денис, младший братишка, увлеченно возился с опорками, натягивая их на ноги, покрытые цыпками. Он-то, кажется, и совсем не заметил происшествия. Зато я потерянно стоял у окна, будто

пришибленный словами матери. Быть беде. Да, да! Вот сейчас она разразится, эта беда. И ничто на свете не предотвратит ее.

Копаясь в сундуке, Нюрка замурлыкала какую-то песенку. И это в страстную субботу! Когда многие сидят на одной воде, не переставая бормотать молитвы. И когда посреди церкви стоит плащаница с телом господним. Меня вдруг обожгла злость. Вот я дрожу оттого, что не могу притворяться. А другие с легкой совестью напускают на себя притворство. Та же Нюрка. Что тянет ее в церковь? Смирненное желание со свечой в руках простоять всю ночь? Или необоримая потребность молиться перед плащаницей? Ни то, ни другое. Подружки и дружки манят к святой обители. За высокой оградой в густых кустах сирени и черемухи они недурно проведут пасхальную ночь. Так уж заведено исстари. И никто на такой стыд даже не косится.

А Денису зачем нужно в церковь? Покаяться в грехах перед богом? Да откуда они, грехи, у подростка? Ко всюнощной он помчится, чтобы обменять копейки на гривенники. И не один он, многие ребяташки занимаются таким промыслом. Подойдет пацан к плащанице, на которой лежит серебряное блюдо с пожертвованиями, перекрестится кое-как, положит копеечку и возьмет сдачу, в десять раз большую. Через некоторое время — еще раз. Потом — еще и еще. Пока косой пономарь Лукьян не заметит и за ухо не выволокет из церкви.

Мысли эти расстроили меня. Но они и укрепили решимость. Нет, я не хочу обманывать. И будь что будет, а сегодня скажу все. Да и сколько можно мучиться! Уже почти два месяца тянется это. Должен же наступить конец. И лучше будет, если он наступит в этот предпасхальный вечер. Может, не так сурово обойдутся?

В хату вошел отчим. Ему было за шестьдесят. Но выглядел он крепким и здоровым. А теперь даже франтоватым. Ситцевая рубашка подпоясана витым поясом с махрами. Чуть посеребренные волосы зачесаны назад и смочены конопляным маслом. Широкая борода подрезана и раздвоена.

Оглядев нас, отчим остановился на мне.

— А ты что ж, Хвиля, не собираешься? Аль не желаешь вместе с нами?

От его слов похолодело под ложечкой. Вот она, страшная минута. Ждал, готовился, а грянула внезапно. Как гроза в ясную погоду.

— Я не пойду в церковь.

Отчим растерянно заморгал глазами. Нюрка уронила крышку сундука. Разинув рот, Денис не то испуганно, не то удивленно уставился на меня.

— Я не пойду в церковь! — повторил я. — Нечего мне там делать!

В дверях показалась мать. Она слышала мой ответ, и явилась, и теперь смотрела на меня так, как будто я был сумасшедшим.

— Я не пойду в церковь! — громко повторил я, чувствуя, как замирает сердце. — Я записался в комсомол. А комсомольцы не ходят в церковь.

В хате повисла тяжелая тишина. Все смотрели на меня, как на прокаженного. Мать осторожно приблизилась ко мне.

— Что ты такое сказал? — спросила она. — Ну-кось, скажи еще раз.

— Я комсомолец! — твердо выговорил я. — И не верю в бога!

Нюрка пальцами сжала подрумяненные щеки и заголосила на всю хату:

— Анчутка проклятый! Чума бы тебя сразила, окаянный!

Губы матери дрогнули. Впалые глаза сверкнули гневом. Но она не выругалась. И не заплакала. С минуту вглядывалась в мои глаза, будто хотела заглянуть в душу. Потом схватила меня за волосы, повалила на пол и принялась бить. И все молча, яростно, остервенело. Я увертывался, вырывался, закрывался руками, но ничто не помогало. Удары градом сыпались на меня. И я уже готов был запросить пощады, как отчим оттащил мать.

— Не надо, Параня. Ради праздника не бери грех на душу.

Я вскочил на ноги и хотел было броситься вон. Но что-то удержало меня. Должно быть, стыд за трусость? Я стал перед матерью, словно опять подставляя себя.

— Не пойду!.. Хоть убей!

Мать тяжело дышала. Большие красные руки ее дрожали. И вся она тряслась, как в лихорадке. А отчим гладил ее плечи и тихо повторял:

— Не надо, Параня. Не бери грех... Нынче такой день...

Мать вырвалась, снова подступила ко мне.

— А ну, где он у тебя, этот сатанинский билет?

Я невольно прижал руку к груди. Там, в боковом кармане старенького пиджака, лежала книжечка с силуэтом Ильича.

— А ну подай! — требовала мать. — Подай сейчас же! Я сожгу эту греховодную печать, чтобы тебя самого не спалил святой пламень. Подай, слышишь? И ступай в церкву. Всю ночь на коленях молись перед гробом господним...

Я отступил назад.

— Не дам. И не пойду в церковь.

Темное лицо матери перекосилось, будто в судороге.

— Ну, коль так, то убирайся из дому. Убирайся, чтоб духу твоего не было, консомолец...

С этими словами она схватила меня за шиворот и потащила в сени. На пороге так двинула в спину, что я вылетел во двор и растянулся на земле.

— Выродок несчастный! — прохрипело позади. — Чтобы тебя тартарары!..

Глухо звякнула задвижка, и все стихло. Я встал, потер ушибленное колено и заковылял со двора. На улице остановился, оглянулся по сторонам. Над Карловкой уже стлался вечер. Из ворот кое-где выходили первые богомольцы. Разодетые и умиленные, они несли куличи, завернутые в рушники. А в церкви уже вспыхивали и переливались огоньки. Оттуда доносился мерный гул колокола. Он то замирал, точно уносился куда-то, то вновь возникал, тягучий и нудный. Я невольно вслушивался в этот надсадный звон, и мне чудились в нем голоса бога и дьявола, одинаково потешавшихся надо мной.

\*

В сельсоветском доме тоже мерцал свет. Через окно видны были сгрудившиеся над столом ребята. Комсомольская ячейка!

Несколько минут я стоял на крыльце, прислонившись к шершавой стойке. Как рассказать о том, что случилось? Поймут ли? И помогут ли? А как и чем можно помочь в такой беде?

Ребята будто и не заметили меня. Только Маша Чумакова подвинулась, давая место на скамье. А Прошка Архипов, секретарь ячейки, не поднимая глаз от бумаги, сказал:

— Директива за подписью Симонова. Об антирелигиозной пропаганде...

И снова принялся читать — ровно и бесстрастно, как дьячок на клиросе. Ребята заметно напрягали внимание. Выглядели они сумрачными, даже усталыми. Видно, нелегкая попалась директива. Но мне все же они показались счастливыми. Еще бы! За комсомол не ругают, из дому не гонят. Не хочешь, а позавидуешь.

Но вот Прошка закончил читать. Ребята сразу оживились, повеселели. А Илюшка Цыганков, плотный, коренастый парень, спросил:

— Что же будет дальше?

— Как это что? — удивился Прошка. — Будем намечать мероприятия.

— А на кой они, мероприятия? — спросила Маша Чумакова. — Пасха-то в разгаре уже. Слышите, как бухает?..

Мы прислушались. За окнами разливался густой колокольный звон.

Только теперь он казался более частым и нетерпеливым, точно торопил неповоротливых прихожан.

— Да-а, — согласился Прошка. — Директива малость подзапоздала. И все же я считаю... Кое-что надо решить. И прежде всего объявить протест празднику. А в знак протеста отказаться есть куличи и крашеные яйца.

— Как отказаться? — заерзал на скамье Андрюшка Лисицин, известный в селе балалаечник и искусный фокусник.

— А так, — безжалостно продолжал Прошка Архипов. — В рот не брать. Ни одной крохи. Как бы ни упрашивали.

— Ууу! — захныкал Андрюшка. — Другие будут обедаться, а мы облизываться?

Ребята невесело рассмеялись. До еды все были немалые охотники.

— Предлагаю поправку, — сказал Володька Бардин, высокий и чубатый парубок. — Отказаться от свяченных куличей и крашеных яиц... А несвяченные куличи и некрашеные яйца есть наравне со всеми...

Ребята дружно поддержали Володьку. Прошка поморщился и уступил.

— Хорошо, отказываемся от свяченных и крашеных. Это будет первое мероприятие. Второе. Никто не должен подниматься на колокольню и трезвонить. — И строго взглянул на меня. — К тебе в первую очередь относится, Касаткин. А то ты любишь потрезвонить.

— Хвиля же лучше всех на колоколах выделяет, — заметил Сережка Клоков, златокудрый и голубоглазый мечтатель. — Не хуже, чем Ванька Колупаев на гармошке.

— Тем более, — подтвердил Прошка. — Пусть церковники сами славят свой праздник. — И снова бросил на меня суровый взгляд. — Ты понял, Хвиля?

— Понял, — ответил я убитым голосом. — Не буду славить.

— Ладно, — одобрил Прошка. — Следующее мероприятие. Полный бойкот пасхи. Не наряжаться, не разгуливать по улицам, не принимать участия в играх и танцах.

— А что такое бойкот? — спросил Андрюшка Лисицин.

Прошка насупился, покашлял, будто у него что-то застряло в горле.

— Ну, как тебе растолковать? Необращение внимания. Понял? Дескать, меня не касается. Все равно и наплевать. Ясно?

— Угу, — ответил Андрюшка, смешно вздернув свой курнопятый нос. — Как дважды два.

— И дома не праздновать, — продолжал Прошка Архипов — Заняться каким-нибудь делом. А если дела не найдется, читку затеять. Одним словом, все что угодно, только не праздновать. И не поддерживать религию.

— А что такое религия? — спросил Андрюшка Лисицин.

На этот раз Прошка досадливо поморщился, как от чего-то горького.

— А ты чем слушал — ухом или брюхом? Я ж вот тут читал... — И провел пальцем по строчкам. — Вот сказано: религия — орудие... Понимаешь?.. Орудие богатых против бедных. Она способствует... Понимаешь?.. Способствует невежеству и закабалению. А по-другому сказать, религия — опиум для народа.

— А что такое опиум? — не унимался Андрюшка Лисицин.

Прошка снова уткнулся в бумагу. И долго бегал по ней глазами. А потом поднял их и смущенно сказал:

— Насчет этого не объясняется. Сказано «опиум», и все.

— Это такое зелье, — пояснил я. — Примет человек и погрузится в сон. И забудется от жизни.

— А это, что ж, плохо — погрузиться в сон? — поинтересовался Сережка Клоков.

— Понятно, плохо, — продолжал я. — Это ж дурман. Хуже самогону. Хватит бедняк такого дурману и обманет самого себя. Будто жизнь стала не такой, как есть. А очнется, и никаких тебе перемен. Одно только усыпление.

— Правильно, — подтвердил Прошка Архипов. — А нам нужно не усыпление, а борьба. Мы должны бороться за хорошую жизнь, а не одурманиваться.

— А ты откуда про то знаешь? — спросил меня Илюшка Цыганков. — Про этот опиум самый.

— В книжке прочитал, — признался я. — Есть такие. Про религию и попов.

— У них много разных книжек, — сказала Маша Чумакова, улыбнувшись мне. — Алексей Данилыч, ихний отчим, в волости работал. И оттуда привез. Мне отец рассказывал.

Ребята с любопытством и уважением посмотрели на меня, будто я внезапно предстал перед ними владельцем сокровищ.

— Да, — подтвердил я. — Книжек много. Целый сундук.

— И ты все прочитал? — спросил Володька Бардин.

— Не все, а больше половины. Остались только религиозные. А их неинтересно читать. Скука.

Было как-то неловко и в то же время приятно. С карловского хутора я был среди них один. И до ячейки знал их только по имени. Не больше знали и они меня. Потому-то и хотелось похвастать. Особенно теперь, когда мне было так тяжело.

— А сказки есть? — спросил Сережка Клоков. — Такие, чтобы дух захватывало?

— Есть и сказки, — охотно отвечал я. — И рассказы разные. Даже толстые романы. Но больше история. Как жили народы, как воевали меж собой.

— Расскажи про какую-нибудь, — попросил Сережка. — Про самую интересную...

Ребята присоединились к этой просьбе. А Маша опять улыбнулась, будто заранее благодарила меня. Я вспомнил рассказ о мексиканце, который знал почти на память, и сказал:

— У писателя Джека Лондона есть такая книжка...

— Джек? — перебил Андрюшка Лисицин. — Вот так так! А у Комарова кобель Джек. Громадный волкодав...

На Андрюшку зашикали. Все знали про Комаровского кобеля и ничего примечательного не видели в таком совпадении. И все же не удержались, чтобы не выразить возмущения.

— Пристрелить бы этого зверюгу! — сказал Илюшка Цыганков.

— А заодно и его хозяина. Друг дружку стоят!

— Насчет хозяина не знаю, — заметил Володька Бардин. — А вот собаку... Она не сама стала зверюгой. Ее сделали такой...

Когда ребята затихли, я рассказал о юном мексиканском революционере. О том, как победил он опытного боксера и как победой своей обеспечил восставших рабочих оружием. Ребята слушали затаив дыхание. Глаза их жадно горели, а лица то грозно хмурились, то радостно светились.

Под конец Илюшка Цыганков одобрительно сказал:

— Молодец! Не подвел-таки революцию.

— Вот бы нам боксу научиться, — цокнул языком Андрюшка Лисицин. — Тогда бы мы сразились с нашими Комаровыми и Лапониными.

— С Комаровымк и Лапониными надо сражаться не боксом, а идеями, — поучительно заметил Прошка Архипов. — Попробуй заикнись Симонову про бокс. Враз уклон присобачит... — И вдруг подался ко мне. — А у тебя что это? — И ткнул пальцем мне под глаз. — Отчего синяк? От бокса, что ли?

Ребята весело заржали. А я, тоже потрогав у себя под глазом, угрюмо ответил:

— Не от бокса, а от матери. Признался насчет комсомола, а она выволочку устроила. И из дому выгнала...

Новость поразила ребят больше, чем победа мексиканца. Несколько

секунд они смотрели на меня с растерянным изумлением. Маша первой пришла в себя и спросила:

— И как же ты теперь, Хвиля? Где жить-то будешь?

Я опустил голову и еле удержался, чтобы не захлюпать.

— Не знаю...

Ребята разом заговорили, заспорили. Илюшка предложил немедленно отправиться ко мне домой и пригрозить родителям.

— Теперь нет таких законов, чтобы выгонять из дому! Это вам не старый режим, а Советская власть! У нас все полноправные граждане. Хватит родительского тиранства!..

Володька Бардин поймал Илюшкину руку и опустил вниз.

— Не шибко скачи, Илюха, из седла выскочишь... — И когда смех затих, рассудительно добавил: — Дом-то ихний, он же на замке. Все домашние сейчас в церкви. Да и не пронять тетку Параньку таким походом...

Мало-помалу все выговорились и замолчали. А я в наступившей тишине еще острее почувствовал свою безысходность. И с усилием проглатывал один за другим какие-то противные комки, подкатывавшиеся к горлу. Нет у них ничего для меня, кроме сочувствия. А от сочувствия и сожаления только горше на сердце. Вдруг Андрюшка Лисицин подпрыгнул и ударил кулаком по столу.

— Спрячем его, Хвилю! Да так, чтобы ни одна душа не дозналась.

— Как спрячем? — спросил Сережка Клоков. — Куда спрячем?

— А вот слушайте, — сказал Андрюшка и загреб руками, как бы собирая нас в кучу. — Спрячем у кого-нибудь. Ну, хотя бы на неделю. И кормить будем по очереди. Тетка Паранька — норовистая. Это известно. Но она ж мать. Нынче раскипятилась, а завтра остынет. И спохватится. А где ж это мой Хвиля? А куда ж это он делся? И за неделю не только нагорюется, а и наголосится. И рада будет, когда явится. Даже с комсомольским билетом...

\*

Прошка Архипов, у которого я спрятался, жил на Котовке. Так называлась часть Знаменки, расположенная между овражками. За правым овражком тянулись приземистые хаты Княжой, за левым — Новоселовки. Карловка также входила в Знаменку, хотя и располагалась особняком. Это был тридцатидворовый хутор, выросший на помещичьей земле. Хутору

дали имя Карла Маркса. Но на той же мирской сходке название это неожиданно переименовалось. Сразу после голосования наш сосед Иван Иванович, а по-уличному дед Редька, хихикнул в кулак и сказал:

— Вопчем, Карловка!..

С тех пор хутор стали звать Карловкой, а хуторян — карловцами. Вначале многим это не нравилось. Особенно возмущались девчата. А моя сестра Нюрка даже не один раз ревела. Но мало-помалу к названию этому привыкли. А девчата, опять-таки неизвестно почему, уже гордились, когда их величали карловскими.

Спали мы в архиповском сарае на соломе, крепко обнявшись от весеннего холода. На рассвете Прошка куда-то исчез. А я, продрвав глаза, продолжал нежиться. Сквозь плетневую стену уже пробивалось солнце. В Княжой, где стояла церковь, бойко трезвонили колокола. Теперь трезвон пасхальный целых три дня будет разливаться вокруг. Я прислушивался и, сам того не замечая, шевелил пальцами, точно дергал за веревочки колоколов. Кто теперь там, на колокольне, упражняется? Петька Душин, фармазон и задавака? Или Васька Колупаев, забияка и горлопан? И до чего ж бездарно барабанил он, этот звонарь! Сбросить бы его с колокольни за такую чертопляску.

Когда мне надоело лежать, я сполз с соломы и припал глазами к щели в плетне. Сарай выходил на огород. За огородом росли корявые вербы. На них еще не было листьев: пасха выдалась ранней. Но деревья все же скрывали речку Потудань. Быстрая и светлая, она течет и на Карловке. И вся Знаменка расположена в плоскодонной балке на берегах этого неприхотливого донского притока.

До боли захотелось домой. Перед глазами встали мать, отчим, Нюрка, Денис. Что-то они теперь делают? И думают ли обо мне? И что бы сказали, если бы вернулся? Обрадовались бы или не приняли? Семь дней! Таково постановление ячейки. И все эти дни я должен скрываться. Стало до нестерпимости обидно.

А ведь все можно изменить разом. Стоит только захотеть, и все пойдет прежним чередом.

Мысли эти испугали меня, точно были предательскими. Я торопливо достал комсомольский билет и поднес к глазам. И увидел четкий профиль Ильича.

— Нет, нет! — прошептал я, как клятву. — Никогда! И ни за что! На всю жизнь!..

Прошка принес хлеб, картошку, соль, кружку воды.

— Завтракать, — сказал он, раскладывая еду. — Харч будничный. Кулича нет. Мать хотела испечь, но я запротестовал. У секретаря ячейки — и куличи. Насмешек не обобрался бы. Мать, понятно, погоревала, но согласилась. Она у меня передовая. И доверчивая. Вот и сейчас доверилась. Еда, говорю, нужна для комиссара тайного. На неделю, говорю, остановился секретно. Повадки богачей изучает. И все такое прочее. Ну, говорит, коль так, то бери. Против богатеев ничего не жалко. Смерть ненавидит мироедов...

Мне не понравился обман. Я никогда и ни в чем не обманывал свою мать. Но тут, как видно, другого выхода не было. И я, вздохнув, спросил:

— А не проговорится?

Прошка замахал на меня руками.

— Что ты! Могила. Я же — строго-настрою. Ни слова, говорю. И в сарай, говорю, нельзя. Ни под каким видом. Одним комсомольцам можно, говорю. Да и то из-за еды. И донесений о делах богатеев. Так что не дрейфь. Все идет по плану...

Голод уже втягивал живот, и я набросился на завтрак. Через минуту с картошкой было кончено. Посолив оставшийся хлеб, я с наслаждением принялся запивать его водой. А Прошка лежал рядом и задумчиво болтал. Ему хотелось, видите ли, совсем переделать Знаменку. Чтобы похожа была на город. И чтобы крестьяне избавились от частной собственности. И преобразились в рабочих.

— Наши мужики — это же стихия, — говорил он, пугая смелостью. — К тому же — необузданная. А рабочие — передовой класс. На них вся Советская власть держится...

Такое рассуждение тревожило меня. Может, потому, что мне нравилась Знаменка, какой была. И в особенности летом. Когда зреют плоды в садах и шумят над Потуданью вербы. И еще нравились поля, раздольные, черноземные, когда пламенеет подсолнух и в розовой пене кипит гречка.

— Не все сразу, — не удержался я. — Надо сперва классовую борьбу довести до конца. А потом уж и стихию преобразовывать...

Прошка с удивлением глянул на меня, будто я ляпнул несуразность, и встал.

— Пойду займусь чем-нибудь. А то подумают, что праздную...

Оставшись один, я снова растянулся на соломе. И опять мысленно

перенесся домой. Вспомнилось прошлое. Отец погиб в мировую. Мне он запечатлелся молодым и сильным. Мать говорила, что он был к тому же и мастером на все руки: строил дома, ковал лемехи, шил пиджаки, клал печи, вставлял стекла, играл на гармошке. Гармошку мать продала Колупаевым, как только получила известие о гибели отца. Надо же было как-то кормить нас, сирот. И натерпелась же тогда она, мать! День и ночь гнула спину на помещика и кулаков. Даже таскала тяжелые мешки на мельнице Комарова. И все за черствый хлеб, какого не хватало на три рта. Но вот к ней прибился местный вдовец Алексей Данилович Дурнев. Добрый и тихий, он пришел из крепкой, можно сказать, зажиточной семьи. И привел с собой целое хозяйство: лошадь, корову, овец. Тут бы жить да радоваться. Но нет! Грянула гражданская. Шкуровцы, проходившие через Знаменку, увели мерина, взамен оставили клячу. Зимой кляча сдохла, и мы опять стали безлошадными. А тут и другое несчастье: голодные годы. Пришлось зарезать корову, продать овечек. Но и это не спасло. Вместе с матерью мы лежали до неузнаваемости пухлые. А отчим мотался по Кавказу и привозил оттуда оклунки муки, выменянной на скудные вещи. Хлеба этого, конечно, не хватало. Мать мешала его с мякиной, лебедой и еще с чем-то. Все же он поддерживал нашу жизнь и в конце концов помог пережить трудное время.

Нам хорошо было с отчимом, которого мы звали отцом. Никогда не унывающий, он вселял уверенность. И жизнь не страшила неизвестностью. А кроме того, он увлекательно рассказывал. И все о людях, ради других не жалевших себя. От него-то я впервые услышал и о Ленине. Отчим даже подарил мне книжку об Ильиче, которую привез из города. Книжка оказалась нелегкой для моего ума. Но, прочитав ее несколько раз, я все же решил, что Ленин — самый лучший человек на свете. Мать выгнала меня из дому за то, что я стал комсомольцем. Но если бы она знала, кто помог мне в этом, ей пришлось бы выгнать и отчима. Ах, мать, мать! И почему она такая? Чуть что, и уж пускает силу в ход. И все против меня. Нюрку пальцем не трогает. Дениса на руках носит. А на мне все невзгоды вымещает. А их, невзгод, в нашей семье, к несчастью, немало.

И все же я любил мать. И никогда не обижался на нее. Даже теперь, когда она так несправедливо обошлась со мной. И готов был позабыть обо всем, лишь бы сменила гнев на милость. Но на это трудно было рассчитывать.

Ребята дежурили по порядку, установленному Прошкой. Первый день он сам кормил меня. И начинал рассказы о том, как «забивает буки» матери комиссаром.

Потом пожаловал Андрюшка Лисицин, виновник моего заключения.

Он пробирался берегом Потудани, и сапоги его звонко хлюпали.

— Христос воскрес! — весело приветствовал он нас с Прошкой.

Прошка скривился, как от укуса блохи, и нехотя ответил:

— Воистину всмятку! И перестань балагурить!

— Есть перестать балагурить! — отчеканил Андрюшка и принялся выкладывать передо мной хлеб, картошку и крутую пшеничную кашу. — Батяка уже отодрал меня за это балагурство...

Выливая из сапог воду, он рассказал, как накануне заглянул к нашим.

— Уже горюют. Скоро заголосят. Убей гром, не вру!..

Потом была очередь Сережки Клокова. Тот также рано утром забежал к нам, будто по делам оказался рядом. Это был третий день моего исчезновения. В доме у нас уже царило уныние. Глаза у матери краснели, и отчим кряхтел и хмурился. На вопрос Сережки, куда это я запропастился, ответила Нюрка:

— В Сергеевку к родственникам подался. И загостился...

А мать ни словом не обмолвилась. Она ходила как потерянная. И губы ее беззвучно шевелились, точно повторяя молитву.

— Ей трудно, твоей матери, — заключил Сережка, глубоко вздохнув. — Уж очень убивается... Места, видать, себе не находит...

Сергей и Прошка ушли. А я снова почувствовал тоску в сердце. Невмоготу становилось скрываться. А собственный поступок начинал казаться неблагоприятным. Почему это я признался накануне праздника? Не хотелось идти в церковь? Но разве они потащили бы меня силком? Мог же я сказать больным? Голова разболелась или живот схватило. Или еще что-либо. Да мог придумать такое, что и сами остались бы дома. А вместо этого рубанул сплеча. И заставил мучиться. И продолжаю терзать. Нет, будь что будет, а я должен вернуться. И как можно скорее.

Я так и заявил Прошке, когда тот вернулся в сарай. Но он покачал головой и невозмутимо сказал:

— Сиди и не рыпайся. Еще не настало время. А когда настанет, дам знать...

Пришлось смириться. Что поделать? Ведь я был комсомольцем. А комсомолец должен быть дисциплинированным. Тот же Прошка, когда меня приняли, строго предупредил:

— Отныне дисциплина для тебя закон. Как для бойца в строю...

На четвертый день пришла Маша Чумакова. Кроме хлеба и картошки, она принесла кусок кулича и два яйца.

— Угощайся, — сказала она. — А то, должно, проголодался. Немножко задержалась...

Управиться с хлебом и картошкой было минутным делом. Перед тем, как взяться за кулич и яйца, я спросил Машу:

— Свяченые?

Маша торопливо завертела головой.

— Нет! Честное слово! Свяченые они съели, как вернулись из церкви. Маленький куличик и по одному яйцу. Все до последней крошки съели. А я даже за стол не садилась. Притворилась, что сплю. И они не позвали. А дедушка сказал: не трогайте ее. Она ж комсомолка. Ей грех потреблять святую пищу...

Мы посмеялись.

— А потом мать разрешила большой кулич поровну, — продолжала Маша, почему-то опуская глаза. — Я половину своего съела. А половину вот принесла. Попробуй и ты. Вкусный...

Должно быть, сама того не заметив, она проглотила слюнки. Разломив кулич пополам, я положил половину перед ней. К куличу прибавил яйцо.

— Ешь. Не то не поверю, что не окроплено святой водой...

Маша год назад вступила в комсомол. Кулаки долго поливали девушку грязью, распускали о ней ядовитые сплетни. Но грязь не пристала, клевета развеялась, как дым на ветру. А пока судачили злые языки, Маша привела в комсомол Андрюшку Лисицина. А потом и меня подтолкнула. Однажды она сказала, удивленно взметнув темные брови:

— Вот смотрю на тебя и не пойму. И почему это ты не с нами? Всем будто ничего, а сознание отсталое....

Мы долго говорили в тот вечер. А на другой день я передал ей заявление. Очень хотелось, чтобы похвалила. Но Маша и словом не обмолвилась.

И только после собрания, когда меня приняли, порывисто пожала мою руку.

— Вот теперь ты настоящий парень!..

Маша обо всем рассказывала подробно и красочно. Три дня ходуном ходила Знаменка. Самогонка лилась рекой. Конечно, были и драки. Но серьезно никто не пострадал. А теперь люди приходят в себя. Крестятся и чертыхаются. И о пахоте поговаривают. Дни выдались такие теплые, что над полями поднялся пар. Будто проснулась и задышала земля.

— Я вот все думаю, — осторожно добавила под конец Маша, —

может, хватит тебе прятаться? А то, ну как ваши заявят розыск. Хоть бы тому же Моське Музюле. А он такой, что сразу на след нападет. И тогда всей ячейке стыд...

Проводив ее, я опять растянулся на соломе. А если и правда наши заявят розыск? Что тогда? Не уронит ли ячейка из-за меня авторитет? И почему это Прошка выжидает? Только бы выполнить решение ячейки о семи днях? Или другой причине подчиняется?

Шорох прервал мои мысли. Я приподнялся и увидел Варвару Антоновну, Прошкину мать. Она стояла в дверях и смотрела на меня. Вдруг лицо ее перекошилось, глаза сузились и недобро сверкнули.

— Так вот кто тайный комиссар! — прошипела она и, как кошка, двинулась ко мне. — Вот какая нечистая сила тут скрывается! — И, заметив метлу, схватила ее. — Сейчас я проучу тебя, паршивец! Пересчитаю твои ребра, непутевый! Будешь знать, как обжираться чужими харчами, бродяга!..

И принялась мутузить меня метлой, пересыпая удары бранью. И успела в самом деле пересчитать мои ребра, пока я скатился с соломы и вылетел во двор. Но со двора не побежала за мной, а, погрозив метлой, крикнула:

— Ну, погоди же ты, рашпиленок! Вот расскажу матери. Потребую вернуть, что слопал, негодник, и попрошу, чтобы расписала тебе задницу, разбойник!..

Она ушла в хату. А я, пристыженный и обескураженный, поплелся к реке огородом. И до чего ж ярая у Прошки мать! Даже моей вряд ли уступит. А какими словами расшвырялась! И рашпиленок. Ох, уж этот рашпиленок! И кто его только выдумал?

Ну, отчима дразнят рашпилем, пускай так. Ничего не поделаешь. Но я-то при чем? Почему мне страдать из-за этого? Какой же я рашпиленок, если мы не родные?

За огородом, из-за куста, неожиданно вышла Домка Землякова, молодая, занозистая вдова. Она была в сапогах и телогрейке нараспашку. На одном плече — серп. На другом — скрученная в жгут бечевка. Видно, кугу или камыш резала. Рыжие волосы выбивались из-под шерстяного платка.

Окинув меня подозрительным взглядом раскосых глаз, Домка спросила:

— Ну как, здорово тебя шуганула тетка Варька?

Некоторое время я растерянно глядел на вдову, а потом сказал, сдерживая злость:

— А тебе-то что за дело?

— Как же? — рассмеялась Домка. — Это ж я подстроила. Ну да, я. Выследила и подстроила. Гляжу и дивлюсь. Комса каждый день сюда шныряет. И не в хату, а в сарай. Что это, думаю, затевают субчики-голубчики? Подкралась и зиркнула в щелочку. И вижу тебя в натуре. Раскинула умом: за каким лихом тебя к нам занесло? И к тетке Варьке. Так и так. А полюбуйся-ка, кто у тебя в сарае солому перетирает! Вот она и полюбовалась... — И снова усмехнулась. — А и правда, какая нелегкая занесла тебя сюда?

Не ответив, я обошел Домку. Некоторое время чувствовал ее острый взгляд. Потом услышал позади все тот же насмешливый и беззлобный голос:

— Ишь ты, поди ж ты! Цена грош, а за рупь не возьмешь...

На душе стало совсем противно. Теперь вдова разбарабанит по селу. Поползут сплетни. И как это ей удалось пронюхать?

Хотя что ж удивительного? Ребята-то не очень остерегались. И попались на удочку. Будь на моем месте в самом деле тайный комиссар, недолго бы он оставался тайным.

Вода в Потудани была еще мутной и двигалась вровень с берегами.

Но скоро она спадет, посветлеет, покроется звонкими голосами. Шустрая ребятня будет плескаться у берегов, выуживать раков из норок, сачками ловить щурят и плотвичку.

Позади слышались торопливые шаги. Прошка Архипов! Подбежав, он обнял меня за плечи.

— Фу! Думал, что не застану. Ах ты ж, история! Ну, да не горюй. Мы тебя опять спрячем. Да так, что сам Моська не отыщет.

Я рассказал, что все подстроила Домка Землякова.

При этих словах Прошка сразу сник и потемнел.

— Придется ребят собирать. И что-то другое делать. Да и собирать ячейку все равно нужно. Из райкома письмо экстренное... — И подал мне бумажку. — Вот прочти...

Письмо было адресовано всем ячейкам комсомола. В нем говорилось:

«По району ходит слух, что социализм в одной стране построить нельзя. Райком комсомола разъясняет: чистейшей воды ерунда и злостная кулацкая пропаганда. Социализм в одной стране построить можно, и он будет построен. Секретарь райкома Симонов».

Я вернул письмо Прошке.

Он сунул бумажку в карман и, переступив с ноги на ногу, сказал:

— Так что потерпи малость. И погуляй в кустах тут. А как время

придет, я покличу...

\*

Когда ребята собрались, Прошка первым делом прочитал письмо Симонова о строительстве социализма. Потом, озабоченно оглядев нас, спросил:

— Ну как, товарищи? Ясно или нет?

— Ясно! — вразнойбой ответили мы.

— Тогда что ж? — спросил Прошка. — Будем обсуждать или нет?

— А чего тут обсуждать? — возразил Илюшка Цыганков. — Без обсуждения понятно. Социализм построим. А кулакам дадим бой. Последний и решительный.

— А каким он будет, социализм? — спросил Андрюшка Лисицин. — Ну хоть приблизительно?

Мы посмотрели на Прошку. Он покашлял в кулак и сказал:

— Ну, если приблизительно... При социализме все будут равными. И не будет бедных и богатых.

— А куда денутся кулаки? — спросил Илюшка Цыганков.

— Этого я не знаю, — признался Прошка. — Но кулаков не будет. Иначе какой же социализм с кулаками?

— Наверно, их сделают такими, как все, — сказал Володька Бардин. — Отберут лишнее имущество и передадут бедным. Это у тех, кто нажился чужим трудом. А кто разбогател своим трудом...

— Кто разбогател своим трудом, тот не кулак, а просто богатый, — пояснил Прошка. — С ними разговор другой. Их если и придется стричь, так не под одну гребенку с кулаками.

— Да-а, — мечтательно протянул Сережка Клоков. — Интересная будет жизнь. Машины всякие. Даже электричество. Сказка!

Прошка снова покашлял и неуверенно предложил:

— Ну, ежели не будем обсуждать, тогда проголосуем. Кто за то, что социализм в одной стране будет построен, прошу поднять руки!

Мы все подняли руки. Прошка довольно кивнул и сказал:

— Единогласно...

Следующий вопрос был обо мне. Снова ребята ломали голову над трудной задачей. Все сходились на том, что следует как можно скорее вернуть меня в родной дом. Но никто не знал, как лучше это сделать. Просто так привести и оставить? Пригрозить советским законом?

Сельсовет призвать на помощь?

Внезапно Володька Бардин весь выпрямился и засиял, как полный месяц.

— А знаете что? — сказал он, сдерживая возбуждение. — Давайте-ка выберем Хвилю секретарем ячейки. Тогда его никто и пальцем не тронет. Ну да! А как же можно секретаря ячейки трогать?

Предложение Володи вызвало замешательство. Ребята уставились на Прошку Архипова, молча спрашивая его. А тот опустил голову и обиженно потянул носом.

— Воля ваша, как хотите, так и решайте.

Володя, прервав тягостное молчание, рассудительно заметил:

— А ты, Проша, не подумай что-либо. И не обижайся. Ты был хорошим секретарем. И мы не жалуемся. А только нет другого выхода. Да и Хвиля будет не хуже. Смотри, какой грамотный. Полсундука книжек прочитал. А ты даже директиву с трудом разбираешь.

— А мне это даже нравится, — поддержала Маша Чумакова. — Прошка, конечно, хороший секретарь. Да не вечно же ему ходить в секретарях. Походил и хватит. Теперь пускай походит Хвиля...

И другим ребятам такой выход показался подходящим. Почему-то они были убеждены, что секретарство обезопасит меня в семье. Я же нисколько не верил в это. Явись я домой даже в роли наркома, и тогда мать не смутилась бы. Но я все же молчал. Они предлагали меня не только потому, что хотели, защитить от семьи, а и потому, что считали достойным своего доверия.

Все выговорились. Прошка поднял на меня глаза и глухо спросил:

— А ты сам-то как? Обеспечишь руководство? Чувствуешь за собой способности?..

Способностей за собой я никаких не чувствовал и откровенно признался в этом. Ребята опять заспорили и сердито набросились на меня. Упрекали, что я прикидываюсь и унижаюсь. Им даже показалось, что я напрашиваюсь на похвалу. В то же время они обещали помогать и слушаться. В конце концов если вся ячейка не поленится, то и секретарю не будет трудно.

Все же решающее слово оставалось за Прошкой. И ребята, наспорившись, снова уставились на него. А он, шумно вздохнув, сказал:

— Ну ладно. Давайте утвердим его. Пускай походит. Может, даже лучше справится. А я передохну малость...

Проголосовали. Написали протокол. Прошка размашисто подписался. И всем гуртом отправились в Карловку.

Но на подходе к хутору Володька Бардин сказал:

— Нет, ребя, гамузом не годится. Выберем лучше представителей. Я предлагаю... С Хвилей пойдут Прошка и Машка. Прошка, как бывший секретарь, а Машка, как девчонка...

Чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее стучало мое сердце. Неужели мать не переменится? Но стучало сердце и по другой причине. В душе росла гордость за ячейку. Ребята не только не оставили меня в беде, но и выбрали своим секретарем.

Мать, отчим и Нюрка копали на огороде. Денис разжигал костер, на котором висел чугунок. Мать собиралась варить сливуху — пшеничную кашу с картошкой. Нас все встретили настороженно, лишь разогнулись, но даже не выпустили из рук лопат. Казалось, не поверили, что я цел и невредим.

Когда мы остановились перед ними, Прошка солидно сказал:

— Доброй помощи! Принимайте блудного сына. А только теперь он не просто сын, а и секретарь ячейки комсомола. И я представляю его в таком новом виде. И от имени ячейки прошу уважать. А главное, не обижать, так как теперь он неприкосновенный.

Я подошел к матери. Она долго смотрела на меня, будто не узнавая. Потом притянула мою голову, прижала к груди. Так стояли мы несколько секунд. Затем мать отстранила меня, поцеловала в губы.

Отчим тоже подошел, сжал мои плечи.

— Ну, поздравляю! — широко улыбнулся он. — Думаю, ребята не прогадали. Секретарь из тебя должен получиться...

— Вот и хорошо, — заключил Прошка. — Будем считать вопрос исчерпанным...

А Нюрка презрительно фыркнула и насмешливо пропела:

— Подумаешь, какое диво, секретарь! А по мне все одно — комса несчастная...

Она повернулась к нам спиной и с силой вогнала лопату в землю. Мать озадаченно глянула на нее, словно не зная, похвалить или выругать. Маша и Прошка раскланялись и ушли. Я отыскал еще одну лопату и стал рядом с отчимом. Но Денис отвлек меня в сторону. Сунув руку в карман холщовых штанов, он достал две конфеты и протянул мне.

— Возьми, для тебя сберег.

Я взял одну конфету.

— А купил на сдачу с плащаницы господней?

— Угу, — подтвердил Денис, сунув оставшуюся конфету в рот. — За четыре копейки — четыре гривенника. Чистых тридцать шесть копеек.

Я похвалил брата. В конце концов это не так уж много в сравнении с

тем, что заработали на воскресении христовом церковники.

\*

Мать завязала в платок хлеб, картошку, лук. Но я недовольно возразил. Не хватало еще с харчами путаться. Не за тридевять земель отправляюсь. Десять верст каких-то. Мигом отмахую. И к обеду дома буду.

Однако мать настояла на своем.

— Мало ли что? Не ровен час... — И горестно вздохнула. — Вон ты какой оборвыш! Бродяга с большой дороги! Ну как не признают за своего и задержут? Наголодуешься, покуда разберутся. — Она сунула мне в руки узелок. — Даже рубашка полинялая. Постирать бы ту, крепкую. Да откуда ж было знать-то? Не предупредил, что пойдешь показываться...

Выглядел я и в самом деле неказисто. Старые опорки, штаны в латках, куцый, потрепанный пиджачишко. Но бродягой все же не казался себе. Да еще с большой дороги. Тут уж мать пересолила. Другие ребята не лучше одевались. Только богатые в сукно да сатин рядились.

А отчим не разделил ни моей беззаботности, ни опасений матери.

— Еда не беда. В дороге не обременит. Сказано: идешь на день — берешь хлеба на неделю. А что до оборвыша... Не все золото, что блестит. Бывает: на штанах — заплатка, а ума — палата...

Я бодро шагал по накатанной дороге и думал о прихотях судьбы. Почти два месяца страх перед матерью зажимал мне рот. А когда я все же открыл его, был тут же избит и выброшен.

Несколько дней отверженным скрывался в чужом сарае. И вот нате вам — перемена. Да еще какая! Секретарь ячейки. Руководитель организации. Среди хуторян — разговоры. Даже уважение. И дома — что-то похожее на гордость. Мать хоть и вздыхает, но не сердится. А отчим улыбается еще шире и добрее. Лишь Нюрка по-прежнему фыркает. Ну и пусть фыркает. Пройдет время, и она переменится. Обязательно переменится. И даже погордится братом. Об этом я уж как-нибудь позабочусь.

Внезапно на меня как вихрь, налетел рысак, запряженный в тарантас. Чтобы не оказаться у лошади под ногами, я шарахнулся к обрыву, круто подступавшему к дороге, и покатился вниз. Несколько раз перевернулся вверх тормашками. А когда привстал на колени, увидел в тарантасе Комарова, владельца водяной мельницы, и его дочь Клавдию. Мельник сидел прямо и, как заправский кучер, натягивал вожжи. А Клавдия обернулась ко мне, и я увидел на ее лице испуг. Но вот она улыбнулась,

должно быть решив, что прохожий остался невредим, и помахала рукой.

Поднявшись, я обнаружил, что у правого сапога отстала подметка. Должно быть, падая, зацепился за что-то и оторвал ее. К злости прибавилась досада. И надо же было появиться мельнику у этого обрыва! И почему не было слышно, как подкатил тарантас? Помешали радужные мысли или резиновые шины на колесах?

Размотав веревочку, которой были подвязаны штаны, я отгрыз конец и подвязал сапог. Конечно, это не улучшило, а скорее ухудшило мой вид. Но что же было делать? Снять опорки и забросить их куда-нибудь? Но босиком я внушал еще меньшее уважение.

Выбравшись на дорогу, я уже без прежней радости двинулся вперед. И невольно подумал о Комарове. Мельник казался загадочным. Перед революцией он явился откуда-то, купил у помещика мельницу и принялся усердно выколачивать барыши. Почти в то же время в окрестных селах то сгорели, то почему-то испортились и развалились ветряки. И крестьянские подводы с зерном потянулись в Знаменку со всей округи. А мельничные колеса под водяным напором завертелись без отдыха.

На мужиков Комаров смотрел свысока. Советскую власть поносил открыто. И должно быть, за это был в чести у местных богатеев. Они поставили его церковным старостой и объединялись вокруг него, когда подступала опасность. А он не жалел труда, даже денег на мирские дела и скоро прослыл надежным защитником хозяев.

Мне не приходилось встречаться с мельником. И все же в моем представлении он был человеком недобрым. Да и как мог быть добрым богач, выжимавший из народа последние соки? И с Клавдией мы не были знакомы. Большую часть времени она жила в Воронеже у тетки. А к родным навещалась редко. В Знаменке появлялась неожиданно, поражая всех нарядами. Парубки наши побаивались ее. Даже Петька Душин, сердцеед и настыра, и тот не решался к ней подбиться.

«Вот живут люди! — с безотчетной завистью думал я, шагая вслед давно укатившему тарантасу. — Горя не знают, нужды не испытывают. И на мягких рессорах раскатывают. А простой народ... Эхма!..»

\*

И вот я предстал перед Симоновым. Он посмотрел на меня как на чучело, зачем-то обошел вокруг и снова пробежал глазами протокол.

— Да-а, — протянул он, почесывая затылок. — Видик у тебя, прямо

сказать, неважнецкий. Ну, да не одним видом красен человек. Попробуем проникнуть в суть...

И потребовал комсомольский билет. Я достал книжечку, положил на стол. Симонов раскрыл билет.

— Так, Касаткин. А зовут? — И поднял на меня удивленные глаза. — Как, как тебя зовут?

В свою очередь я дернул плечами.

— Там же написано.

— Вижу, что написано, не слепой, — рассердился Симонов. — К тому же сам писал и подписывал. А ты отвечай, когда спрашивают. Как звать?

— Ну, Хвилипп.

— Не Хвилипп, а Филипп, — поморщился Симонов. — И без всякого «ну». Дурная привычка — нукать. Это между прочим. А теперь по существу. Ты что ж, не русский?

— Как не русский? — обиделся я. — Самый настоящий. Можно сказать, чистокровный.

— Чистокровный, а Филипп? — возразил Симонов. — Имя-то иностранное. Да еще монархическое. Испанские и французские короли так назывались. Луи Филиппы всякие.

— Я ж не Луй.

— Только Луя и не хватает... — Он подал мне билет. — Возьми. А имя неподходящее. Для рядового, — куда ни шло. А для секретаря ячейки... — Неожиданно глаза его расширились, будто он заметил что-то диковинное. — А там что у тебя?

— Где? — не понял я.

— Да в узелке.

Я поднес узелок к глазам, будто стараясь угадать, что было в нем.

— Харчи.

— Какие харчи?

— Обыкновенные. Хлеб, картошка, лук.

— Так что ж ты молчишь, балда? — расвирепел Симонов. — Или у тебя совести нет? Я же с голоду подыхаю... — Повелительным жестом он показал на стол. — Выкладывай. Да поживей. А то самого сожру...

Я развернул узелок на столе. Симонов разлепил хлебные скибки и чуть не остолбенел.

— Ух ты! Масленные! Конопляное или подсолнечное?

— Подсолнечное, — сказал я. — Конопляное невкусное.

Симонов с шумом обнюхал хлеб.

— Подсолнечное. Запах свежий. Будто только с маслобойки... — И

вдруг озабоченно: — А ты что стоишь? Присаживайся и угощайся. А то мне одному не справиться.

Я присел к столу, но есть отказался. Не успел проголодаться. К тому же еще не пришел в себя от обидного и холодного приема. Хорошо, что он сам увлекся едой и оставил меня в покое. И дал возможность хоть рассмотреть его. Вот он какой, Симонов! Хотя ничего особенного. Худощавый, приземистый, даже сутулый. Только волосы примечательные — густые, пышные, как шапка. Да глаза бойкие, колючие и продолговатые, как у татарина. А одет не очень-то чтобы уж прилично. Заплат, как у меня, нет, но костюмчику, наверно, сто лет в субботу. Да и сапоги стоптанные, хоть и до блеска начищенные.

— Понимаешь, какая чепуха, — рассуждал Симонов, запихивая в рот хлеб и картошку. — До зарплаты еще три дня, а я уже выдохся. Ни копейки в кармане. А занимать не в моих правилах. Не люблю одалживаться. Все одно отдавать. И получается брешь. Вот и приходится каждый раз перед зарплатой голодать. Так и сейчас. Со вчерашнего дня ничего во рту не было. Аж самого в живот втянуло... — Управившись с одной скибкой, он вытер ладонью рот и глянул на меня потеплевшими глазами. — А ты для чего столько харчей приволок?

Я отвел взгляд.

— Это все мать. «Возьми, — говорит, — не ровен час... Ну, как задержат. А то и посадят...»

Симонов громко рассмеялся.

— Да кто ж тебя тут посадит? Да и за что? К тому же ты секретарь ячейки. Можно сказать, руководящее лицо. И без ведома моего никто с тобой ничего не сделает... — Он аккуратно завязал узелок и подал мне. — Большое спасибо! Так выручил...

Сразу все стало на свое место.

Он принялся расспрашивать меня о жизни и слушал внимательно, слегка наклонив голову. Иногда прерывал, просил повторить, поправлял неверно произнесенное слово. А когда я рассказал обо всем, взял со стола газету и протянул мне.

— Читай. Что хочешь...

Не переводя дух, я прочитал первую попавшуюся заметку. Симонов одобрительно кивнул и положил передо мной чистый лист бумаги. Откинувшись на гнутую спинку стула, он полузакрыв глаза и проговорил:

— Пиши диктант. Значит так... «Октябрьская революция принесла рабочим и беднейшему крестьянству избавление от ига самодержавия. Но она еще не завершила великого дела, ради которого свершилась. Предстоит

окончательно разmozжить голову гидре капитализма и построить новое социалистическое общество...»

Я написал все, что продиктовал он, и подал бумагу. Симонов читал долго, хмурился, морщился и под конец сказал:

— В общем ничего. Но могло быть и лучше... — И снова пристально посмотрел на меня. — Теперь перейдем к политике. Какие, по-твоему, задачи стоят перед комсомолом?

Я подумал и ответил, что комсомольцам в первую очередь нужно учиться.

— Об этом даже Ленин говорил, — добавил я для убедительности. — И слово «учиться» три раза подряд повторил.

Симонов сощурил узкие глаза.

— А ты об этом откуда знаешь?

— В книжке прочитал. А книжку отец в городе купил. Ну, не отец, а отчим, а только это все равно. Вот такая, стало быть, задача. Учиться надо. Без учения мы все одно, что неотбитая коса: сколько ни махай, косить не будет...

Спохватившись, что слишком разговорился, я закрыл рот.

Симонов улыбнулся и сказал:

— Все хорошо. Со всех сторон подходишь. А вот имя... И надо же было тебе подцепить этого Филиппа! Почему бы не Федор?

Это напомнило мне собственную историю. И я, окончательно осмелев, рассказал ее. Еще задолго до моего рождения у матери был первый сын... Его звали тоже Филиппом. Будучи малышом, он забрался на чердак и завозился там с котятками. А в это время кто-то убрал лестницу. Малыш, вылезая из слухового окна, не заметил этого, сорвался и разбился насмерть. Мать тяжело переживала утрату и никак не могла забыть. И вот, когда я появился на свет, крестный решил помочь ей. Узнав, что по святцам имен мне положен Федор, он предложил попу заменить его на Филиппа.

— Чтобы кума Паранька не убивалась по первенцу...

Поп сначала заупрямился, но, увидев в руках крестного целковый, сдался и переделал Федора на Филиппа.

— Это меняет дело, — весело сказал Симонов. — Для меня ты не Филипп, а Федор. Не признаю сделку законной...

Мы поговорили еще несколько минут. А когда прощались, Симонов смотрел на меня так, как будто мы были друзьями.

— Берись смелей, — наставлял он. — И перед трудностями не пасуй. В борьбе с ними закаляется юность...

Отчим был умелым плотником. Он делал разные вещи. Но за шкафы никогда не брался. Для этого, кроме умения, требовался специальный инструмент. Да и нужды в такой мебели не было.

И вот он висит на стене, настоящий шкаф. Маленький, с двумя створками, тремя полочками. С крючками и внутренним замком. Висит и сверкает свежей краской. И такой аккуратный, что залюбуешься. А отчим, забив последний гвоздь, серьезно обращается ко мне:

— Без такой посуды тебе никак нельзя. Дела и бумаги на подоконнике не сбережешь. Ненароком пропадут, растеряются. Да и Дениска порешить может. Сколько книжек погубил малый! А с бумагами ему управиться — раз плюнуть. Вот я и попробовал. И кажись, что-то получилось...

Хотелось обнять отчима, но я удержался. Нельзя было забываться. Секретарь ячейки не подпасок какой-то. Даже не подмастерье. Я кивнул головой и солидно сказал:

— Спасибо, па. С твоей стороны — это похвально. Теперь моя канцелярия будет в надежном месте...

Тут же я уложил на полки папку с директивами райкома комсомола, папку с протоколами собраний и бухгалтерскую книгу, на первом листе которой были старательно выписаны фамилий комсомольцев. Закрыв шкафчик на замок, я опустил ключ в карман. Нюрка, все время наблюдавшая за мной, не выдержала и язвительно заметила:

— И что он дался тебе, комсомол? Какой прок от этой забавы? Вот будешь трепаться, а слова доброго не заслужишь. Даже совсем другое зарабатываешь. Смеяться люди будут, поносить насмешками. Вон меня уже из-за тебя комсихой величают. А за что, спрашивается?..

С Нюркой мы не ладили. Но я не питал к сестре зла. И даже уважал ее. Она была строгой и умной. Да и на вид недурной. Светлые косы, серые глаза, розовые губы. И все прочее — хоть куда. Портил только характер. Ни за что ко всему придиралась. Иной раз так пристанет, что не отобьешься. В таких случаях я закрывал уши ладонями и не отнимал их, пока не отвязывалась. Но теперь я слушал сестру спокойно. Даже с удовольствием. Все-таки забавно было видеть ее злючкой. В такие минуты она выглядела прямо-таки красивой. Щеки пылали, глаза блестели, а темные брови разлетались, как крылья птицы. А когда она выговорилась, заметил:

— Ну, раз уж тебя комсихой величают, так вступай в комсомол. Все

одно терять уже нечего...

Мое предложение возмутило Нюрку. В первые минуты она даже не в состоянии была вымолвить слова. Но потом зачастила как из пулемета:

— Да на черта он сдался, твой комсомол! Да пропади он пропадом вместе с тобой! Сквозь землю бы вам всем провалиться, нехристи проклятые! На сковородке бы вам изжариться, анчутки непутевые!..

Должно быть, она долго кляла бы нас на чем свет стоит, если бы не случилось необычайное. В хату неожиданно вошел дядя Иван Ефимович, никогда раньше не казавший к нам и глаз. Как ни в чем не бывало он перешагнул порог и остановился, улыбаясь во все свое рябоватое лицо. Несколько минут мы растерянно смотрели на него, не зная, как быть и что делать. А дядя, заметив это, довольно хмыкнул и сказал:

— Не ждали? Да я и сам не собирался. Так уж получилось. Проходил мимо и решил. Когда-то надо же посмотреть, как живут родственники...

Первой оправилась от смущения мать. Схватив разохшуюся табуретку, она поставила ее перед деверем.

— Садись, Иван Ефимович! Не брезгуй. Мы так рады...

Иван Ефимович ногой отодвинул табуретку и подошел к отчиму. Тот чуть приподнялся и пожал протянутую руку.

— Да и дело кое-какое у меня, — продолжал дядя, усаживаясь на сундуке. — Вчерась был у Лапонины. Ну, у Петра Фомича. Сапоги он старшему сыну Демке заказывал, вот я заказ тот и доставлял. Известное дело, самогонки выпили, разговорились. Так вот он, Петр Фомич, вами интересовался. Не то чтобы вами, а землей вашей. Надеется, и под яровые сдадите. И хочет знать точно. А потому просил переговорить. Как родственника с родственниками. Чтоб уж знать наверняка. Вот я попутно и заглянул. Как вы думаете-то? Сами будете обрабатывать или сдадите?

Отчим шумно вздохнул и глухо ответил:

— Своих сил нету. И через то сдавать будем. Другого выхода не имеется...

А мать уже суетилась на кухне. Она принесла хлеб, глиняную чашку, ложку. Но дядя остановил ее.

— Ничего не надо. Только от гостей. Да и некогда засиживаться... — И, повернувшись ко мне, одобрительно кивнул: — Слыхал, слыхал. Как же! Поздравляю. И горжусь. Племяк — секретарь комсомола. Молодец!.. — В глазах его, глубоких и хитрых, сверкнули искорки. — А что делать собираешься? Чем ячейка заниматься намерена?

Я пожал плечами и откровенно признался:

— Не знаю. Не думал.

— Э! — осуждающе протянул дядя. — Так не годится. Надо думать. И задавать тон... — Он испытующе осмотрел меня. — И в порядок себя надо привести. Да, да! А то ты вон какой. На штанах живого места нет. А сапоги каши просят... — И, покачав головой, добавил: — С сапогами помогу. А все другое с родителей потребуй...

Иван Ефимович был первоклассным сапожником. Ремеслу научился еще в царской армии. Случайно попал к полковому мастеру в помощники и вернулся домой специалистом. И вскоре прославился на всю округу. Но шил Иван Ефимович только богатым. Бедным его мастерство было не по карману. Да, он был дорогим сапожником. И не любил бедноту. Всех безлошадников считал лежебоками. Сам же большого хозяйства не заводил. И управлялся с ним силами своего семейства.

Мы сидели смиренно и почтительно слушали Ивана Ефимовича. Только отчим еле заметно улыбался. Он то, конечно, хорошо понимал сапожника. Тот решился проведать нас не потому, что проходил мимо. Мало ли раньше доводилось ему проходить по Карловке! Нет. Он явился потому, что один из племянников удостоился уважения. Это-то и польстило гордому дяде. Меня распирала радость. Дядя гордился мной. И обещал сшить сапоги. А раз уж обещал, наверняка сделает.

Внезапно Иван Ефимович оборвал себя и встал.

— Засиделся я у вас, а дома делов пропасть. — И снова задержал взгляд на мне. — А ты приноси сапоги. Сам занят будешь, с Дениской пришли. Хоть завтра... — И вышел, не простившись. За ним последовали мать и отчим.

А мы долго еще молчали, пораженные случившимся. Денис восхищенно цокнул языком и сказал:

— Вона как! Даже дядя стал знаться. А все из-за тебя, Хвиля. Что ты секретарь.

— Тоже мне секретарь! — пренебрежительно процедила Нюрка. — Недотепой был, недотепой и остался. А дядя решил знаться, может, из-за меня.

— Нужна ты ему, как горькая редька, — съехидничал Денис. — Да он на тебя даже не глянул.

— Зато на тебя все время глаза пялил, — огрызнулась Нюрка. — На племяка-сопляка. Ха-ха!

Обиженный Денис дернул Нюрку за косу. Та залепила ему оплеуху. Денис ахнул и бросился на сестру с кулаками. Нюрка, в свою очередь, вцепилась ему в волосы. И началась потасовка.

Еле удалось разнять их. Результаты для обоих оказались

неутешительными. Лицо Дениса было поцарапано, а на плече Нюрки виднелись следы зубов брата. Но ни мать, ни отчим, вернувшись в хату, ничего не заметили. А не заметили потому, что были необычно озабочены. Они долго сидели молча, словно собираясь с мыслями. Потом отчим поднял на меня виноватые глаза и сказал:

— Вот такое дело, Хвиля. Лапонин дяде про наш должок намекнул. И велел отработать. А дядя советует не заноситься...

Я перевел взгляд на мать. Она сильно ссутулилась. Будто на плечи давила непомерная тяжесть. А загорбелые руки на коленях нервно перебирали пальцами. Почувствовав мой взгляд, она с трудом разогнулась, и потрескавшиеся губы ее дрогнули.

— Что ж делать, сынок? Силов-то у нас нет. И денег тоже никаких. Вот и придется смириться. Иначе не выпутаться из долга...

Я ничего не ответил и вышел. Да и что можно было ответить? Их устами говорила нужда, державшая нас в цепких объятиях.

\*

Еще не вставало солнце, а лошади на лапонинском дворе уже были запряжены. У подвод суетился сам Петр Фомич и его сыновья Демьян, или Дема, и Михаил, а больше Миня. Я поздоровался. Дема и Миня глянули на меня с открытой враждебностью и не ответили. Зато Петр Фомич протянул руку. От растерянности я торопливо пожал ее. И вспыхнул от стыда. Вот если бы увидели ребята!

— Стало, согласен работать лето?

— У нас нет другого выхода.

— Хорошо, — сказал Петр Фомич. — Поедешь с ними пахать. — И небрежно кивнул в сторону сыновей. — А сейчас иди завтракать.

Я сказал, что уже позавтракал. И в самом деле перед уходом мать дала мне кусок хлеба и кружку молока. Лапонин недоверчиво осмотрел меня.

— Хорошо, — повторил он. — Будешь ходить за плугом.

— Я пойду за плугом, — попросил Миня. — А он нехай скородит.

Петр Фомич не удостоил сына вниманием.

— Вот так, — продолжал он. — Жить можешь, где желаешь. Хоть у нас, хоть дома. По воскресеньям и церковным праздникам не работаем.

— А по другим праздникам как?

— По каким это другим?

— По революционным?

— Других праздников не признаем... — Он повернулся к сыновьям. — Трогай с богом. Да без огрехов. Шкуру спущу...

Дема и Миня сели на первую подводку, я на вторую. Петр Фомич открыл ворота и осенил лошадей крестным знаменем. Мне он почему-то улыбнулся, и я опять почувствовал, как запылали уши и щеки. И опять с непереносимой тоской подумал о ребятах. Что скажут они, когда узнают об этом? И кого выберут вместо меня?

По улице ехали скорым шагом. Из ворот то и дело выкатывались телеги с сохами и боронами. Заспанные мужики сердито покрикивали на лошадей. Стук колес да ржание жеребят будоражили утро.

У колупаевской пятистенки Дема круто свернул лошадей в переулок, и я увидел Миню, сидевшего в телеге спиной к старшему брату. Миня тоже глянул на меня и, злорадно усмехнувшись, погрозил кулаком. И я решил, что Прыщ не пропустит удобного случая, чтобы отомстить мне.

А произошло это прошлым летом на базаре в городе. Мы с отчимом пригнали туда двух овечек и барана. Надо было продать их, чтобы подкупить хлеба, которого не хватало до нового урожая.

Я долго стоял возле связанных овец и угрюмо рассматривал сновавших взад и вперед людей. А всклокоченный отчим топтался рядом и, протягивая перед собой руки, кричал:

— Овечки продаются! Почти что даром даются! Чистокровные, курдючные! Подходи, наваливайся!..

Но никто не наваливался. Я проклинал в душе шумный и бестолковый базар. Очень хотелось есть. Харчи кончились еще в дороге. Последние двадцать копеек отдали на постоялом дворе. Все надежды были на этих бессловесных овец. Но их никто не покупал.

Лавируя между людьми, в толпе показался босоногий подросток с ведром в руке и звонко прокричал:

— Во-от ко-му во-ды хо-ло-од-но-й!

Бородатый мужик у расписной брички подозвал мальчугана и подставил кувшин. Подросток влил в него несколько кружек, получил деньги и ринулся дальше, радостно вопя:

— Во-от ко-му во-ды хо-ло-од-но-ой!

Голову осенила отчаянная мысль. Не раздумывая, я догнал парня и спросил, где он берет воду. Тот показал на водокачку, возвышавшуюся над площадью.

— Силантьнч отпускает...

В дверях водокачки сидел седобородый старик с желтым лицом. Он недоверчиво оглядел меня и вынес из башни пустое ведро.

— Что в залог?

Я смущенно замялся.

— У меня ничего нет, дедушка.

— Скидывай пиджак...

Я снял пиджак. Старик скомкал его и бросил за дверь. Только после этого он протянул мне ведро.

— Кружка — копейка. Ведерко — сорок кружек. Выручку пополам...

Я подставил ведро под кран, торчавший из кирпичной стены. Старик скрылся в башне, и тотчас сморщенное лицо его показалось в окошке.

— Держи...

Вода лилась светлой струей. Скоро она превратится в звонкие монеты. А потом — в мягкий, вкусный хлеб. А может, и в обрезки колбасы.

Когда ведро наполнилось доверху, старик подал жестяную кружку.

— Не вертайся, покуда не распродашь...

Голод — не родной брат. Он заставит делать все. Так заставил он меня носиться по базару и кричать умоляющим голосом:

— Во-от ко-му во-ды хо-ло-од-но-ой!

Но люди как на грех не хотели пить. День только начинался. Да и был он не жарким. Я таскал тяжелое ведро по площади, густо забитой народом, и с каждой минутой убеждался, что вода не принесет счастья. Еле-еле продал пять кружек и пал духом. И уже собирался завернуть к водокачке, чтобы отдать ведро, как вдруг услышал знакомый голос. Обернувшись, увидел Миню Лапони́на. Тот стоял у своей подводы и махал рукой. Хотелось юркнуть в толпу, но желание хоть что-нибудь заработать пересилило честолюбие. Да и перед кем было стесняться? Перед каким-то Миней, которого в селе ни в грош не ставят? И я решительно направился к лапонинскому возку.

Миня выглядел нарядным, будто был в церкви, а не на базаре. На ногах ладно сидели новые сапоги. На голенища напуском свисали суконные штаны.

Под распахнутым пиджаком видна была розовая рубаха. И только лицо оставалось прежним — бугристым и прыщеватым, за что Миню дразнили Прыщом.

Когда я подошел, Миня расплылся в оторопелой усмешке.

— Хвиляка! — воскликнул он и сдвинул на затылок бархатный картуз с лакированным козырьком. — Ух, ты ж, оказия! И давно водичкой торгуешь?

Я опустил ведро и, не ответив, в свою очередь, спросил:

— Чего хотел, Прыщ?

— А ничего, — сморщился Миня. — Ну и учудил. Скажи кому — смехота!

Никогда прежде не было более противно сытое, засиженное прыщами лицо. Так и хотелось съездить по нему, чтобы сбить ядовитую усмешку. Но я сдержался и, подавив злость, сказал:

— Окликнул, чтобы побалагурить? Если так, то бывай здоров! Некогда зубоскалить.

Но Миня остановил меня.

— Почему кружка? Хочу пить. Сала наелся. Одну кружечку.

— Десять копеек, — отрезал я.

— Десять? — возмутился Прыщ. — Другим же — по копейке?

— Другим — по копейке, а тебе по десять. Берешь, что ли?

Миня вынул кошелек и принялся перебирать монеты. На толстых губах его блуждала загадочная улыбка. Я насторожился. Не иначе, что-то задумал Прыщ. Просто так у него снега среди зимы не выпросишь.

Миня подал два пятака.

— А ну, налей. Выпьем за твою торговлю. Только лей полней. Не жалей.

Я взял деньги и зачерпнул кружку воды.

— Не захлебнись...

Миня сделал глоток и вдруг выплеснул воду мне в лицо.

— Вот тебе! — заржал он. — Не будешь драть по гривеннику, раз цена копейка...

Я вытерся рукавом рубахи, поднял ведро и с головы до ног окатил Миню водой. Тот завизжал, как резанный кабан, и шарахнулся в сторону.

— Рашиленок! — завыл он, отряхиваясь. — погоди ж ты!..

С тех пор Прыщ, когда мы встречались, грозил мне кулаком. Так погрозил и теперь. Только на этот раз погрозил с нескрываемым злорадством, будто удобное время для мести уже наступило.

\*

На загон приехали, когда из земли высунулся огненный край солнца. Пахать стали круговым заходом с отвалом внутрь загона. Впереди за плугом шел Дема. За ним я гнал свою пару. Лошади тянули ровно. Хорошо отрегулированный плуг не требовал больших усилий. За спиной в борозду опускались прожорливые грачи. опережая друг друга, они выклевывали из ноздреватого чернозема червяков.

Когда мы с Демой сделали по несколько кругов, Миня повел на пахоту запряженную в борону третьячку. Кобыленка шла неохотно, громко фыркала, мордой тыкала Миню в спину, коленками поддавала под зад. Миня ругался на всю степь и безжалостно стегал лошаденку кнутом.

А солнце с каждой минутой поднималось все выше и выше, нагревая воздух. И с каждой минутой возрастали капризы третьячки. Я видел, как подпрыгивала она, дергалась в стороны, пятилась назад, чуть ли не садясь на борону. В свою очередь, Миня сильнее хлестал ее, громче ругался и скоро так выбился из сил, что упросил старшего брата сделать перерыв. Дема разрешил выпрячь кобыленку. Хныча и бранясь, Миня вывел третьячку из постромок, отвел на целину и так стреножил, что та не могла двигаться.

— Но, но! — покрикивал я на послушных лошадей, держа плуг в руках. — Но, пошли, но!..

Рубашка на спине взмокла и прилипла к телу. Я сбросил ее и пошел по пояс раздетым. Жаркие лучи накаляли мускулы, а ласковый ветерок обвевал лицо. Осмелевшие грачи подходили совсем близко, пролетали над самой головой. Казалось, еще немного, и они без стеснения станут усаживаться на плечи.

В полдень Дема остановил своих лошадей.

— А ты пройди три круга, — приказал он, не глядя на меня. — Твои ишо не пристали...

Все было ясно. За это время они успеют пообедать, а мне оставят обеды. Но я не возразил. Они хозяева, я работник. Их дело приказывать, мое выполнять. Такой была уродливая правда.

В поле было немногочисленно. Лишь кое-где мужики ковыряли сохами пырейную землю. А поблизости от нас — и совсем никого. Я радовался этому. Не хотелось попадаться на глаза ребятам. Что сказали бы они, увидев меня за чужим плугом? Хотя что же в том позорного? Резали же мы с Машей прошлым летом у Лапониных подсолнух? А ведь она тогда уже была комсомолкой. Верно, я был не только комсомольцем, а и секретарем ячейки, но что же оставалось делать? По нужде, а не по охоте приходилось батрачить.

Обойдя третий круг, я выпряг лошадей и подвел их к телеге. На ней был приготовлен овес. Дема и Миня лежали в тени под своей телегой. Они уже крепко спали. Кто-то из них звонко захлебывался храпом. На грязном мешке я увидел ломоть черствого хлеба и кусок ржавого сала. Хлеб отдавал прогорклостью, а сало было нелегко разгрызть. Я с усилием двигал челюстями и все же проглатывал его неразжеванным.

Заморив голод, я отошел в сторону и прилег на траву. Какие же поганые люди, эти Лапонины. Работать заставляют за двоих, а накормить скупятся. Как же можно жить в ладу и согласии с такими тварями?

\*

Удар в бок разбудил меня.

— Хватит прохлаждаться, — проворчал Дема, зло хмурясь. — Пора вести лошадей на водопой... Тело разламывала усталость. Почему-то кружилась голова. Но я превозмог все и встал. И хотел было сесть на вороную, на которой работал. Но Дема предложил вести третьячку.

— А лошадей мы поведем сами...

По толстым, жирным губам Прыща скользнула злорадная усмешка. В такую жару на кобыленку небезопасно было садиться. И в самом деле третьячка встретила меня настороженно. Она словно догадывалась, какая неприятность ждет ее. Настороженно держалась она еще и потому, что видела, как все дальше и дальше удалялись лошади, с которыми никогда не расставалась.

Взнуздав и растреножив кобыленку, я вскочил ей на спину. От неожиданности она взвилась на дыбы и прыгнула вперед. Я рванул повод и так осадил ее, что сам чуть было не перелетел через ее голову. Но третьячка и не думала сдаваться. Внезапно она грохнулась на землю и повалилась на спину. Я едва отскочил в сторону. Но не успела она встать, как я уже снова сидел на ней. Удар путом потряс ее. Она рванулась галопом, фыркая и раздувая ноздри. Я держался за гриву и хлестал ее путом.

— Вот тебе, дрянь! Ты у меня запляшешь! И запросишь пощады!..

А Дема и Миня, круто свернув влево, рысью погнали лошадей к яружке, заросшей мелколесьем. И до чего же коварные эти братья Лапонины! Хотят, чтобы третьячка сбросила меня под деревьями? А только не дожидаться им этого. Не на того напали. Я не доставлю им удовольствия поиздеваться надо мной. Однако, натянув повод, я почувствовал страх. Третьячка закусил удила. И, сгибая шею, продолжала скакать во весь опор. Карий глаз ее косил и, казалось, подтрунивал над седоком. Я снова что есть силы рванул повод на себя. Кобыленка лишь круче выгнула шею и еще быстрее помчалась по степи. Она крепко держала в зубах стальные мундштуки и не собиралась выпускать их. Что было делать? Спрыгнуть на землю? Но на таком скаку не мудрено разбиться

вдребезги.

Между тем Дема и Миня уже спускались в яружку. Это окончательно взбудоражило кобыленку. Она дико заржала и еще пуще понеслась к зарослям. И со всего разбега шарахнулась в них. Я сильнее прижался к ней, крепче обнял ее за шею. Лицо спрятал в жесткую гриву. Только бы не задело суком, Только бы не сбросило.

А третьячка, словно взбесившись, носилась по кустам, бросалась в самую чащу. Под низкорослыми деревьями коленки мои больно ударялись о корявые стволы. В боярышниковых зарослях иголками зацарапало по спине. Чем-то стукнуло по голове, и я чуть было не слетел. Схватившись за повод, я натянул их. Третьячка прыгнула и осела. Оказывается, она выпустила удила, испуганно заржав, когда лошади скрылись с глаз. А я-то не догадался об этом и подверг себя страшному испытанию. Весь дрожа от ярости, я рвал рот лошаденке стальными мундштуками.

— Сатанинское отродье! Я научу тебя, как держаться с человеком.

Третьячка скоро затихла и остановилась. Я спрыгнул на землю, сбросил повод с ее шеи. Хотелось надавать ей, но я подавил это желание. Сейчас лучше всего приласкать ее, успокоить. Я протянул к ней руку.

— Ну, ну, не бойся! — сказал я, когда кобыленка попятилась назад. — Не трону, дурашка! Мы с тобой не виноваты. Это они, наши хозяева, все подстроили. Им надо было меня искалечить...

Я погладил ее лоб. Третьячка опустила голову и лизнула мою руку. Крутые бока ее все еще ходили ходуном. Но она все же успокаивалась.

Намотав повод на руку, я повел кобыленку по косоюру. И скоро присоединился к Деме и Мине, поджидавшим в низине.

— Где застрял? — хмуро спросил старший Лапонин, сделав вид, что ничего не замечает. — Ждать заставляешь...

А Миня взирал с угрюмой злобой. Прыщ был уверен, что третьячка изувечит меня, и досадовал, что ошибся.

— Потрепала, видать, секлетаря кобыленка? — наконец, ослабил он. — А я аж испужался. Лишится, думаю, комса головы...

Взобравшись на третьячку, я поехал за ними. Вскоре впереди блеснула Потудань. Лошади, завидев воду, ускорили шаг. Ускорила шаг и третьячка. Но я осадил ее и заставил идти спокойно. Она неторопливо вошла в речку, пила жадно. Несколько раз отрывалась от воды, косила на меня глазом и снова пила. Я ловил на себе удивленный взгляд Демы, который редко чему удивлялся, и чувствовал в душе радость.

После водопоя Дема предложил мне работать на бороновании. На этот раз я не удержался и запротестовал:

— Петр Фомич сказал, чтобы я ходил за плугом.

— Тут не Петр Фомич хозяин, а я, — рявкнул Дема. — А потому делай, что приказывают. Не то можешь убираться на все четыре стороны...

Третьячка к бороне шла беспокойно. Я замахивался на нее. Взять бы да и пустить ее по полю. Пускай бы прыщеватый Миня побегал за ней. И попробовал бы оправдаться перед отцом, что не успел забороновать пахоту. Но я тянул за собой третьячку и вспоминал просьбу родных. Надо было выпутаться из лапонинского долга. Он, этот долг, не давал покоя ни матери, ни отчиму.

Самое опасное — оказаться позади кобыленки. А она, словно понимая это, без конца переступала постромки. Я грозился кнутом и осторожно выпрастывал ее ногу. И она не брыкалась, будто понимая, что из этого все равно ничего не выйдет. Но опять шла непослушно. Не хотелось тянуть тяжелую борону. К тому же все еще было жарко. Потели бока и плечи под хомутом. И она беспрестанно дергалась, подпрыгивала, толкалась коленками. Один раз даже сбила меня с ног. Я выпустил повод, но подхватил его в тот миг, когда она готова была метнуться в сторону. Даже сердце зашло от страха. Она же могла перевернуть борону вверх стальными зубьями, напороться на них, запутаться, задушиться в постромках. Я обмотал себя поводом. Повиснуть на нем, если кобыленка вздумает снова вырваться. Но она вдруг обмякла, присмирела, будто решив, что сопротивление все равно бесполезно. И лишь изредка всхрапывала и засовывала мне нос под мышку.

Забороновав вспаханное, я снял с третьячки хомут и спутал ее на целине. Потом налил из жбана полный картуз воды и поднес ей. Кобыленка выпила с жадностью и доверчиво положила морду мне на плечо. Испытывая волнение, я гладил ее шею и подбадривающе говорил:

— Ну, ну, милка! Все будет хорошо. Вот увидишь. Приличная из тебя выйдет лошадь. Работящая и безответная...

Дема окликнул меня и, когда я подошел, сердито сказал:

— Хватит нежничать. Передай кобыленку Мишке. А сам становись за плуг...

Опять все ясно. Третьячку можно не запрягать час, другой. Да и жара спадала. Лошаденка уже не будет капризничать. А до конца ходить за

плугом у Мини — кишка топка. Вот и упросил брата. Но я опять ничего не сказал и пошел за плугом. Противна была собственная безропотность. Но ничего другого не оставалось. Дема мог бы снова предложить мне убираться на все четыре стороны. А то и сам прогнал бы. И отцу наврал бы, что я отказался работать. А кому бы поверил Петр Фомич, батраку или родному сыну?

Голод нудно сосал под ложечкой. Но руки крепко держали плуг. Все так же отваливался подрезанный лемехом лоснящийся пласт чернозема. Чья это была десятина? Какого безлошадника? И сколько их будет, таких бедняцких десятин? Все до одной мы засеем пшеницей и рожью. Осенью соберем с половины этой земли урожай и свезем в лапонинские амбары. А из амбаров хлеб этот по весне будет продан тем же беднякам. Только втридорога. Да, так оно и будет. Но все же добывать эти бедняцкие деньги теперь им приходилось куда труднее, чем раньше. Раньше только батраки работали на их лошадях. Теперь же и самим приходилось лямку тянуть. Значит, не все теперь можно делать чужими руками.

\*

Но мне недолго пришлось работать у Лапониных. Однажды в поле появилась знакомая фигура. Это был Симонов. И держал стопы он не куда-нибудь, а прямо к нам.

Я развернулся в конце загона и остановил лошадей. Хотелось, чтобы Дема, пахавший впереди, ушел подальше. Но тот тоже остановился. И, прислонившись спиной к ручке плуга, принялся свертывать сигарку. Это не сулило ничего хорошего, и я бросился было навстречу Симонову.

— Не смей без спросу! — грозно крикнул Дема. — Не у себя дома...

Размахивая парусиновым портфелем, Симонов подошел ко мне и рукавом вытер пот со лба.

— Это что ж такое, а? — сказал он, не поздоровавшись. — Секретарь ячейки — и батрачит у кулака. Как же ты решился на это? Да знаешь ли ты, что у всего Ленинского комсомола уши горят от стыда за тебя?

Дема медленно приблизился к нам и мрачным взглядом смерил Симонова с головы до ног.

— А ты кто такой? И какое имеешь право соваться?

В свою очередь, Симонов пренебрежительно оглядел Дему.

— А ты кто такой, чтобы соваться в чужой разговор?

Дема сжал кулаки и выгнул багровую шею.

— Я тут хозяин. И не позволю проходимцу...

— Осторожней на поворотах. А то брякнешься, хозяин.

Дема шагнул к Симонову.

— А ну, проваливай... — Он матерно выругался. — А то дам в зубы...

Я стал рядом с Симоновым, Глаза Демы полезли на лоб. Но тотчас снова спрятались в глазницах, закрылись припухлыми веками. Обернувшись к телеге, он вдруг заорал:

— Ми-иш-ка!

Будто оглушенный, из-за телеги выскочил Миня. Спросонья ошалело уставился на нас.

— Топор! — крикнул Дема. — Я их... в душу мать! В землю закопаю. Никакая гыпыу не отыщет...

Я со страхом смотрел на Дему, Мускулы на волосатых руках у него бугрились. Темное лицо перекашивалось в злобе. Он рывком вырвал из рук трясущегося Мини топор и поднял над собой.

— Вот я вас!..

В ту же минуту Симонов вынул браунинг и направил его на Дему.

— А ну, подходи, гад! Попробуй, кулацкая морда! Посмотрим, кто кого закопает!

Сразу побелевший Дема опустил топор.

— То-то! — усмехнулся Симонов, пряча пистолет. — Молодец на овец. Сволочи! Подождите, мы вам покажем... — И приказал мне: — Пошли, Касаткин. Теперь-то уж тебе нечего тут делать...

Я подобрал на обочине пиджак и побежал за Симоновым. Он шел скорым шагом, широко размахивая портфелем. Долго молчал, будто обдумывал случившееся. А потом с гневом сказал:

— Кровососы! Когда только мы избавимся от них? — И, повернувшись ко мне, заметил: — Своим поступком ты оскорбил Ленина...

Его слова громом поразили меня.

— Как Ленина? Почему Ленина?

— Ленин ненавидел кулаков, — продолжал Симонов. — И считал их злейшими врагами Советской власти. Они ежечасно, ежеминутно порождают капитализм. И притом в массовом масштабе. Понимаешь? А ты пошел в услужение к кулаку. Ты, комсомолец, вожак Ленинского комсомола! Да это оскорбление Ильича!..

Оскорбить Ленина! Это уж действительно слишком. Но откуда же мне было знать, как Ленин относился к кулакам? И что было делать? Ведь семья в долгах у этого Лапонины. А кто ж их отработает. Мать? Старый отчим? А выплатить нечем. Как же быть?

Заметив мое понурое настроение, Симонов успокаивающе сказал:  
— Не падай духом. И не теряй классовое чутье. А сейчас идем домой. Сам переговорю с родителями и постараюсь убедить их...

\*

Мать очень боялась начальства. Испугалась она и Симонова. А когда узнала, что случилось, расплакалась.

— И что же нам теперича делать? Чем расплатиться с Лапониным?

— А ничем не расплачивайтесь, — посоветовал Симонов. — Вы ничего не должны ему. Конечно, — подтвердил он, когда мать растерянно глянула на него. — Он и так слишком много драл с бедняков. Хватит эксплуатации.

— Да он же нас к ответу потянет, — снова запричитала мать. — Судом засудит.

— Пусть только попробует, — сказал Симонов. — Мы его самого скоро засудим. Хватит этому кулачью измываться.

— А ты не убивайся, Параня, — ласково обратился отчим к матери. — Товарищ правду рассказывает. Мало ли силов ты на них положила? И ежели по совести, то не ты, а они тебе должны... А Хвиле и впрямь негоже у них работать. Как-никак, а он все же выборное лицо...

Меня обрадовало заступничество отчима. Все, что угодно, только не работа у Лапониных. После того, что случилось, они угробили бы меня. А кроме того, не мог же я и дальше оскорблять Ленина. Но я ничем не показал своих чувств.

А Симонов изо всех сил старался успокоить мать и отчима. Их сыну оказано большое доверие. Оправдать его надлежит с честью. Что же касается оплаты за труд... В нашем обществе всякая работа должна оплачиваться. Со временем будет оплачена и работа секретаря комсомольской ячейки.

— Я вот как раз собираюсь переговорить об этом в вашем сельсовете, — говорил Симонов. — Чтобы подыскали ему что-либо платное по совместительству. У нас многие секретари разные работы совмещают...

Мать вытерла красные глаза, глубоко вздохнула и предложила нам пообедать. Она поставила на стол чашку борща, положила перед каждым по краюхе хлеба. А когда мы дружно разделались с борщом, потолкла пшенной каши и полила ее молоком. За несколько дней я впервые

почувствовал себя сытым. И Симонов заметно повеселел. Он принялся уверять мать и отчима, что скоро жизнь изменится к лучшему и что бедняки получают от государства серьезную помощь.

— Да, да! — восклицал он так, как будто государственная помощь уже была не за горами! — А как же иначе? Ведь государство-то у нас рабоче-крестьянское!

Мать слушала Симонова и напряженно думала. Это видно было по ее лицу, собиравшемуся в густые и мелкие морщинки. Она боялась не только начальства, а и бога. Даже бога больше, чем начальства. А бог, как она верила, велел возвращать долги. И потому-то, снова тяжело вздохнув, она сказала отчиму:

— Придется, отец, последних овечек на базар везти. Послезавтра как раз суббота. Погонишь вместе с Дениской...

\*

После обеда мы отправились в сельсовет. Симонов решил поговорить с комсомольцами.

— Важное дело затевается. Всем засучить рукава придется...

По дороге к нам присоединился Костя Рябиков, высокий и сухопарый хуторянин. На Карловке он был единственным коммунистом и выполнял обязанности уполномоченного сельсовета. С Симоновым, которого знал, Рябиков поздоровался дружески, а на меня глянул со строгим осуждением.

— Ты что же, на все лето к Лапониному подрядился?

— Уже все кончено с Лапониным, — ответил за меня Симонов. — Только что я вырвал его из кулацких когтей. И с родителями вопрос этот уладил. Так что вот так. Будет он теперь заниматься комсомолом. И может быть, еще каким-нибудь делом...

В сельсовете мы застали председателя Лобачева и секретаря Апанасьева. Они сидели за сдвинутыми столами и скрипели перьями. Достав памятку, Симонов принялся передавать им какие-то указания райисполкома. Потом попросил собрать комсомольцев и завел разговор обо мне. Он сказал, что у меня есть необходимые задатки и что это дает право думать, что из меня что-нибудь выйдет.

— Но ему надо создать условия, — говорил Симонов, бросая на меня жалостливый взгляд. — Поставьте его избачом. И пусть себе избачит на пользу людям. Многие наши секретари совмещают такую работу. И получается ладно.

— Так у нас же нет избы-читальни, — возразил Лобачев. — Книг какая-нибудь малость. А помещение так и совсем отсутствует.

— Будет избач — будет и изба-читальня, — не сдавался Симонов. — Книги, помещение — все наживное. А сегодня главное — комсомол укрепить. И секретаря пристроить.

— Опять же избач, — упорствовал Лобачев, — это же такой человек... От него и культура, и грамотность, и понятие требуются.

— За культуру мы как раз и собираемся братья. А грамотней его у вас поискать. Я сам проверил. И понятие у него есть. А ежели до чего сам не дойдет, так ведь работать будет под руководством партячейки.

— Ладно. Посмотрим. Может, что и найдем.

— Вот, вот! — обрадовался Симонов, будто речь шла о нем самом. — Только, смотрите, побыстрей.

А то ему работать надо. А для этого нужны условия. Хотя бы самые минимальные...

Между тем из большой комнаты уже доносились голоса. Скоро сельисполнитель доложил, что все ребята в сборе. Вместе с нами вышел и Лобачев. Он сел рядом со мной. По другую сторону от меня сел Симонов. Зажатый между ними, я почувствовал, как жар разлился по телу. А язык стал таким деревянным, что трудно было повернуть его. Все же, собравшись с духом, я выдавил из себя:

— Собрание ячейки считаю открытым. Будем слушать доклад товарища Симонова. Предоставляю ему слово.

Симонов встал, подумал и сказал, как будто нас была целая сотня:

— Дорогие товарищи! Начинается поход за культуру. И мы с вами, комсомольцы, должны стать застрельщиками этого большого дела...

\*

Дядя сдержал слово. Сапоги вышли на славу. Как новые. Даже с рантом. Таких я сроду не носил. А главное, дядя не взял ни копейки.

— Подарок, — сказал он, и я впервые заметил на его рябоватом лице что-то похожее на улыбку. — Не чужие...

Нашлась у него и вакса. Я смазал сапоги и так наярив суконкой, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Володька Бардин одолжил свои штаны. Хоть не новые, но крепкие. Мать разрешила надеть ситцевую рубаху, подштопала рукава пиджака. И я получился аккуратным, даже нарядным.

На конференцию от ячейки вызвали меня одного. Но я пригласил и Машу Чумакову. Вдвоем сподручней. Я же никогда еще не бывал на таких конференциях. Хорошо бы с Прошкой Архиповым. К таким делам он уже успел приноровиться. И мог бы в случае него подсказать, что и как. Но Прошка, как на грех, накануне подался в соседнее село к родственникам. Вот и пришлось прихватить Машу.

Маша вынырнула из калитки, едва я подошел к их дому. Выглядела она свежей и радостной. В руках держала желтый баульчик. В нем нашлось место и для моих харчишек. Я взял баульчик, и мы двинулись в путь. По улице шли молча, как жених и невеста. А за селом, когда вышли на дорогу, петлявшую берегом Потудани, Маша сказала:

— Отчего так устроено? Сейчас вот весна. Потом будет лето. Потом осень, зима. И так все время — круг за кругом. А зачем? Как хорошо было бы, если бы только одно лето и чтобы все время светило солнце, а в садах зрели плоды.

— Есть страны, где круглый год лето, — заметил я. — Да еще какое лето! Жарынь — спасу нет.

— А почему у нас так? Почему у нас лето короткое, а зиме конца не бывает?

Я равнодушно пожал плечами.

— Природой так положено.

— А почему?

— Кто его знает. Такой, видно, порядок...

Некоторое время шли молча. Я шагал крупно, размахивая баульчиком. А Маша часто семенила смуглыми ногами, обутыми в башмаки. Черная юбка едва закрывала ее колени, а белая кофточка ладно облегла худенькую талию.

— А ты хотел бы жить там, где все время лето?

Я подумал и сказал:

— Нет. Мне нравится дома. Я люблю не только лето, а и весну, осень и даже зиму.

Маша тоже подумала и сказала:

— И мне дома нравится. Вот только бы лето подлиннее, а зима покороче. Не люблю, когда холод...

Опять замолчали. Маша часто ступала, словно боялась отстать. Иногда касалась золотистыми завитушками моего плеча.

— Нет, природу можно не трогать, — снова заговорила она. — Пусть будет какая есть. А вот жизнь... — И, помолчав, задумчиво добавила: — Жизнь я бы переиначила. Как бы в моих силах, я оставила бы одну

только молодость.

— А мне хочется поскорее стать взрослым, — возразил я. — Чтобы покрепче на ногах стоять. И побольше знать...

Маша окинула меня быстрым взглядом.

— Ты и так крепко стоишь. И знаешь уже немало. А что до взрослости... Бывает, и взрослые слабо стоят и мало знают...

Мы шли скорым шагом. Под ногами шуршали комочки сохлой земли. Солнце светило тепло и ласково. Луг покрывался яркой зеленью, на реке вспыхивали блики. А на вербах, тянувшихся по берегам, трепетали на весеннем ветру молодые листья. Было как-то необыкновенно хорошо.

Внезапно Маша бросила на меня пытливый взгляд и сказала:

— Вот начинается культпоход. А я так думаю. Начинать его надо с самих себя. Чтобы другим пример показывать. И за собой вести. Ты согласен?

— Конечно, согласен, — горячо сказал я. — Во всем показывать пример. Иначе какой же это будет комсомол?

— Верно, — подтвердила Маша. — А потому посмотрим на тебя.

— На меня?

— Ну да. Ты ж наш секретарь. Значит, в первую очередь должен пример показывать. Всем и во всем. А какой ты? Наверно, со дня рождения не стригся. Волосы вон, как у девки: хоть косы заплетай. А на руки глянь. Под ногтями-то что? Грязюка непролазная. А ногти ты не обрезаешь, а обгрызаешь...

Если бы она стегала меня кнутом, и тогда не так больно было бы. Я сгорал от стыда и готов был провалиться сквозь землю. Или убежать куда-нибудь без оглядки. Но надо было идти рядом. И не просто идти, а и отвечать. Соглашаться или спорить. Но желания не было ни соглашаться, ни спорить. Соглашаться стыдно, а спорить не о чем. Ведь она была права. У меня и в самом деле волосы свисали, как у попа. И насчет ногтей правда. Я действительно обгрызал их. И не один я. Многие ребята грызли ногти. Но это, конечно, не оправдание. Тем более что речь идет о примере.

— Что же теперь делать? — спросил я, стараясь перевести разговор в шутку. — Как же быть?

— А очень просто, — деловито ответила Маша. — Зайдем к парикмахеру. Есть в райцентре такой мастер. Пострижешься — и все будет хорошо.

— Но мастеру небось платить надо?

— А то как же?

— А чем же я заплачу? У меня же ни гроша в кармане.

— Я одолжу. Отдашь, когда будут... — Она снова заглянула мне в глаза и потупилась. — Ты не обижайся. Я говорю это, чтобы ты был лучше, потому что ты наш вожак. А кроме того, я... я люблю тебя... — В ее ясных глазах вспыхнул страх, будто сама испугалась того, что сказала. — Люблю не как-то там, — торопливо поправилась она, — а без всякого... Как товарища, как друга... И хочу, чтобы ты был самым лучшим...

Обида, досада, стыд — все куда-то разом улетучилось. И оставалась одна только Маша. Простая, чудесная Маша! Хотелось крепко обнять ее. И тоже не как-то там, а по-дружески. Но я ничем не показал своих чувств. Что-то мешало, сковывало. Что же?

\*

Перед началом конференции Симонов, поймав меня у входа в зал, предложил:

— Будешь выступать. Даже первым. Так что вот так. опытом поделись. О мероприятиях расскажи...

Язык мой прилип к небу. Я смотрел на Симонова и молчал. Он по-своему понял это молчание и одобрительно кивнул.

— Вот и хорошо. Постарайся расшевелить ребят. Нажми на практику.

Почему Симонов выбрал меня? И почему наметил первым? Хоть бы дал послушать других. Чтобы можно было прикинуть. А то первым выползай и выкладывай. А что выкладывать? Ячейка-то пока ничего не делала. И не знает, что делать. И я сам ничего не знаю. Почему же меня выбрал? Может, вид мой понравился? Теперь я был подстрижен и выглядел хоть куда. Так сказал парикмахер, сметая с меня кучу волос. И Маша подтвердила тоже. Но если из-за этого Симонов облюбывал меня, то я готов был еще год не стричься. В самом деле, что я скажу? Каким опытом поделюсь, если его нет совсем? К тому же я никогда не выступал на собраниях. Тем более на такой конференции. Тут же, на этой культурной конференции, будут и секретари ячеек, и учителя, и врачи, и бог знает кто. Куда мне со своим невежеством!

Мысли не давали покоя все время, пока Симонов делал доклад. Говорил он складно, без запинки, будто по газете читал. В зале часто раздавались хлопки, вспыхивал смех. Но я ничего не слышал. Страх заглушил все чувства. Может, удрать? В перерыве смыться?

И все же Симонов не назвал меня первым. Немного отлегло. Можно хоть чуток послушать и хоть малость перенять. Но перенять не удалось.

Учительница из села Городище жаловалась на недостачу букварей. Чубатый парень из Владимировки канючил про какие-то спортивные принадлежности. Ненамного лучше выступил председатель райпотребкооперации. Он заверил делегатов, что теперь потребилровка займется культтоварами. Нет ничего подходящего. И голова по-прежнему оставалась порожней. Я смотрел на Симонова, сидевшего за столом, и всем видом молил о пощаде. И он, словно поняв все, предоставил мне слово. Оглушенный собственным именем, я продолжал сидеть на месте. Маша толкнула меня в бок и прошептала:

— Ну что ж ты? Иди же...

Я встал и пошел, не чувствуя ног. Взошел на трибуну, обитую красной материей, с тоской посмотрел в зал. Он гудел, как пчелиный улей. Ребята о чем-то переговаривались. Некоторые показывали на меня, будто я был артистом. А мне они представлялись, как на картине. Чубатые, всклокоченные, с конопушками и угрями, в поношенных пиджаках и рваных кацавейках. Там и сям вспыхивали красные косынки девушек.

Симонов нетерпеливо сказал:

— Ну, давай, Федя, не тяни время!..

Внезапно я встретился глазами с Машей. Она смотрела с улыбкой и ободряюще кивала. Я вспомнил разговор по пути и, не отдавая себе отчета, сказал:

— Раньше, чем говорить о культуре, надо самих себя окультурить. А то гляньте, какие мы с вами. На что похожие, многие небось со дня рождения не стриглись. А купались, поди, один раз, да и то в церковной купели...

В зале поднялся смех, гул, гомон. Делегаты поглядывали друг на друга, один другого дергали за волосы. Симонов, тоже улыбаясь, постучал карандашом по стакану.

— Будем вести себя культурно, товарищи. — И, кивнув мне, предложил: — Валяй дальше, Федя...

Но раньше, чем я раскрыл рот, кто-то из дальнего ряда спросил:

— А сам-то ты когда подстригся?

Зал снова вперил в меня веселые глазищи. А я, пригладив назад коротко подрезанные волосы, ответил:

— Сам? Сам подстригся нынче. Когда пришел на конференцию.

Ребята снова закатились хохотом. Мне тоже стало весело. И мы долго смеялись. А когда насмеялись, Симонов опять постучал по стакану. Но его опередил все тот же задиристый делегат:

— А сам додул аль кто надумил?

Ребята снова уставились на меня. А я, переступив с ноги на ногу, произнес:

— Нет, не сам, Маша пристыдила. Наша комсомолка. Тоже тут корпит. Вон в пятом ряду...

Делегаты завертелись на скамьях, вытягивая шеи, чтобы поглазеть на Машу. А она еще ниже опустила голову, пряча в ладонях горящее лицо. Симонов же серьезно заметил:

— Это неважно, кто надоумил. Важен сам факт. А факт налицо...

Поддержка Симонова приободрила меня. Мелькнула мысль: а чего их стесняться? Они ж такие, как и я. Не хуже, не лучше. И я более уверенно продолжал:

— Вот о том, стало быть, речь. За себя надо сперва взяться. В том смысле, чтобы себя привести в порядок. И другим пример поставить... Даже товарищ Ленин указывал, что личный пример всегда решает. Всегда и в любом деле.

Насчет Ленина получилось непонятно как. Я не знал, говорил ли Ленин о личном примере или нет. Но ребята поверили и совсем затихли. Некоторые даже рты пораскрывали. А я еще напористее продолжал:

— Среди нас есть такие, которые невежеством своим щеголяют. Неграмотность свою выпирают. И бескультурьем кичатся. Дескать, глядите, какие мы пролетарии. А что в них пролетарского? Да совсем ничего. Пролетарии — это же сознательные люди. А какая ж у нас сознательность? Куцая, как хвост зайца.

В середине зала поднялся широкоплечий парень и сердито сказал:

— Насчет сознательности ты это брось. Мы за Советскую власть жизни не пожалеем. И борьбе за дело пролетариата все силы отдадим. А тебя, ежели будешь так трепаться, с трибуны стащим...

В зале снова поднялся шум. Делегаты спорили между собой, доказывая что-то друг другу. Симонов изо всей силы бил по стакану. Нежное дзинканье стекла тонуло в гаме. А я переминался на трибуне и думал. Да, насчет сознательности я, пожалуй, перехватил. Разве ж они не сознательные, эти ребята? Только дан клич да вложи в руку оружие, как все до одного ринутся на врага. И умрут за Советскую власть. Все это так. И задевать такие струны не следует. Но сознательность тоже надо поднимать. Она не может топтаться на месте. И теперь уже мало умереть за Советскую власть. Теперь надо укреплять ее, повышать культуру.

— Я не хотел никого обидеть, — сказал я, когда ребята успокоились. — А если кому мои слова показались обидными — прошу прощения. Но вот насчет сознательности... Ее надо не горлом, а делами

доказывать. Вот так я думаю. А что до культуры... Она же такая штука... Голыми руками не возьмешь. Требуется кое-что серьезнее. Скажем, вечера, диспуты, драмкружки разные. Для всего нужно помещение. А где его взять? Вот у нас есть церковноприходская школа. Стоит без всякой пользы под замком. А молодежи собраться негде. А почему бы не забрать эту школу и не перестроить под клуб?

— А почему бы не забрать и не перестроить? — переспросил Симонов. — Что вам мешает?

— Так ведь школа-то церковная. Церкви принадлежит.

— Она принадлежит народу, — сказал Симонов. — Кто ее строил? Народ. Стало быть, народ и хозяин.

— Если так, — обрадовался я, — тогда другое дело, тогда мы попробуем. А райком попросим поддержать, когда нужно будет...

Я уже хотел сойти, но вспомнил еще об одном.

— И вот еще что. Молодежь любит музыку. А где она, музыка? У нас есть балалайки. Правда, самодельные, но приличные. И балалаечников хоть отбавляй. А струн нет. И купить негде. Пробовали из бычьих кишок делать, да пришлось отказаться. Мороки много, а толку мало. Еле бренчат такие струны. Надо бы потребилровке позаботиться. А заодно и о гармошках. Мы бы как-нибудь сообща купили двухрядку. А то есть у нас одна на все село, да и та принадлежит Ваньке Колупаеву. А попробуй сладить с этим Ванькой. Ломается, кочеврыжится, а играет, когда захочет. Да и то больше по свадьбам.

С этими словами я сошел с трибуны. Жидкие хлопки проводили меня до места. Где-то позади вспыхнул девичий голос:

— Молодчина!

В ответ ему хлестнул бойкий ребячий выкрик:

— Дурачина!

Дружные хлопки взметнулись в зале. Делегаты словно хотели заглушить и похвальное и обидное слово.

\*

Обедать отправились в березовую рощицу. Она уже шумела зеленью и манила в тень. В рощице расположились многие делегаты. Они старательно уминали еду и перебрасывались шутками.

Мы выбрали место в сторонке, под курчавой березой. Маша расстелила на траве вышитый рушник и принялась выкладывать нехитрую

снеть.

— А как ты распалил ребят-то! Как они против бескультурья ополчились!

— Не все ополчились. Нашлись и защитники. Слыхала, как роговатский на меня набросился? Подумаешь, говорит, подстригся. Ты бы еще духами сбрызнулся. Тогда, говорит, и совсем культурненьким стал бы. Вот тип! А мы, говорит, бойцы. Мы, говорит, будем драться.

— А как Симонов одернул его? Слыхал? Ты, говорит, глянь на себя. Разве ж ты похож на бойца? Скорее у тебя вид бродяги... — Маша кивнула на еду, приглашая меня. — А этого курносого из Николаевки помнишь? Вот рассмешил-то! Давай, кричит, всей конференцией к парикмахеру!

— Он сказал: к паликмахеру.

— Ну да. Становись, говорит, в очередь. И всех — под ежика. А ребята, гогочут и на тебя глядят. Да, распек ты их.

— Ну уж если так, то не я, а ты распекла их.

— Как это?

— А так. Ты же меня заставила подстричься. А с этого и началось.

Маша снова весело глянула на меня.

— А тебе так куда лучше. Ты стал прямо-таки симпатичный.

Я невольно погладил коротко подстриженную шею.

— А сколько денег пришлось отвалить!

— Перестань! — приказала Маша. — А то рассержусь... — Она пронизательно посмотрела на меня. — А почему Симонов называет тебя Федей?..

Я рассказал о первой встрече в райкоме комсомола. Маша удивленно развела плечами и сложила пухлые губы трубочкой. А потом спросила:

— А его самого-то как зовут, Симонова?

— Николай, — сказал я. — Николай Симонов.

— Николай, — подтвердила Маша. — А у нас цари были Николаи. Первый и второй. Почему же он не меняет свое имя?

— Ну, то хоть русские, — возразил я. — А тут все иностранные. Да еще такая пропасть. В сундуке я раскопал учебник по истории. Так вот, этих королей и императоров Филиппов оказалось тринадцать штук. Чертова дюжина. И каких только нет! Филипп Красивый, Филипп Смелый и даже Филипп Длинный. И я из-за жадности попа влип в эту компанию.

Маша весело рассмеялась.

— Так ты же не король.

— Не король, а Филипп. И Симонов так же считает. вот и зовет меня Федей.

Маша подумала и серьезно заметила:

— Федор, Филипп — какая разница! Важно, какой ты человек. Настоящий или фальшивый.

Возражение Маши прозвучало убедительно. Но и Симонов казался правым. И я нисколько не обижался на него. Даже наоборот. Было приятно, когда он называл меня Федей. Мне и самому имя мое не нравилось. К тому же не хотелось признавать сделку попа с крестным.

Осторожно заглянув в лицо Маши, я спросил:

— А может, и ты будешь звать меня Федей? В конце концов по закону-то мне положен не Филипп, а Федор. И мне так больше нравится. Я прошу тебя, Маша...

Она улыбнулась мне, как ребенку, и сказала:

— Хорошо. Будь по-твоему, Федя. Но только с условием. Когда мы вдвоем.

По соседству веселилась группа делегатов. То и дело ребята поглядывали в пашу сторону. А один долговязый парень с темным пушком на верхней губе громко сказал:

— Чудаковатый малый!

— Чудаковатым прикидывается, — возразил другой. — На самом же деле, видать, продувной. Такому в рот палец не клади...

Маша глянула на меня и торопливо, будто стараясь заглушить судачества соседей, сказала:

— И про церковную школу тоже правильно. Надо забрать ее.

— Это было бы хорошо, — согласился я, с обидой думая над услышанными замечаниями. — Только как это сделать?

— Да очень просто, — сказала Маша. — Нагрянуть и забрать. Только так, чтобы церковники не опомнились...

\*

Перед вечером мы с Прошкой незаметно проникли за церковную ограду, где стояла школа, взобрались на высокий фундамент и принялись изучать внутренность здания. Но через окно трудно было что-либо рассмотреть, и мы стали пробовать створки окон. К нашей радости, одно оказалось незапертым.

— Хорошая примета, — изрек Прошка. — Быть удаче...

Мы перелезли через подоконник и, стараясь не шуметь, начали осмотр. Учебные классы. Они разделены дощатыми перегородками.

Перегородки отделяли переднюю и учительскую. А дальше была пришкольная квартира: две комнаты, прихожая и кухня. Пол всюду — на одном уровне. Потолок — тоже без перепадов.

— Не дом, а домина! — с восторгом прошептал Прошка. — Клуб получится хоть куда!..

Неожиданно в ограде возникли голоса. Выглянув из-за простенков, мы увидели отца Сидора и косоглазого пономаря Лукьяна. Они медленно двигались к главному входу в церковь. И о чем-то спорили. Поп — мягко, елейно, а пономарь — густо и отрывисто. Напротив школы остановились, и отец Сидор сказал:

— Вот жалуешься, сын мой. А обязанности свои плохо блюдешь. И о хозяйстве церковном не радеешь. Пошто окно школы открытым оставил?

— Как же открытым, ежели ноне было заперто? — прогудел Лукьян. — В аккурат поутру наведывался. Все было чин чинном. Не иначе кто открыл, сатану ему.

— Так пойдй закрой, — предложил поп. — Да хорошенько.

— А как закрыть-то? — угрюмо возразил Лукьян. — Ключи-то у Комарова.

— А ты влезь в окно и запри оттуда.

— Ишь ты какой, батюшка! — хохотнул пономарь. — Думаешь, молебен тебе? Заучил и бубни. А тут соображение требуется. Ну, влезу, запру оттудова, а сам куда денусь? Двери-то — на замке.

— Тогда хоть так прикрой, — терпеливо предложил отец Сидор. — Чтобы ветром стекло не разбило.

— Прикрыть можно, — согласился Лукьян. — А только я хотел сказать. И зачем это вы бережете такую громадину? Отдали бы на мирскую потребу. И лишние хлопоты — с плеч.

— Не торопись, сын мой, — остановил пономаря поп. — Здание это еще послужит святой вере.

— Да чем же послужит-то?

— Не вечно будут царить антихристы. Услышит господь и наши молитвы. И тогда тут опять воскреснет рассадник божий.

— Эк куда хватил, батюшка! — изумился Лукьян. — Услышит молитву. Как же, дожидайся. Десять лет не слышал, а теперь и подавно не услышит.

— Не богохульствуй, сын мой, — предупредил поп. — И терпи. Ибо в терпении — спасение. И старайся во славу божию.

— Ладно, — хмуро перебил Лукьян. — Буду стараться. Да только за старание мзда положена. А то не по-божески получается. И ты грех на себя

берешь, батюшка. С Комаровым и Лапониным снюхался. А меня обносите. Это меня-то, страждущего и жаждущего. Разве ж господь так велит?

— Знаешь что? — вдруг рассвирепел отец Сидор. — Иди-ка ты к... Что я тебе послушник какой?

Страждущий, жаждущий. Да мне-то что за дело? Требуй с Комарова и Лапонины. Они и меня надувают. А ты пристаешь, как банный лист. Будто я не простой смертный, а бог Саваоф... — И торопливо, словно опомнившись, перекрестился. — Прости, господи. Дьявол вводит во искушение...

И, бормоча что-то, поплыл к железным воротам храма. А Лукьян с минуту озабоченно смотрел перед собой. Потом смачно сплюнул и двинулся к школе. Взобравшись на фундамент, он взялся за створки окна и проворчал:

— Все на господу уповают. А сами карман набивают. Жулики, как на подбор. Один я честный и то дурак...

Он закрыл раму, кулаком постучал по ней, точно грозя нам. Затем неуклюже сполз с фундамента и тоже поплелся в церковь.

Когда он скрылся, Прощка с возмущением сказал!

— Слышал, о чем мечтает? Господь услышит молитву. И тут опять будет рассадник божий. Чего захотели, а!..

Перед глазами моими вдруг промелькнула картина. Это было не так уж давно. Церковноприходская школа еще продолжала одурманивать ребят. Закону божьему учил здесь отец Сидор. Нет, не учил, а всеми силами вбивал в наши головы святые бредни. Вбивал в прямом смысле. Не было урока, чтобы по чьей-либо голове не прошлась поповская линейка.

И вот как-то, рассказав о рождении Христа во хлеву Вифлиемском, отец Сидор спросил, оглядывая нас маленькими колючими глазами:

— А ну-ка, дети, кто знает, кто была дева Мария?

И неслышно поплыл между партами, переваливаясь в стороны. А мы молчали. Молчание тревожно затягивалось. Еще немного, и поп сам вызовет кого-нибудь. И заставит отвечать. А потом огреет по голове линейкой. И даже не скажет, за что.

Тишину разрезал звонкий голос Андрюшки Лисицина:

— Я знаю, батюшка, кто была дева Мария!

Андрюшка не отличался знанием божественной азбуки. Ему ничего не стоило перепутать Адама с Ноем и Голгофу с Вифлиемом. Потому-то мы со страхом уставились на него. Но Андрюшка держался уверенно, даже озорно. Вскочив с места и вскинув голову, он выпалил:

— Дева Мария, батюшка, это Мария Магдалина!

Хохот зазвенел в окнах. На этот раз Андрюшка перецеголял самого себя. И спутал непорочную богоматерь с великой грешницей. Было над чем посмеяться. Но смех так же погас, как и вспыхнул. Над Андрюшкой взметнулась линейка. Послышались частые удары. Поп вкладывал в них всю силу. И линейка разлетелась на части. Тогда отец Сидор, засучив рукава рясы, со всего размаху ударил Андрюшку кулаком. Тот вылетел из-за парты и грохнулся на пол. Но тут же вскочил и, закрывшись руками, выбежал из класса.

Расправа с Андрюшкой взволновала родителей. Даже богомольные и те отказались посылать детей в церковноприходскую школу. Вскоре она и совсем закрылась. А мы с радостью перекочевали в «земскую», где не было закона божьего. Что касается отца Сидора, то он едва не угодил под суд. Спас попа мельник и церковный староста Комаров, у которого были в райцентре свои люди. Помог и косоглазый пономарь Лукьян. Задобрил родителей Андрюшки подарками, он уговорил их простить батюшку.

Вспомнив обо всем этом, я уверенно ответил Прощке:

— Пускай мечтает преподобие. А только мечте его не сбыться. Скорее свинья попадет на небо, чем вернется старое. А что до рассадника, то он будет тут. Только не божий, а наш комсомольский.

Вечер с каждой минутой сгущался. Мимо проплыло стадо коров. Выстрелами прозвучали хлопки пастушьих кнутов. Над колокольней в последний раз с клетотом прокружили галки. Мы неслышно прошмыгнули в квартиру, спустились из окна в черемуховые заросли и через боковую дверь в ограде выскользнули на площадь.

\*

Наши только что закончили работу на огороде. Мать гремела на кухне посудой, готовя ужин, а Нюрка доила корову. С база доносилось мерное журчание молока. Отчим сидел на завалинке и попыхивал трубкой. После работы он любил вот так посумерничать. И только Дениса не было дома. Братишка убежал к друзьям. И наверно, во главе «красных» уже атаковал «беляков»...

Мать освободила меня от домашних дел. Она смирилась с тем, что я сделался общественником. И даже потихоньку гордилась этим. Односельчане-то нередко обращались к сыну с просьбами. Да и надеялась, что рано или поздно и мне положат зарплату. Нельзя же, чтобы человек за так трудился. И лишь одно переносила с трудом. Я без креста садился за

стол, без креста вставал из-за стола. Каждый раз в таких случаях она хмурилась, громко вздыхала, но все же удерживала себя.

Я подсел к отчиму и рассказал о перебранке между попом и пономарем. Тот довольно ухмыльнулся и спросил, как это мне удалось подслушать. Поняв, что проговорился, я признался:

— Школа без дела пустует, а молодежи собраться негде. И это в то время, когда культпоход начинается...

Отчим попыттел трубкой и сплюнул чуть ли не на середину двора.

— Да-а, — протянул он, скомкав бороду в кулак. — Клуб выйдет что надо. Такой, что закачаешься. Материал-то первосортный. Весь до бревнышка дубовый... — Он снова звонко почмокал губами и с шумом выпустил дым в усы. — Хорошо помню, как строили. Всем обществом старались. Да и как было не стараться? Для своих же детишек. Я в то время как раз в волости работал. Гляжу, являются ходоки. Так, мол, и так. Помогите, поспособствуйте. Детишек желаем вразумлять. Одной земской не хватает. Вот и порешили новую строить. Ну, я взялся за это дело. Начальству доложил, слово замолвил. И закрутилась карусель. Да только остановились не там, где надо. Поп, будь он неладен, встрял в историю. Земская, говорит, имеется. Давай церковноприходскую. Будем, говорит, не только к наукам, а и к богу любовь прививать. Вот так, стало быть, дело повернулось. Я, понятно, к начальству. Не для поповской брехни, говорю, народ на большие траты решился. Просвещать, а не затуманивать ребятишек люди намереваются. А начальство косится на меня, как на бунтаря какого, и дает приказ: разрешить церковноприходскую. Что тут поделаешь? Почесали мужики затылки и сдались. Лучше уж церковная, чем никакой. Собрали денежки, купили лес и своими руками отгрохали сруб.

— А церковь-то помогала? — спросил я, радуясь тому, что услышал. — Деньгами или еще чем?

Отчим замотал головой.

— Ни гроша не отпустили. Богом клянчили на стекло и железо. Как раз не хватало. Так куда там! Церковный совет отписал отказ. Своих нужд, видишь ты, пропасть.

— Почему же тогда церковники считают школу своей?

— А потому, что называется приходской. И еще потому, что стоит за церковной оградой. А по правде сказать, так без всякого на то права. Захапали народное добро — и все тут. А школа и в самом деле народная. Потому как на народные деньги куплена и народом построена...

Трубка его потухла. Он ударил кресалом о камень. Веером вспыхнули искорки в сумраке. Воздух наполнился терпким запахом дымка. Отчим

положил тлеющий трут в трубку, придавил его большим пальцем и весело зачмокал губами.

— Так что дело совсем ясное, — продолжал он. — И переделать ее, школу, ничего не стоит. Сломать перегородки — и вся недолга.

— Сломать-то мы ломаем, — сказал я, — ободренный поддержкой отчима. — Вот как потом? Сцена, печки, скамейки.

— А вы ломайте, — посоветовал отчим. — А потом видно будет. Сцена, печки, скамейки. Все это не бог весть какая штука. Как-нибудь сладим. Главное — начать...

Ну, конечно, главное — начать. И сломать внутренности. Если это удастся, остальное придет само собой. Тот же отчим подскажет, что и как. А ему-то ума не занимать. В таких делах он, как говорили, собаку съел.

— Ломать старайтесь аккуратно, — наставлял отчим. — Чтобы весь материал в работу пошел. Доски, кирпич, гвозди — все надо сохранить. И день выберите подходящий. Лучше всего — большой праздник. Скоро будет покров день. Как раз то, что надо. В этот день в городе собирается большая ярмарка. Наши богатеи, понятно, подадутся туда. А те, кто останется дома, после обедни нажрутся и завалятся дрыхнуть. И не быстро расшевелются, если даже церкву разрушите... — Он вдруг с опаской оглянулся на дверь и полушепотом попросил: — Смотри, матери не проговорись. А то заругается. Скажет, с безбожниками спутался, старый хрыч. Так что держи язык на привязи, сынок!..

\*

Сигналом был звон колоколов, возвещавший об окончании обедни. Я взял топор, завернутый в мешковину, и огородами, чтобы ни с кем не встретиться, направился к церкви. Сердце настойчиво вырывалось наружу. Сомнений в удаче не было. Но нелегко было справиться с волнением. Уверенность еще не означала победу.

В школе уже хозяйничали Прошка и Илюшка. Они открыли дверь и заперлись изнутри. Вскоре подошли и другие ребята. Помочь нам вызвались Митька Ганичев и Гришка Орчиков. Незадолго до этого оба попросились в комсомол, и мы решили проверить их на боевом деле. Не было только Маши Чумаковой. Конечно, она тоже просилась. Но мы единогласно отказали ей. Мало ли что может случиться.

Когда все было готово, я нарочито серьезно сказал:

— Миром господу помолимся!

— Да ниспошлет он нам удачу! — шутя подхватил Прощка.

— И да поможет победить на этой Голгофе! — добавил Володька.

И началось. Прощка и я стали отбивать штукатурку на перегородах. Андрей, Сережка и Илюшка набросились на учительскую квартиру. Митька и Гришка принялись разрушать печи. Все вокруг наполнилось грохотом и стуком. От штукатурки и печей клубами поднялась пыль. Скоро она стала такой густой, что солнце не пробивало ее. Но мы не открывали окна. Они заглушали шум, уберегали от любопытных.

И в самом деле мы долго работали без помех. Уже почти на всех перегородах была отбита штукатурка. Наполовину рухнули печи. Уже нечем было дышать в пыли и саже. А сами мы выглядели не чище трубочистов. Только тогда на площади перед оградой замелькали люди. Молчаливые и озабоченные, они с удивлением, любопытством и враждебностью глазели на запыленные окна.

Не без опаски поглядывал я в протертый глазок. Недолго богомольцы будут спокойно взирать на проказы греховодников. И опасения мои подтвердились. Вдруг перед толпой возникла рыжеволосая Домка Землячиха. Да, это была она, норовистая и занозистая вдова. Несколько минут она смотрела на школу. Потом обернулась к толпе и замахала над головой руками. И тотчас, словно подчинившись ее команде, группа парней бросилась к ограде, а потом к школе. И сразу же дверь загудела от тяжелых ударов.

— Эй, открывай!

— По какому праву?

— Давай ответ, комса!

— И готовь душу на покаяние!..

Закрытые на засов двери были дубовыми. Но ребята все же забаррикадировали их партами. И сами хмуро сгрудились перед баррикадой.

А голоса за дверью становились громче и настойчивее:

— Открывай, дьяволы! Не то изуродуем!

— Не допустим богохульства над храмом!..

Я снова припал к наблюдательному глазку и в ту же минуту увидел Машу. Она промелькнула перед окном. А потом раздался ее звонкий голос:

— Перестаньте! Одумайтесь! Не поддавайтесь на провокацию!..

Я продолжал смотреть в окно. В поле моего зрения были две фигуры: Маша тащила от крыльца Ваську Колупаева. Он зло отбивался, но Маша не отставала. Тогда он схватил ее за грудь и ударил в лицо. Она отлетела назад и упала навзничь. Я распахнул окно, выпрыгнул в ограду, подбежал к

Маше. Она слабо улыбнулась, протянула руки.

— Федя...

Я помог ей встать. Она вытерла окровавленный рот и кивком показала в сторону.

— Беги к ним...

А повыскакивавшие из окон ребята уже атаковали дебоширов. Не ожидавшие отпора, те отступали. Но отступали с боем, с каждой минутой приходя в себя и усиливая сопротивление.

Передо мной оказался Миня Лапонин. Внутри взорвалось что-то, и я принялся усердно работать кулаками.

— Вот тебе, гад!.. Будешь знать!.. Надолго запомнишь!..

Я бил Прыща по лицу, не чувствуя его ударов. В душе росло желание уничтожить врага. Оно рождало силы, смелость. А страх, только что подкашивавший ноги, куда-то улетучился, словно его и не было.

Слева от меня дрался Яшка Поляков, плотный, кряжистый парень. Широко расставив короткие ноги, он отбивался от Петьки Душина, щеголя и хвастуна. И на этот раз Петька выглядел модным: хромовые сапоги с галошами, резиновые подтяжки на голубой косоворотке. И дрался Петька не ради дела, а ради Девочек.

А справа пыхтел долговязый Семка Судариков.

На него наседали Ванька Колупаев, гармонист и подлиза. Гармонь висела у него за спиной и при каждом ударе рявкала. Оттого Ванька казался грозным, даже свирепым. Но это не смущало Семку. Он стойко принимал удары и сам не оставался в долгу.

А дальше Илюшка Цыганков и Митька Ганичев вдвоем сдерживали Ваську Колупаева. Весь красный от ярости, тот двигал кулачищами, как гирями, и ребятам приходилось несладко. Но и они держались храбро и не уступали врагу. И даже сами нападали, принуждая громилу пятиться назад.

Под выкрики перекочевавших за ограду зевак мы стали теснить противника к церковной паперти. И когда уже прижали его к нижней ступени, на верхней внезапно выросла фигура мельника и церковного старосты Комарова. С минуту он строго смотрел на дерущихся, как бы решая, к кому присоединиться. Потом поднял руки и властно крикнул:

— А ну, перестать! И разойтись!.. — И как только мы расступились, гневно добавил: — Что за безобразие! Кто позволил бесчинство?..

Косясь друг на друга, мы отходили дальше. Миня вытирал распухший нос и не сводил с меня злобных глаз. Но я уже был прикован к мельнику. Кто-то донес ему, и он явился, чтобы помешать не драке, а ломке школы.

А Комаров решительно наступал на толпу.

— Убирайтесь отсюда! Все убирайтесь! Нечего тут делать!.. — И когда в ограде остались только мы, подошел к нам и сердито спросил: — А вам что надо?

Мы не удостоили его ответом. Я махнул ребятам:

— Айда!..

Комаров последовал за нами. За порогом остановился, весь побагровел от гнева.

— Это что ж такое? Да кто же вам позволил?

Я смело шагнул к нему и с вызовом ответил:

— Народ. Народ позволил!

— Сейчас же прекратите! — топнул ногой мельник. — Здание принадлежит церкви.

— Здание принадлежит народу.

— Я приказываю! — заорал церковный староста, поднимая кулаки. — Сейчас же убирайтесь отсюда!

— Не кричите, гражданин Комаров! — сказал я, тоже повышая голос. — Тут не мельница. И мы вам не работники... — И, повернувшись к ребятам, scomандовал: — По местам!..

Ребята старательно принялись за дело. Комаров некоторое время смотрел на нас выпученными глазами. Потом круто повернулся и выбежал из школы.

— За богомольцами ринулся, — сказал Андрюшка Лисицин, поеживаясь, как от холода. — Притащит самых ярых. И поломают они нас за эту полонку.

— Не поломают, — возразил Илюшка Цыганков. — Духу не хватит. А коль дойдет до того, дадим сдачи...

Робко вошли Яшка Поляков и Семка Судариков. Они часто откликались на наши дела. И сегодня чуть ли не первыми поддерживали нас. И дрались геройски, о чем говорили ссадины на лицах.

Семка, точно угадав наши мысли, сказал:

— По верхней улице рысак бросил. Должно, кудысь за управой подался.

— А мы к вам, — вставил Яшка, виновато ухмыляясь. — Помочь поскорейше закончить. И выручить, ежели коршуны опять слетятся...

\*

Мы работали долго и упрямо. Гулко стучали топоры. Со звоном

падали на пол высохшие доски. Я поглядывал на ребят и радовался. Они не дрогнули, а смело ринулись в атаку. Эта работа была продолжением атаки. И ничего, что на лицах у них были синяки. Раны, добытые в бою, — почетные раны. Я даже пожалел, что сам оказался невредимым. Миня больше оборонялся, чем нападал. Но зато ему-то уж досталось!

Внезапно к школе подкатил легкий тарантас, запряженный карим жеребцом. Из тарантаса выпрыгнул щеголеватый милиционер с ремнями крест-накрест. На ремнях висели шашка и наган.

— Моська Музюля! — хором вырвалось у нас.

Да, это был Максим Музюлев, а по-уличному — Моська Музюля. Наш же, знаменский, он заносился перед нами и придирался к мелочам. Я предложил ребятам ничем не раздражать милиционера.

— Иначе — труба!

Максим вошел в школу и, остановившись перед нами, крикнул:

— Именем начальника милиции пррриказываю! — Свирепо вращая глазами, он осмотрел нас. — А ну, кто тут главный нарушитель?

Я шагнул к нему и протянул руку.

— Здорово, Максим! С приездом!

Музюлев окинул меня грозным взглядом и, не приняв руки, отрывисто спросил:

— Фамилиё?

— Что ты, Максим? — удивился я. — Глаза заслепило?

Музюлев лязгнул клинком и завопил:

— Отвечать, как на допррросе! Не то я вррраз!

Я покорно назвал себя. С этим Моськой шутить опасно. А Максим ехидно сказал:

— Так и есть, Касаткин!.. — Он расстегнул кобуру и тут же застегнул ее. — По какому пррраву беззаконие?

— Это не беззаконие, — возразил я. — Это культпоход.

— Какой еще такой культпоход?

— Натуральный, — пояснил я. — Поход за культуру. Вот мы и начинаем его. Перестраиваем заброшенный дом в клуб. Потому что какой может быть культпоход без клуба.

Некоторое время Музюлев оторопело смотрел на меня, словно не решаясь, верить или нет.

— А почему в райцентре не слышно об этом культпоходе?

— Как это не слышно? — возразил я, радуясь, что сбил с Моськи гонор. — На днях там даже конференция по культпоходу проходила. И решение было.

Максим растерянно поморгал глазами и виновато ухмыльнулся.

— Ну да. Это было без меня. Я в эти дни отлучался. По спецзаданию начмила... — Он позвал дожидавшегося на крыльце Комарова и, когда тот вошел, сердито сказал: — Слушай, как же это? Они ж не просто ломают, как ты брехал, а заброшенный дом в клуб переделывают. Культпоход!

Комаров приложил руку к груди и поклонился милиционеру.

— А где у них на это разрешение?

— Это какое такое разрешение? — возмущился Максим. — Разве на Советскую власть мы просили у вас разрешения?

— Я не в том духе, — поспешил Комаров, снова сгибаясь. — Школа принадлежит церкви.

— Школа принадлежит народу, — вставил я. — Народ ей хозяин.

— И требуется разрешение церковного совета, — продолжал мельник, будто не расслышав меня. — А они самочинно. И начальник милиции приказал...

— Хватит, — перебил Музылев. — Знаю, что начальник приказал. Ступай и жди... — А когда Комаров вышел, гаркнул: — Прррререкратить анаррррхию!

Я отказался подчиниться. Выпуклые глаза Моськи опять пришли во вращательное движение.

— Аррррестую! — снова заорал он, хватаясь за кобуру. — Сейчас же аррррестую!

— Не имеешь права! — крикнул я, стараясь тоже вращать глазами. — Я секретарь ячейки. Без райкома не имеешь права!

Отпор озадачил Музылева. С минуту он молчал, вперив в меня лупастые, уже не вращающиеся глаза. Потом как-то сник, переступил начищенными сапогами.

— Что ж мне делать с тобой? — досадливо спросил он. — Начмил приказал прекратить и арестовать. А ты не прекращаешь и не арестовываешься? Как же быть?

Мелькнула заманчивая мысль. Выиграть время, чтобы больше сделать. И не раздумывая дальше, я сказал:

— Могу выручить по-дружески. Поеду с тобой к начальнику. Но поеду добровольно, а не арестантом.

— Вот и хорошо, — обрадовался Музылев. — Я знал, что мы сладимся. Свои же люди. Поедешь и сам расхлебаешь кашу. А то начмил меня вместо тебя посадит.

— Только уговор, — предупредил я. — Ребята будут продолжать культпоход.

Максим решительно махнул рукой.

— Валяй, бррратва! Пррродолжай культпоход!

И выбежал из школы. А я принялся охорашиваться. Торопиться было некуда. Да и пусть мельник позлится. Уж он-то сидит теперь в своем фаэтоне как на иголках.

Андрюшка старательно смахнул с меня пыль картузом. Маша вытерла платком мое лицо. Платок сразу стал серым. Ее же гребешком я зачесал волосы.

— А вы тут нажмите, — сказал я ребятам, смотревшим на меня так, как будто я отправлялся на казнь. — Чтобы поскорее закончить...

Только после этого, не спеша и вразвалку, как ходят независимые люди, я двинулся к выходу. Комаров и Максим дожидались в тарантасе. Мельник кнутовищем показал на козлы.

— Садись там.

Я покачал головой.

— Там не сяду. Не работник. Сами садитесь там.

Комаров весь затрясся от злости.

— Садись, тебе говорят!

— Нет! — решительно заявил я. — Там не сяду. Не мое место.

Максим тоже рассердился.

— Ну, что пристал? — остановил он мельника. — Он же и правда тебе не работник. Так садись сам туда и погоняй.

Скрипнув зубами, Комаров полез на козлы. Я же уселся рядом с Музыюлевым. И сразу почувствовал себя наверху блаженства.

— Поехали! — предложил Максим, ткнув мельника в спину. — Да поживей! А то начмил соскучится...

Комаров взмахнул кнутом. Испуганно всхрапнув, жеребец с места рванулся рысью.

\*

Несколько лет Максим Музыюлев провел в бродяжничестве. Вдоль и поперек исколесил он русское черноземье, побывал во многих городах Украины и Кавказа. Чего искал непоседливый Музыюлев, так и осталось тайной. Скорее всего легкой и красивой жизни, до которой был охотник. Но жизни красивой и легкой нигде не оказалось. Это было время послевоенной разрухи, страна только вставала на ноги. И Максим вернулся домой в родную Знаменку, где жила мать.

Остановился Музыюлев у первого плетня и залюбовался знакомым с детства селом. А оно уже купалось в синих сумерках. Белые хаты, рядами тянувшиеся вдоль улиц, погружались в дремоту и неярко поблескивали окнами. Кое-где на дальних огородах дымили костры. Наверно, там ребята жгли ботву и пекли картошку. По бурому выгону за селом медленно двигались подводы. Последние пахари возвращались с поля. Над высокими дубами у Комаровского пруда черными тучами кружили грачи. Даже тут, в конце верхней улицы, ухо улавливало их карканье. А на золоченых крестах церкви, властно возвышавшейся над селом, догорали последние отблески вечерней зари.

Засмотревшись, Максим не слышал, как подкрался к нему мирской бык. И очнулся, когда тот с ревом бросился на пришельца. Должно быть, разъярили коровьего властелина красные галифе, ладно сидевшие на Максиме. Может, чем-то не потретила и гитара, на бархатной ленте переброшенная за спину незнакомца. Как бы там ни было, а бык самым определенным образом намеревался вспороть Музыюлеву живот. Но того это, конечно, не устраивало. И завязалась неравная борьба.

Схватив быка за рога, Моська всей тяжестью повис на них. Бык же, стараясь сбросить человека, яростно мотал головой. Видя прямо перед глазами красные штаны, он ревел. Максим же, цепко держась за рога, метался из стороны в сторону. Малейшая ошибка могла привести к катастрофе. Но Музыюлев был не из трусливых. Он не терялся даже в минуты страшной опасности. Не растерялся он и теперь. Изловчившись, он схватил быка за ноздри и вонзился ногтями в скользкую и нежную переносицу. Взревев, бык попятился назад. И задними ногами угодил в яму, из которой брали глину. Воспользовавшись этим, Музыюлев подбежал к быку сзади и с силой ударил его сапогом. Бык выпрыгнул из ямы и хотел было снова наброситься на красные галифе, но было уже поздно. Максим схватил его за хвост у самого корня и заорал во все горло:

— Урррааа!

Этого бык уже не мог вынести. Спасаясь бегством, он со всех ног бросился по улице. Музыюлев же, продолжая кричать «ура», во весь опор несся за ним. В сгущавшемся сумраке мелькали красные галифе. А гитара за спиной брнчала всеми семью струнами.

У переулка бык вдруг круто свернул. Не удержавшись, Моська сорвался с хвоста и кубарем покотился по земле. Поднялся в жалком, даже непристойном виде. Гитара обломками висела на шее. А галифе лопнули сразу на обеих ягодицах.

Так Музыюлев вернулся на родину. Над этим долго потешались. Но сам

Максим не очень сокрушался происшедшим. Через некоторое время он поступил в милицию и получил новое форменное обмундирование. Красные же галифе распорол по швам и заставил мать сшить в полотно. Полотно прибил к палке. И в первый же революционный праздник, а это был день Октябрьской революции, вывесил этот флаг над крыльцом хаты. А только недолго красная тряпка трепыхалась на осеннем ветру. На другой день к Музыюлевым явился Лобачев, председатель сельсовета. И потребовал немедленно снять штаны.

— Не то я вынужден составить протокол. И привлечь тебя к ответу за оскорбление Советской власти...

Максим недоуменно пожал плечами и подчинился. А потом завернул в красный лоскут осколки гитары, перевязал струнами и закопал в землю. И кто знает, может быть, вместе с остатками бродяжничества захоронил он и ту часть души, которая так долго не давала покоя?

Обо всем этом я вспомнил, сидя в комаровском тарантасе рядом с Музыюлевым. Вскоре тарантас подкатил к милицейскому дому и остановился у главного подъезда. Максим первым спрыгнул на землю и приказал нам следовать за ним. Я двинулся в обход лошади, беспокойно бившей копытом. Внезапно лицо полоснула боль. Я схватился за щеку и увидел, как ослабилась мельник.

— Да стой же ты, дьявол! — выругался он, вожжами осаживая жеребца. — Не то еще раз огрею!..

Да, он умело огрел его. Так огрел, что обжег и меня. Щека пылала, как разрезанная. Но я ничем не показал боли. Пусть не ждет, что комсомолец расплачется. Этого никогда не будет.

В передней за столом сидел молоденький милиционер и двумя пальцами тыкал в пишущую машинку. За дверью с табличкой «Начальник И. М. Малинин» слышались голоса. Музыюлев докладывал о Знаменской операции. В результате этой операции в райотдел милиции доставлены представители враждующих сторон.

В переднюю вошел и Комаров. Присел на скамью у самой двери кабинета, благоговейно сложил руки на коленях. А я стоял у окна и с тяжелым чувством ждал. Лицо горело, обида сжимала горло. Но я старался не показывать возмущения. И прятал щеку от мельника. Конечно, он ударил умышленно. Но пусть лучше думает, что промахнулся.

Из кабинета выбежал Музыюлев. Оставив дверь открытой, он кивнул мне:

— К начальнику!

Я вошел в комнату и увидел огромного человека. Затянутый в ремни,

он стоял за столом и строго смотрел на меня. Длинные рыжие усы его шевелились, а большой живот чуть ли не лежал на столе. Ноги мои сразу отяжелели, а по спине волной прокатился холод.

— Что стал? — сказал начальник густым басом, не предвещавшим ничего хорошего. — Шкодить мастер, а отвечать — в кусты! А ну подойди, подивлюсь...

Ноги кое-как пододвинули меня к столу, а глаза со страхом уставились в мясистое лицо. Еще раз, оглядев меня, начальник сердито сказал:

— Ты что там партизанишь? Кто дал тебе право нарушать законы? Что ж молчишь? Или ты думал, что это сойдет тебе с рук? Черт знает что! Безобразничают, своевольничают. А за них тут оправдывайся и вывертывайся. Ну, отвечай. Что натворил там?

С огромным усилием я выпростал язык откуда-то из горла и зачем-то переступил с ноги на ногу.

— Мы хотели... У нас нет клуба... А школа народная... На конференции по культуре...

Я хотел было сказать, что это Симонов подсказал нам, но начальник остановил меня.

— А это что такое? Кто тебя так?..

Я невольно провел по щеке рукой.

— Он, Комаров.

Широкое лицо Малинина потемнело.

— Как же это?

— Ударил жеребца, а попал в меня.

По губам начальника скользнула усмешка.

— Ишь ты, ловкач! Ударил жеребца...

Он вышел из-за стола и позвал Музюлева. Тот в ту же минуту вырос на пороге.

— Слушаю, товарищ начальник!

Малинин решительно махнул рукой.

— Комарова!..

Мельник вошел спокойно и уверенно. Остановился посреди комнаты и угодливо улыбнулся. Но Малинин ничего не заметил. Подойдя к Комарову, он качнулся на скрипучих сапогах, будто собираясь ударить, и насмешливо сказал:

— Так, так. На других — с жалобой, а сам — за рукоприкладство?..

Комаров попытался было что-то возразить, но Малинин остановил его:

— А ну-ка, гляньте на свою работу. Гляньте хорошенько...

Я повернулся к мельнику щекой. Тот побледнел и потупился.

— Нечаянно, гражданин начальник!

— Ага, нечаянно! — злорадно повторил Малинин. — Метил в жеребца, а угодил в комсомольца! Да еще в секретаря ячейки? Ну, знаете!.. — Он зашел за стол, костяшками пальцев постучал по нему. — Жалуетесь на беззаконие, а сами... Или законы только для нас, а вы от них свободны?.. — Он опять вызвал Музюлева и приказал составить протокол. — И арестовать. Арестовать обоих. До особого распоряжения!..

\*

Музюлев водворил нас в одну камеру. Пожелав арестантам всего хорошего, он закрыл дверь и звякнул замком.

Комаров злобно хихикнул и сказал!

— Вот уж никогда не думал, что придется сидеть с каким-то комсомольцем.

— А мне никогда не приходило в голову, что буду наедине с кулаком под запором.

— Я не кулак! — рассвирепел мельник. — Слышишь ты, голодранец? Я хозяин! И всегда буду хозяином!

— Что кулак, что хозяин — одна сволочь, — выпалил я. — А вот будете ли вы хозяином всегда, это еще мы посмотрим.

— Кто это — мы? — зашипел Комаров, покрываясь красными пятнами. — Кто, я спрашиваю?

— Народ, — стараясь быть спокойным, ответил я. — Народ решит, хозяйничать вам или нет. А скорее всего выбросим мы вашего брата на свалку и сами станем хозяйничать.

Комаров весь затрясся. И сунул мне под нос кукиш.

— А вот на-ка, выкуси! Сам и со своими бандитами. Не быть тому, чтобы вы добром моим пользовались! Никогда не быть! Ишь, чего захотели! Хозяйничать! Да мы вас скорее в порошок...

— Но, но, гражданин Комаров! — сказал я, — Осторожней. Вы не на мельнице, а в милиции. Держитесь поприличней.

Комаров зло расхохотался.

— Слыхали? Щенок учит меня! Меня, Комарова!.. — Он подступил ко мне и заскрежетал зубами. — Я вот сейчас возьму и удавлю тебя, как... как... как... — И протянул руки с пальцами, похожими на когти. — Вот сейчас покажу тебе народ.

Я отступил в угол и невольно оглядел камеру. Тесная, с маленьким

оконцем, забранным железной решеткой. Ускользнуть в такой тесноте немислимо. В самом деле, схватит и удавит. Вон они у него какие, ручищи! Да и сам — крупный, плотный, как дуб. Нет, с таким не справиться!

А Комаров шипел, брызгал слюной.

— Всех порешим! Всю коммунию и комсомолию! Чтобы никогда не соединились пролетарии!

Глаза его наливались кровью, грудь ходила ходуном. Казалось, он лишился рассудка. И готов на что угодно. Надо было как-то оглушить его, чтобы пришел в себя. И я, собрав всю выдержку, спокойно сказал:

— А пуля, пуля в лоб?..

Комаров вздрогнул, как от выстрела, сжал кулаки и опустил их.

— У-у-у, дьяволы! — простонал он. — Холеру бы на вас! И всех до одного!..

Он тяжело опустился на топчан и затих. А я вышагнул из угла и насмешливо спросил:

— Что же вы, гражданин Комаров? За собственную шкуру сдрейфили?

Комаров не ответил. Он будто сразу оглох. Я присел на противоположный топчан.

— Времена ваши улетучились. И вам уже не сладить с нами. Руки стали короткими. А у нас выросли. И еще будут расти...

Комаров молчал. Весь съежившийся, он уже не казался страшным. Я вытянулся на голых досках, подложил руки под голову. Хотелось подчеркнуть независимость. Но причиной была усталость. Она валила с ног. Сколько труда и волнений. И все за один день.

Вспомнились ребята. Конечно, они уже разорили внутренность школы. Остались стены, пол да потолок. Скоро эту коробку мы наполним новым делом. Каким будет это дело, я еще не знал. Но твердо верил: оно будет интересным и полезным.

Я снова бросил взгляд на Комарова. А может, и правда, народ скоро расправится с богатеями? И станет сам распоряжаться их богатством, нажитым чужим трудом? Словно почувствовав мой взгляд, Комаров выпрямился, посмотрел на меня и скривился, будто проглотил какую-то гадость.

— Слушай ты, малый! Тебе говорю, хамлетина!

Я ничем не показал готовности к разговору.

— Оглох, что ли? — продолжал мельник. — Или язык прикусил от страху?

Я презрительно фыркнул.

— Ошибаетесь, гражданин Комаров! — Я-то не испугался. А вот вы

дали трепака. И сразу — в кусты!

Комаров что-то проворчал, должно быть, выругался. Потом сказал, поерзав на шершавых досках:

— Ладно, черт с тобой! Слушай, что говорю...

— Между прочим, у меня есть имя.

— Зато у тебя нет учтивости, босяк!..

Я не отозвался и продолжал пялить глаза в потолок. Мое равнодушие бесило мельника. А мне это и надо было. Не всегда сила солону ломит. А дух возвышает даже немощных. Но Комаров тоже умел сдерживаться.

— Хорошо. Как тебя там? Ну, Хвилька.

— Не Хвилька, а Филька, раз на то пошло, — разозлился я. — И без всякого ну. Я вам на батрак, чтобы нукать.

Комаров весь передернулся. Даже расправил пальцы, как стервятник когти. Но снова сдержался, подавил ярость.

— Ну, слушай же, Филька, — с шумом выдохнул он. — Я предлагаю мировую.

— Мы непримиримые враги.

— А, дьявол! Ну, не мировую, а так... Сделку, что ли?

— На сделку с классовым врагом не пойдем.

— Да чтоб тебе, поганец! — прохрипел мельник. — С ума сведешь, собака! Ох, ты, мать божья!

Ну, как там? Договор, что ли? Давай договоримся. Отдадим школу. Делайте с ней что хотите. А за это скажешь, что ударил нечаянно.

— Как же нечаянно, когда с умыслом? — возмутился я.

— С умыслом, — подтвердил Комаров. — А почему? Обозлил ты меня. Расселся в тарантасе, как барин. А меня в кучера превратил. Вот и взяла злость. А ты скажи, что ненароком. И будем квиты... — Он подался ко мне, словно хотел, чтобы я понял все. — Ну, подумай, какая тебе выгода, что меня упрячут? Да и упрячут ли? Свидетелей-то не было. Отопрусь и выкручусь. Но школу тогда уж дудки. Ни за какие деньги...

Он четко выговаривал слова, будто хотел поглубже вогнать их в мою голову. Но этого и не требовалось... Я хорошо понимал его намерение. Выиграть на проигрыше. И все же не хотелось поднимать шума. Подумаешь, какой-то рубец! Мало ли их было, рубцов? Пройдет несколько дней, и от него не останется следа. Да и в суд тащиться из-за этого охоты не было. Тем более что там и меня самого по головке не погладят. Школу-то разорили мы самочинно. Нет, уж лучше обойтись без суда и прочего разбирательства. Но унижаться соглашением с кулаком тоже не было никакого желания. И потому я решительно заявил:

— Договариваться с вами тоже не намерены. А школу все равно заберем. Она не ваша, а народная. Понимаете? А вам лучше всего не противиться. И отдать ее подобиру-поздорову. А что до вас лично... можете не трусить. Мы не такие, как вы, жлобы. Не занимаемся тяжбами.

— Спасибо, — пробурчал Комаров. — Я вижу, ты хоть и комсомолец... И в случае нужды...

— Благодарствуем, — в свою очередь, сказал я. — Лично от вас нам ничего не требуется. И на этот счет можете быть спокойны...

После обмена такими любезностями мы снова замолчали. А рыжие пятна на потолке уже расплывались. Камера затягивалась мглой. Наступал вечер.

Снова подумалось о ребятах. Как-то они там? Наверно, и не подозревают, что секретарь — в каталажке? В душе заворошилось беспокойство. Долго ли еще будут держать? И за что арестовали? И посадили под замок? Да еще вместе с заклятым врагом!

Но вот за дверью послышался скрежет, и она, взвизгнув, открылась. Из темноты выплыл Музюлев. Я обрадовался и кинулся к нему.

— В чем дело, Максим? За что меня посадили?

— Арестованный! — строго сказал Музюлев. — Здесь нет Максимов.

— Извини, — попятился я назад. — Хотел узнать, когда меня освободят.

— Я и пожаловал за твоей персоной, — сказал Максим и остановил Комарова. — А ты посиди еще. Твой срок не пришел...

В кабинете Малинина я увидел Симонова. Он кивнул мне в знак приветствия и раздраженно сказал:

— И все же это — безобразие. Хоть бы посадил в разные камеры.

— А где они у меня, разные камеры? — отбивался Малинин. — Одна была свободная. Что оставалось делать?

— Не знаю, ничего не знаю, — возмутился Симонов. — Посадить секретаря ячейки. Да еще вместе с кулаком. Это же черт знает что! Я поставлю вопрос в райкоме партии.

— Пожалуйста, ставь, твое право, — пожал плечами начальник милиции. — Но у меня не было другого выхода. Я должен был задержать обоих. И сделал это ради пользы...

Симонов, так и не успокоившись, ушел. А я сказал Малинину, что решил не жаловаться в суд. Начальник одобрительно закивал головой.

— Вот и правильно. Его нелегко зацепить. Скажет: ненамеренно. И все тут. А судья у нас такой... Формалист и буквоед...

Привели Комарова. Тот поклялся, что пальцем меня больше не тронет.

— Смотрите, — предупредил Малинин. — Еще раз... И не ждите пощады...

И приказал освободить обоих. Мы вышли на улицу. Комаров отвязал застоявшегося жеребца, сел в тарантас и покатил по вечерней дороге. А я, гордый победой, двинулся пешком.

\*

Вскоре после этого церковный совет решил передать для нужд общества здание бывшей церковноприходской школы. Бумагу такую доставил в сельсовет косоглазый пономарь Лукьян. Лобачев даже растерялся от необыкновенной доброты церковников. А мне с необычайным возбуждением сказал:

— Ну и молодцы! И как это вам удалось? Мы-то уже ломали о них зубы. Дважды пытались и ничего не добились. А все потому, что стоит это здание за церковной оградой. А туда наша власть пока что не распространяется...

Мы же прямо-таки ликовали. Еще бы! У нас теперь будет настоящий клуб. Скоро мы будем ставить спектакли, собирать молодежь, проводить разные вечера. А пока... Пока же мы работали не покладая рук. Благо дома ничем не были заняты. В поле подсолнух уже прополот, а рожь лишь дымилась пылью. Луга же для сенокоса только подходили.

Мы строили сцену. Разметил ее отчим. Он явился в клуб как бы невзначай и проторчал с нами до вечера. Но дела продвигались все же медленно. Не хватало материалов. Не все можно было сделать своими руками. Лобачев всякий раз отнекивался и, скупно улыбаясь, говорил:

— Не паниковать, ребята. Раз уж взялись, так дуй до конца. На готовое и дурак сядет. А вы найдите выход из невозможного. Вот тогда будете герои...

Нужна была перекладка над сценой. А ее-то как раз и недоставало. Что было делать? В Хуторском лесу такую не добыть. Там — мелкота. Ехать в Хмелевое или Казенный лес — далеко. К тому же там требовалось разрешение лесничества. А оно на порубку шло не охотно. И работа стала. Стала так, что хоть ложись да помирай.

После душевных мук я — будь, что будет! — отправился искать счастья на мельницу. Я не знал, что скажу мельнику. Но верил в успех. Да, это унижение, но во имя чего? Не личная же выгода толкала меня. А отказать Комаров не мог. Ведь я же вырубил его тогда. Не будь моего

согласия, сидеть бы ему в тюрьме. А то и штрафа не заплатил. Ничем не пострадал. Как же тут жадничать? Даст бревно, непременно даст. И никому не проговорится. Не будет же церковный староста бахвалиться тем, что помогал богопротивное заведение строить.

Подойдя к забору, я увидел Клавдию. Она сидела на скамье у дома и читала книгу. Я окликнул ее.

Она подошла и озабоченно посмотрела на меня.

— Что угодно?

— Гражданина Комарова.

— А ты кто такой?

— Секретарь ячейки.

— Какой ячейки?

— Известно какой, комсомольской.

Клавдия открыла калитку и сказала:

— Пожалуйста. Заходи...

Мы подошли к дому и присели на решетчатую скамью. Клавдия спросила, как меня звать. Я назвал. Она перелистала странички книги и сказала, что отца нет дома.

— Но он скоро будет, — добавила она торопливо, словно боясь, что я уйду. — А мне приятно познакомиться... — И, глянув на меня, замялась. — Я даже собиралась повидаться... По делу... Не смогли бы вы принять меня в комсомол?

— Нет, — сказал я, скрыв удивление. — Классовых врагов не принимаем.

Клавдия обиженно вздернула черными бровями.

— Да какой же я классовый враг?

— Дочь классового врага. А это одно и то же...

Теперь брови ее сошлись на переносице.

— А отец мой, какой же он классовый враг?

— Хозяин мельницы. Богач чуть ли не на весь район.

— Хозяин, богач, — подтвердила Клавдия. — Но почему же из-за этого враг? Даже наоборот. Он согласен с Советской властью, поддерживает ее...

Я рассмеялся, вспомнив, как Комаров грозился порешить коммунию и комсомолию. А Клавдия, недоуменно пожав плечами, продолжала:

— Ну да, и людям пользу приносит. Мелет муку, дает займы хлеб. Правда, за плату. Но как же без платы?

— И работников держит. А стало быть, эксплуатирует. Иначе сказать, наживается за счет чужого труда.

— Но кто-то должен работать на мельнице. Потом какая же это эксплуатация, если работники получают зарплату? И немалую.

— А зарабатывают твоему отцу во много раз больше.

— Но если бы мельница была государственной, они также работали бы и зарабатывали.

— Да. Они также работали и зарабатывали бы. А только польза была бы не одному человеку, а всему народу...

Клавдия сузила карие глаза.

— А ты, оказывается, грамотный.

Я равнодушно развел руками.

— Да уж какой есть...

С минуту молчали. Потом Клавдия решительно встряхнула кудряшками и спросила:

— А если я уйду от отца, порву с семьей? Тогда вы примете меня?

Я подумал и хотя не так решительно, но все же отрицательно покачал головой. Губы Клавдии задрожали, будто она готова была расплакаться.

— Но почему же?

— Да все потому же. Уйдя из семьи, ты не перестанешь быть дочерью врага... — В свою очередь, я с любопытством глянул ей в лицо. — А на что тебе комсомол?

Клавдия замаялась, опять перелистала книгу, которую держала в руках.

— В этом году я собираюсь поступить в университет. Вот комсомол бы и пригодился... И вообще... — поспешно добавила она, решив, что проговорила, — я бы очень хотела вступить... Мне нравится...

— Не выйдет, — сердито сказал я. — Классовых врагов не принимаем...

Клавдия снова замолчала. Но вдруг, словно вспомнив что-то, спросила:

— А ты любишь читать книги?

— Люблю, — признался я. — Даже очень.

— А что читал?

— Разное. «Тайну пятнадцати», «Дон-Кихота», «Капитанскую дочку».

Еще кое-что.

— «Тайну пятнадцати» не знаю. А «Дон-Кихот» и «Капитанская дочка» — это хорошо. Интересный книги. И полезные. — Она снова резанула меня узкими глазами. — А стихи любишь?

Я признался, что люблю и стихи, назвал Пушкина, Некрасова и Кольцова. Все эти книги были в сундуке, который переехал к нам вместе с отчимом. Клавдия показала мне книжку и спросила:

— А вот этого поэта читал? Сергея Есенина? Вот, посмотри.

Я глянул на голубой томик и повертел головой.

— Есенина не читал. Не знаю такого.

— Очень интересный поэт. Можно сказать, гениальный. Вот, послушай... — Она раскрыла книгу и, странно завывая, прочитала короткое стихотворение. — Чувствуешь, какая сила? А какая глубина проникновения! Настоящий певец России!.. — И опять скосила карие глаза. — А он был богатым. Даже очень. За стихи получал много денег. И не только в России, а и за границей. Отовсюду рекой текло к нему золото. И никто его за это не считал врагом. Наоборот. Советская власть даже гордилась им. Как же тогда понять? Богатый мельник — классовый враг, а богатый поэт — классовый друг. Где же тут логика?

Я не ожидал такого оборота. К тому же не знал, что такое логика. И конечно, стусевался. Но скоро овладел собой и сказал:

— Про Есенина ничего не знаю. Какой он там — великий или нет, богатый или бедный, — ничего сказать не могу. А вот про отца твоего, тут ясная логика. Классовый враг. Да к тому же заклятый...

Клавдия закусила губу, с пренебрежением оглянула меня и вдруг спросила:

— А ты драные брюки носишь, чтобы хвастать своим пролетарским происхождением?

Я внимательно осмотрел свои штаны. Действительно, драные вдоль и поперек. Но дыр-то не видать. Все аккуратно заплатаны. И латки такие ладные, даже разноцветные. Просто залюбуешься. Нет, что ни говори, а мать, видно, на такие дела мастерица. Только сзади малость сплеховала. На обеих половинках посадила круглые, темно-синие заплаты. Будто глаза какого-то зверюги. Вот тут, как видно, перестаралась. А во всем другом... Нет, мне заплаты даже нравились. Бывает куда хуже. И потому я не без гордости ответил:

— Да, брюки драные, это правда. А только ношу их не затем, чтобы похвалиться. Нет. Щеголяю в них, чтобы отцу твоему угодить.

— Как это?

— А вот так. Он любит называть нас голодранцами. Ну, чтоб величал так не напрасно.

— А вы что ж, не голодранцы?

Меня забавляла ее злость, и я с нарочитой серьезностью сказал:

— Голодранцы. А только если уж на то пошло, то голодранцы не просто какие-то, а великие.

Клавдия громко рассмеялась.

— Понимаю. Великие потому, что заплат великое множество.

— Нет, не потому. Великие потому, что великое дело делаем. Старый мир разрушаем, а новый строим.

Но болтовня надоела мне, и я спросил, как скоро явится ее отец. Клавдия глянула на ручные часы и, в свою очередь, спросила, на что он мне.

— Может, я смогу заменить?

Я признался, зачем пришел. Клавдия с недоверием глянула на меня.

— Бревно? Только-то?

— Для нас это много. Вся работа из-за этого стала.

— А есть они у нас, бревна?

— Сколько хочешь.

— А нужно только одно?

— Одно.

— А может, больше? Не стесняйся. Может, пять, десять?

— Да нет, не надо десять. Одно. Больше не требуется.

Клавдия подумала и решительно сказала:

— Приезжай завтра. Выбирай любое. Какое понравится...

\*

А утром на следующий день, войдя в клуб, я увидел на полу кругляк длиной во всю сцену. На кругляке сидели Илюшка Цыганков и Митька Ганичев. Вид у ребят был усталый, но в глазах светилось торжество.

Напустив на себя равнодушие, Илюшка сказал:

— Проблема разрешена. Получай обрубок. И выделывай перекладину...

Я осмотрел дубок. Ошкуренный, ровный, выдержанный. Перекладина — на сто лет.

— Откуда он появился?

— Из Сергеевки приволокли, — ответил Илюшка.

— Где же вы его там раздобыли?

— А на мосту, — пояснил Илюшка. — Мост там новый начинают строить. Старый-то половодьем снесло. Вот общество и затеяло новый. На днях дубки завезли для свай. Ну, мы с Митькой и решились. Вечером он запряг лошаденку, и мы отправились. Понятно, не сразу туда, а в объезд. Долго колесили по полю, аж пока совсем стемнело. Потом заехали в болото, скрыли лошадь в кустах и своим ходом незаметно подкрались к речке. Скатали сваю с насыпи, заарканили веревкой и потащили.

— Как пыжились! — добавил Митька, почему-то весь поеживаясь. — Дуб тяжелый. А тут — кусты да родники. Илюха два раза чуть не с головой нырял. Вон до сей поры мокрый. А мне по ноге этой сваей садануло. Да так, что и сейчас больно.

Он вытянул правую ногу. Ступня заметно вспухла и посинела.

— Все это ерунда, — не без гордости сказал Илюшка. — Главное — дело сделано. Цельный дубок. И такой, что звенит. Теши, строгой, укладывай на место...

Они рассказывали о краже, как о подвиге. А мне становилось страшно. Оттого, что за это, может быть, придется отвечать, и оттого, что они не сознавали, что натворили.

— Погодите-ка, ребя! — остановил я Илюшку. — Как же это так? Это же воровство. Самое обыкновенное.

— Какое воровство? — возразил Митька. — Что ты выдумываешь? Мы выручили ячейку...

— Вы украли сваю, — перебил я. — Украли, понимаете? Совершили недостойный поступок!

— Слушай, — скривился Илюшка. — Не раздувай кадило. Подумаешь, украли! Какой-то дубок!.. А для чего взяли? Не для самих нее себя!

— Для чего бы ни взяли, — горячился я. — А взяли без спросу. Стало быть, украли. Он не наш, этот дубок. Не наш, понимаете? И вы не имели права...

— А как же школа? — спросил Митька. — Школу-то мы тоже без спросу. Не сваю какую-то, а школу.

— Школа — другое дело, — настаивал я. — Она принадлежит народу. А кроме того, тут столкновение классовых интересов. И борьба культуры с невежеством. А мост...

— Ну, развел антимионию, — разозлился Илюшка. — Сколько пережили. Думали: получим пышки, а он нам — шишки. Обидно...

А Митька, прихрамывая, прошелся вдоль кругляка и с горечью сказал:

— Знал бы, ни за что не поехал...

Я понимал их отчаяние. Но не мог заглушить возмущения. Украсть сваю. И у кого же? У таких же, как мы, людей, решившихся на общественное дело. Нет, такое оправдать нельзя. Ничем и ни под каким видом.

Когда явились ребята, я рассказал им о случившемся. Они долго и хмуρο молчали. Первой собралась с духом Маша.

— А честь ваша где? — спросила она Илюшку и Митьку. — О ней вы

подумали?

— Удивительно! — воскликнул Сережка Клоков. — Надумали и помчались. И никому ни слова. А разве ж так можно? На что ж тогда ячейка?

— Ну ладно, — заметил Андрюшка Лисицин. — Хватит шпынять. Давайте думать, как быть.

— А что ж тут думать? — сказал Володька Бардин. — Вернуть сваю — и весь разговор.

— Как вернуть? — не понял Митька Ганичев.

— А как взяли, так и вернуть, — пояснил Володька. — Ночью. Через то же болото, чтобы никто не видел.

— Да, — согласился Прошка Архипов. — Ничего другого не остается. Вернуть так, чтобы ни одна душа не узнала. А самим — молчок. Иначе позор всей ячейке.

Илюшка сидел прямо и напряженно. Челюсти его были стиснуты, глаза блестели слезами. Расстроенным выглядел и Митька. Дотронувшись до ушибленной ступни, он прохныкал:

— Опять тащить. Он же такой грузный, дуб. А там болото. Вон какие мы грязные.

— Я пойду с вами, — сказал Прошка Архипов. — И помогу. Что ж теперь делать?

— И я, — обрадовался Андрюшка, словно вызывался на прогулку. — Вчетвером сподручней. Двое — на одном конце, двое — на другом...

Спросили Илюшку и Митьку, как они думают. Илюшка обиженно усмехнулся и сказал, что сделает так, как решит ячейка. А Митька, тяжело вздохнув, повторил, что не решился бы, если бы знал, что все так обернется.

— Нынче же вернуть сваю, — заключил я. — Илюшке и Митьке помогут Прошка и Андрей. Больше никого не надо. Чтобы не было лишнего шума... — Я перевел дыхание и продолжал: — А еще предлагаю... Товарищу Цыганкову объявить выговор за то, что запятнал воровством комсомольскую честь. Вот так. А насчет товарища Ганичева... отложим прием его в комсомол на три месяца. Чтобы на ошибке этой воспитался...

Ребята угрюмо молчали. Илюшка опустил голову и свел плечи, будто, наконец, почувствовав тяжесть, свалившуюся на него. Митька весь залился краской, будто ему стало стыдно за самого себя.

— Итак, решаем, — сказал я дрогнувшим голосом. — Голосую, кто «за»?

Ребята с видимым усилием подняли руки, точно они вдруг стали непослушными. И только Прошка Архипов неподвижно сидел со сплетенными пальцами на коленях. Мы повернулись к нему и, не опуская рук, замерли в ожидании. А он, поглядев на Илюшку, глухо сказал:

— Ладно. Голосую «за»...

Но руку так и не поднял. Может, потому, что в эту минуту в клуб неожиданно вошла Клавдия Комарова. Нарядная и веселая, она остановилась перед нами и дружески улыбнулась.

— Здравствуйте, великие голодранцы! — И запнулась, заметив нашу отчужденность. — Ой, простите! С языка сорвалось. Вчера ваш секретарь... — и кивком показала на меня, — вот он так назвал вас. Ну, я и повторила... Да не смотрите на меня так. Кажется, я человек, а не антилопа какая-то... — Она усмехнулась и подошла ко мне. — Я передала твою просьбу отцу. Сначала упрямылся. И злился. А потом согласился. Так что можешь приехать и взять...

Краснея и путаясь, я сказал, что уже не требуется. Клавдия удивленно подняла крутые брови.

— Вчера требовалось, а сегодня не требуется?

— Вчера требовалось, а сегодня нет, — раздраженно подтвердил я. — И вообще... Не нуждаемся. Ясно?

Клавдия пожала плечами и наморщила лоб.

— Ну что ж. Была бы оказана честь. — И вдруг потупилась, словно чего-то смутившись. — А еще вот что. Насчет Есенина. Вчера я сказала неправду. Мне неизвестно, был ли он богат. Скорее — наоборот. Но душа у него была богатая. Потому-то он и писал так... — И протянула мне голубой томик. — Возьми. Я уже прочла. Да ну же, бери!

Ребята смотрели на меня во все глаза. А я глупо молчал и не знал, на что решиться. Принять подарок или отвергнуть? Все же любовь к книге взяла верх, и я робко принял томик.

— Спасибо... А только зря... Я бы мог купить...

— Пожалуйста, читай, — сказала Клавдия. — Мне она не нужна. В городе у меня есть такая. Можешь совсем оставить. На память...

И кивнула ребятам, продолжавшим молча глазеть на нее. Показалось, она снова назовет нас великими голодранцами. Но она ничего больше не сказала и, шурша розовым платьем, вышла.

Когда за окнами проплыла ее фигура, Сережка Клоков спросил, с какой это просьбой я обращался к мельнику. Придумывать небылицу было стыдно, и я признался во всем. Точно оглушенные, ребята растерянно глядели на меня. Потом Прошка Архипов сердито произнес:

— Ну и ну! Скажи кто другой, не поверил бы. Непостижимо!

— Лучше украсть, чем лезть к кулаку за подачкой, — проворчал Илюшка. — Меньше позора.

— Нет, нет! — взволнованно воскликнула Маша. — И то и другое плохо. Даже противно! Но протягивать руку кулаку... Просить подаяния...

Негодовали все. И поносили меня на чем свет стоит. Идти за помощью к кулаку! Да еще к какому кулаку-то! К тому самому, с каким только что пришлось сразиться!

— А зачем поперся-то? — не унимался Прошка Архипов. — За бревном каким-то. Ххха! Узнай люди — проходу не будет. Скажут: болтуны желторотые. Трубят о классовой борьбе, а к тому же классовому врагу за выручкой лезут.

Я понимал их возмущение и все же защищался. Мало ли еще приходится обращаться к богатеям? Почти вся беднота в кабале у них. Но никто же не осуждается. А тут всего-навсего бревно. Пустяковая мелочь.

— Дело не в мелочи, а в принципе, — сказал Володька. — И за бедноту не надо прятаться. Ты ж обращался к Комарову не от себя, а от комсомола. И поставил комсомол перед кулаком на колени.

— А видали, как эта птичка всучила ему подарок? — подбавил жару Илюшка. — Пожалуйста... На память... — И впился в меня черными, сверлящими глазами. — На какую память? Что промеж вас было? О чем ты должен помнить?..

Чаша переполнилась через край, и я перешел в атаку. Да, я ходил к мельнику не от себя, а от комсомола. Но просил то, что принадлежит народу. Даже мог не просить, а требовать. И недалеко время, когда мы потребуем у него куда больше. Так что в таком обращении нет ничего дурного. Что же касается подарка Клавдии, то тут они и совсем неправы.

— Гляньте на нее, — показал я на голубенькую книжку, в которую уже уткнулся Сережка Клоков. — Это же советская книжка. Советским поэтом написанная. Так что ж в ней опасного? Только то, что дала ее дочь мельника? Да и при чем тут я? Мало ли что взбредет ей в голову? А между нами ничего не было. И быть не могло. И помнить о ней я не собираюсь...

Восторженный выкрик Сережки прервал спор:

— Слушайте! Про нас написано. Честное слово!..

И он прочитал с радостным выражением:

Друзья! Друзья!

Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении веселом!

Знать, оттого так хочется и мне,  
Здрав штаны,  
Бежать за комсомолом.

Голубые глаза Сережки светились, будто он поймал жар-птицу.  
— Слыхали, а? Правда, здорово, а? Просто чудесно, а?..

И принялся снова читать. Чистый и ясный голос его звенел, переливался в большом зале. А мы слушали и успокаивались. Вот улыбнулась Маша Чумакова. Улыбнулась тепло, радостно. Просветлел и Володька Бардин. И взмахом головы забросил назад чуб свой завидный. Андрюшка Лисицин ближе придвинулся к Сережке, заглянул в книжку, точно не доверяя. И когда тот перевертывал страничку, задушевно сказал:

— Складно. Прямо песня...

Есенин утихомирил ребят. И все же они не забыли обо мне. И строго запретили обращаться к врагам за помощью.

\*

Лобачев был один в комнате. Я принялся рассказывать о проделке Илюшки и Митьки. Рассказывал без жалости и преувеличения. Все, как было, и ничего лишнего.

Лобачев слушал молча. Запавшие глаза его сужались и темнели. А скулы то и дело вздувались, будто он не только слушал, а и пережевывал новость.

Но глаза его снова широко открылись, когда я сказал, что ночью свая будет возвращена на место. Казалось, это удивило его больше, чем кража.

— Мы задали им перцу, Илюшке и Митьке, — рассказывал я, стараясь угадать, как отнесется ко всему этому председатель сельсовета и секретарь партячейки. — И предложили проделать все в обратном направлении. Конечно, это будет нелегким делом, но они сами виноваты во всем...

Лобачев встал и грузно зашагал по комнате. Он непривычно волновался. Схваченные за спиной руки перебирали пальцами.

— Сук-кины сыны! — наконец произнес он. — Что придумали. У самих же себя стащили. Одно за счет другого. И правильно, что задали им перцу. Так и надо стервецам... — Он посопел и добавил: — А насчет того, чтобы вернуть дубок... Это тоже правильно. Но... Раз уж так получилось... Да и вам же требуется... Не останавливать же работу в клубе

из-за одного бревна... Поэтому ладно уж... Оставьте дубок у себя. И поскорей кончайте с клубом. А мы обойдемся. Выпросим у лесничего лишней. Придумаем что-нибудь и выпросим...

Трудно было сдержать радость. И все же я, как положено деловым людям, рассудительно заметил:

— Это нас здорово выручит. И настроение ребят поднимет. Вот только опасаясь...

Лобачев снова остановился и с удивлением взглянул на меня:

— Чего опасаясь?..

Я выдержал его взгляд и даже помычал перед тем как ответить.

— Как бы история не просочилась. Узнают люди...

— Да, да! — подтвердил Лобачев. — Узнают люди, и лопнет ваш авторитет, как мыльный пузырь. И тогда, чтобы восстановить доверие...

— Вот этого боюсь, — сказал я, обрадовавшись, что Лобачев серьезно отнесся к моим словам. — У себя-то мы приняли меры. Ребята будут молчать до могилы.

— Ну, если ребята будут молчать, тогда чего же опасаться? — сказал Лобачев, усаживаясь на свое место. — Уж не думаешь ли ты, что я проболтаюсь?

— Нет, нет! — смутился я. — Но...

— Оставьте дубок у себя, — сказал Лобачев, принимаясь за какие-то письма. — И поскорей кончайте дело. Об остальном мы позаботимся сами...

Обратно я шел так быстро, как не ходят, пожалуй, и иноходцы. Я бы даже пустился в рысь, если бы не мешало положение. Какой ни на есть, а все же руководитель. Приходилось сдерживаться. И отказываться от мальчишеских привычек. Да, да, мальчишеских. Давно ли я гонял взапуски со сверстниками? И не было никого, кто обогнал бы меня. А теперь приходится обдумывать каждый шаг. Время шло, и детство уплывало в прошлое. Кончался семнадцатый. Наступит страдная пора, и сравняются они, семнадцать. Мать говорила, что как раз в ту пору нашла меня под снопом. Вязала на помещицьем поле и нашла. И мне всегда представлялось, как вырос я вместе с рожью. Уже давно знал, что это не так, а с представлением таким не расставался. Почему-то хотелось думать, что не мать, а сама земля родила меня.

Вспоминалась ребячья критика за обращение к мельнику. Да, конечно, они правы. Это не намного лучше воровства. Клянчить у врага помощи. В камере я говорил Комарову, что на сделку не пойдем. А вчера решил на такую сделку с собственной совестью. А почему так получается? С

ребячеством еще не совсем покончено. К тому же опыта нет и знаний маловато. Значит, ума надо набираться, к людям прислушиваться. И быть честным всегда и во всем. Подумав так, я невольно покраснел, загорелись уши и щеки. Болтаю о честности, а только что поступил бесчестно. Об Илюшке и Митьке рассказал, а о себе умолчал. А почему? Забыл? Другие — на языке, а сам — в сундуке? Чужой котух протух, а свой — золотой?

«Ну хватит, — приказал я себе. — Все в меру. Еще будет время. Себя не пожалею...»

Хотелось вбежать в клуб и закричать ура. Но я опять подавил желание. Спокойно, дружище! Не мальчик, а секретарь. Держись, как положено. Я вошел медленно и деловито. Ребята разом прекратили работу и уставились на меня. А я взял с подоконника шнур, подал гирьку Прошке и подошел к дубку.

— Прикладывай в обрез...

Мелом я натер шнур и опустил у другого конца.

— Отбей!

Гришка Орчиков подскочил к середине кругляка, как тетиву, натянул шнур и спустил его. Со звоном ударившись о дерево, шнур отпечатал на нем ровную меловую линию.

Отмерив десять вершков от первой меловой линии, я бросил аршин Прошке.

— Ставь на десять...

Прошка отмерил и поставил шнур с другой стороны дубка.

— Еще раз!..

Снова натянув шнур, Гришка отпустил его. Опять хлесткий удар, и новая меловая линия. Сматывая шнур на катушку, я сказал Илюшке и Митьке:

— Тесать!

Но ни Илюшка, ни Митька не тронулись с места. Не сводили глаз с меня и другие ребята. И тогда я сказал, сдерживая возбуждение:

— Сваю никуда не повезем. Сельсовет дарит нам дубок. Только чтоб это был первый и последний раз. Ясно? А теперь — за дело. Я дал слово не канителиться...

\*

Никогда еще мы не работали с таким усердием. Илюшка и Митька со всех сторон обтесали и обстругали кругляк. Мы с Прошкой почти половину

пола на сцене застлали досками. Володька и Сережка с необыкновенной быстротой фуговали бруски для рам. Рамы эти Андрюшка и Гришка тут же вязали по всем правилам столярного искусства. На рамы будет натянута холстина. А на холстине рисуй все, что потребуют пьесы. Много за этот полдень успела и Маша. Она выровняла и побелила всю заднюю стену. И сделала это так, что позавидовал бы и маляр.

Когда пришел вечер, мы рядом уселись на край сцены передохнуть. В смущении подергав носом, Андрюшка Лисицин сказал:

— Никак не выходит из башки... Давеча Клавка ляпнула: «Не смотрите так, я не антилопа». А что такое антилопа?..

Ребята переглянулись, словно спрашивая друг друга. Володька Бардин неуверенно ответил:

— Кажись, это породистая собака. Лохматая и злющая...

Ребята высказывали догадки и время от времени посматривали на меня. А я и сам не знал, что такое антилопа. Никогда в жизни не слышал такого слова.

Но признаваться в этом не хотелось. Надо было поддерживать авторитет. Особенно после взбучки, какую получил от ячейки.

— А ты случаем не знаешь, Хвиль? — не вытерпел Андрюшка, с надеждой заглянув мне в лицо. — Что это за сатана?

Я неопределенно развел руками.

— Где-то читал. Но не помню. Пороюсь в книжках, тогда скажу...

— Это не собака, — заметил Сережка Клоков. — Скорее всего, это звезда. Далекая и яркая.

— Что ж, она приравняла себя к звезде? — удивился Андрюшка. — Почему ж тогда просила не смотреть на нас так? Кажись, звезды-то мы любим?

— А собак разве мы не любим? — возразил Сережка. — Нет, антилопа — звезда. Далекая и недоступная.

— Подумаешь, недоступная! — возмутилась Маша. — Да что в ней недоступного? И совсем она не похожа на звезду...

Маша отвечала Сережке, а жгла горящими глазами меня, будто я был виноват, что Клавдия назвалась антилопой.

\*

Накануне мы отбили косы, наладили крюки. Мать напекла чуть ли не целое сито коржиков. В свое время отчим окрестил их жиримолчиками. А

было так. Однажды Денис, уплетая такой коржик, спросил, как он называется. Мать, расстроенная чем-то, сердито бросила:

— А, жри молча!

Отчим тут же перевел ее слова на свой лад:

— Жиримолчик!

С тех пор и пошло. Но мы не часто баловались коржиками. Мать тратилась на них лишь в редких случаях. Начало же уборки урожая было редким из редких случаев. И потому-то она расщедрилась.

В поле вышли рано, когда на подорожнике блестела роса. Мы с отчимом несли крюки. Мне достался и жбан с водой. Мать и Нюрка с граблями на плечах двигались следом. В руках у них были узелки с едой. Позади всех плелся Денис. Недовольный, что разбудили чуть свет, он беспрестанно зевал и хныкал.

Утро занималось яркое и теплое. На высоком небе белыми барашками паслись редкие облачка. Горизонт на востоке расцветал радужными красками. Чистый и свежий воздух вдыхался легко, пробуждал во всем теле силу и бодрость.

Степь оживала с каждой минутой. По дорогам торопились косари и вязальщицы. Над хлебами, покачиваясь в стороны, плыли крюки и грабли. Лошадники весело обгоняли пешеходов. Им, конечно, хорошо, лошадникам. С урожаем своим управятся без тревог. А вот мы... И почему так устроено? Одни легко добывали хлеб. Другим он давался потом и кровью.

На делянке нас встретило солнце. Большое, полыхающее, оно только что встало над землей. И затопило все вокруг ласковыми лучами. Густая рожь приветливо бежала к нам, кланялась тучным колосом.

— Кормилица, — сказала мать, вытирая глаза. — Вот ежели б ты вся была наша. Тогда б то мы зажили по-людски...

Слова матери болью отозвались в сердце. «Ежели б вся была наша...» А почему она не вся наша? Мы же с отчимом пахали тут, сеяли. Только на лапонинских лошадях. И за это должны отдать половину урожая. Целую половину!

Отчим выкосил угол у дороги. Мать связала сноп и поставила его на попа. Я выкопал ямку в тени снопа, опустил в нее жбан. В земле вода не скоро нагреется. Там же, под снопом, Нюрка уложила еду, пригрозив Денису, чтобы раньше времени не трогал.

— А то ты известный шкода! Враз располовинишь...

Сбросив рубаху, я взял крюк.

— Пойду первым...

Отчим усмехнулся в усы и довольно сказал:

— Валяй, сынок! А тока не жалься, коль подкошу.

Острая коса легко прошла полукруг. Длинные пальцы крюка подхватили срезанную рожь, уложили ее на землю. Передвинув ноги, я занес косу и снова пустил ее полукругом. И опять она, будто играя, с нежным свистом скользнула над землей. Крюк казался игрушечным. Но я знал: так бывает сперва. А долгий день только начинался. И богатая рожь стлалась далеко вперед. Уже к обеду крюк станет таким, что с ним и вхолостую трудно будет сладить. Потому-то надо было беречь силы.

Отчим шел следом. Он косил споро. Тягаться с ним, опытным косарем, было небезопасно. Семь потов выжмет! Но отчим на этот раз не торопился. Тоже берег силы? Или жалел пасынка?

На мой ряд стала Нюрка. Граблями она быстро сгребала рожь, выхватывала из нее два пучка, скручивала перевясло и ловко вязала сноп. И двигалась дальше, подгребая за собой оставшиеся на стерне колоски. Она была работящей, сестра. За всякое дело бралась с живостью. И все делала добротнo. А работая, напевала. Так вот и теперь. Едва став на ряд скошенной ржи, она затянула песню. И на душе стало как-то радостней, словно солнце засветило ярче.

Мать вязала за отчимом. Она также проворно сгребала скошенную рожь, скручивала перевясло, одним движением связывала сноп. Она тоже была трудолюбивой и не жалела себя ради нас, детей. Только ради нас она вышла за человека, годившегося ей в отцы, в жертву нам принесла молодость. Мы же горячо любили ее и старались не перечить даже тогда, когда, поддавшись горю, она была неправой.

За матерью и Нюркой двигался Денис. Он подбирал снопы и таскал в одно место. В конце дня мы сложим их в крестцы. Так они будут ждать перевозки на ток. Денис был неплохим парнем. Только бедокурил часто. Да работать ленился. Но ему все сходило. Маменькин любимчик. Она баловала его и потворствовала во всем. А когда Нюрка выговаривала ей за это, неизменно отвечала:

— Да он же самый меньшой. Как же можно не жалеть его?..

А вот и межа. Она делит десятину пополам. За межой наша земля принадлежит Лапонину. На ней такая же густая и высокая рожь. Оттого-то вся десятина кажется дельной.

Несколько секунд я стоял перед межой, вытирая пот со лба. В ушах звучали слова матери: «Вот ежели б она вся была наша...» А почему же она не вся наша? Почему мы миримся с обманом? Почему не защищаемся от грабежа?

Не раздумывая больше, я пустил косу за межу. И тотчас услышал позади тревожный голос отчима:

— Эй, остановись! Чужая!..

Но я не послушался. Это была не чужая, а наша рожь. На нашей земле выращенная, нашим трудом выхоженная.

«Наша! — повторял я про себя, чувствуя волнение. — Только наша. И ничья больше. И мы не отдадим ее. Ни за что не отдадим!»

А как поступит отчим, когда дойдет до межи? Последует за мной или повернет обратно? А если повернет, что тогда? Сдаться? Ну, нет. Не затем я переступил эту черту, чтобы отступить. Тогда пусть он косит нашу половину, а я лапонинскую, которая тоже была нашей. И Нюрка не перестанет вязать за мной. Вон как запросто она перешла на эту сторону, даже не остановилась. Будто мы с ней заранее условились.

Направляя оселком косу, я оглянулся. Отчим только что приблизился к меже. На минуту опустил крюк, задумался. Лицо показалось суровым, взгляд добрых глаз — тяжелым. И казалось, вот сейчас он вскинет крюк на плечо и зашагает назад. Но он не зашагал назад, а взмахнул косой и врезался в рожь за межей. Душа моя наполнилась ликованием. И коса запела еще звонче, укладывая скошенную рожь в ряд.

\*

Мы работали без отдыха. Останавливались только затем, чтобы подточить косы. Да, возвращаясь на новый заход, на миг припадали к прохладному жбану.

Отчим по-прежнему косил за мной. Он свободно мог обогнать меня, но не делал этого. Видно, не хотел ущемлять мою гордость.

Молча трудились мать и Нюрка. Наша решимость радовала и пугала их. Нюрка ни на минуту не разгибалась и вязала с небывалым упорством. Зато мать часто прикладывала ладонь к глазам, вглядывалась туда, где лежал косой шлях. Она ждала и мучилась ожиданием.

Веселым выглядел только Денис. Увидев, что мы прокосили десятину насквозь, он подбежал ко мне, когда я возвращался обратно, и возбужденным полусшепотом спросил:

— И лапонинскую пристебнули? Да?

— Не лапонинскую, а свою! — строго сказал я. — И знай себе работай. Да не отставай...

И Денис не отставал. Он хватал снопы за перевясла и, скользя босыми

ногами по колкому жнивью, чуть ли не бегом тащил к месту копнения. Лишь изредка приседал он на корточки, будто затем, чтобы рассмотреть что-то, а на самом деле, чтобы съесть жиримолчик. Несмотря на запрет сестры, он все же сумел запастись коржиками.

А солнце поднималось все выше и выше. Не скупясь, оно заливало поле зноем. Спелая рожь сверкала золотом и, как диковинное море, волновалась. То там, то сям плыли по этому морю косари, поблескивая в солнечных лучах мокрыми от пота спинами. А вязальщицы в белых платочках, будто забавляясь, то погружались в золотистую зыбь, то вновь всплывали над ней.

На зеленой дорожке, разделявшей загоны, время от времени показывались односельчане. Чаще всего это были старики и старухи. Они несли хлебобобам нехитрую еду или тащили грудных внучат к матерям. Некоторые останавливались перед нашим полем и с удивлением оглядывались. А сосед Иван Иванович даже свернул на делянку и, приминая деревянными башмаками стерню, двинулся к нам.

— Это что ж такое-ча? — закричал он на подходе. — Никак ты, Данилыч, урожай выкупил?

— Выкупил, — нехотя отозвался отчим, не переставая косить. — Силушкой да правдушкой.

Иван Иванович недоверчиво оглядел нас слезящимися глазами.

— И какая же вышла цена? — спросил он, не поняв отчима. — Какой куш с пятерых душ?

— О цене покамест не столковались, — морщась, отвечал отчим. — Некогда этим заниматься. Убирать поскорейше надо. Не то перестоится и посыплется. Урон большой выйдет...

Я досадовал на старика. И принесла же нелегкая! Теперь растрезвонит всему миру. И раньше времени встревожит Лапониных. Чего доброго, примчатся в поле. А лучше бы столкнуться с ними в селе. Там народ не так разбросан, как в степи. И что, как явятся все трое? Более всего страшил Дема. От него можно ждать любой выходки. Да и Миня не станет раздумывать. С отцом и старшим братом он любит показать храбрость.

— Знаете что, дед? — прервал я говорливого старика. — Шли бы вы своей дорогой. И не мешали бы. Время-то жаркое...

Иван Иванович оторопело глянул на меня. Потом перевел испуганный взгляд на отчима.

— Все понятно, едят ё мухи! — закивал он седой головой. — Самочинно, значитца. На страх и риск. Ну, дай бог. И сохрани, дева Мария. Другим для примера. Чтоб не ждали милости...

Разговор с Иваном Ивановичем вселил тревогу. Я косил с удвоенной силой. Молча трудились мать с Нюркой. Даже отчим и тот как-то присмирел. Всеми овладело беспокойство. Да и то сказать! С кем решились схватиться...

За обедом мать глухо сказала:

— Вот косим, вяжем, спину гнем, а он подъедет, Лапонин, на своих битюгах и увезет готовое.

— Так уж и увезет! — вспыхнула Нюрка. — А мы что, смотреть будем?

— А что ты ему сделаешь? — продолжала мать. — Пожалует с сыновьями. Да еще не с пустыми руками. И пропадет наш хлебушко. А мало того, самих покалечат...

Я украдкой взглянул на отчима. Он был строгим и мрачным: видно, взвешивал наши силы. И обдумывал меры защиты.

Словно почувствовав мой взгляд, он оглядел нас и принужденно улыбнулся.

— Не падать духом, — сказал он. — Не такие уж они грозные. Да и пора уже не та. Кончается их пора...

Да, пора не та. Аппетит богачей урезан. Чтобы выколачивать барыши, им приходится хитрить и приноравливаться. И все же... Они держали в кабале многих. Перед ними склонялись слабые. Их поддерживали подкупленные и задобренные. И со всем этим нельзя было не считаться.

\*

Лапонин явился под вечер. Прискакал верхом на жеребце один.

Остановившись перед нами и не слезая с коня, спросил отчима:

— Ты что же это делаешь, Данилыч?

Отчим вытер мокрый лоб тыльной стороной ладони.

— А ты что ж, не видишь?

— Вижу, — ответил Лапонин, сиюсь сдерживать гнев. — Потому и спрашиваю. В чем дело?

— А в том дело, — сказал отчим, — что порешили мы сами убрать свой урожай.

— Вы же сдали мне землю?

— Сдали, — подтвердил отчим. — Прошлой осенью. А теперь вон лето. И мы передумали.

— А как же сделка?

— Сделка кабальная, — вмешался я. — И мы расторгаем ее. Раз и навсегда. За лошадей, понятно, заплатим. Что положено...

Лапонин повернул жеребца ко мне. Казалось, вот сейчас он ударит его, и тот собьет меня, растопчет. Я невольно поднял крюк, поставил его перед собой косою вперед. Лапонин опустил плеть.

— А ты того, малый, — прохрипел он. — Не больно задирайся. Невелика шишка — секретарь комсомола. Враз урезоним. Тем паче в таком деле. Это ж разбой среди бела дня!

Отчим шагнул ко мне и тоже поставил косу перед собой.

— Никакого разбоя нет, — возразил я, ободренный поддержкой отчима. — Скорей наоборот: защита от разбоя. И ничего больше. А что до меня самого, так я не задираюсь. И шишек из себя не строю. Вот так, гражданин Лапонин. Урезонить же нас не удастся. Скорей мы урезоним вас. Да так, что никогда уж не сможете наживаться чужим трудом...

Я старательно подбирал слова, четко произносил их и видел, как менялось заросшее щетиной лицо богатея. Оно то бледнело, то перекрашивалось в зеленый цвет, то покрывалось коричневыми пятнами. И впервые мне стало ясно, что иные слова могут бить сильнее кнута.

— Хорошо!.. — Лапонин задыхался от ярости. — Можете убирать. А я предупреждаю. Как уберете, так увезу хлеб. И за работу не дам ни копейки.

— Хорошо, — в тон ему сказал я. — Везите. А мы заберем его с вашего тока и через все село повезем на ваших лошадях...

Лапонин хотел было что-то ответить, но запнулся, точно подавившись злобой, и повернулся к отчиму.

— Смотри, Данилыч. Пожалеешь, да поздно будет. Со мной шутки плохи. Ни перед чем не остановлюсь...

И со всей силой ударил жеребца плетью. Тот испуганно вздыбился и вихрем помчался по полю. Но Лапонин продолжал в исступлении хлестать лошадь. Упругая плеть в его руке без конца поднималась и опускалась. И в воздухе чудился свист ременной подушечки, в которую вправлен свинец.

Когда Лапонин растворился в душном мареве, мать испуганно заголосила:

— Ой, батюшки! Ой, родные! Что ж теперь будет-то? Заграбастает он наш хлебушко! И самих к ответу притянет! Как бунтарей каких-то!..

Я перевел взгляд на отчима. Плотный, кряжистый, он стоял прямо, расправив плечи. И на лице у него была решимость, точно он только сейчас обрел в себе силу. Но вот он широко улыбнулся, обнял мать за плечи и ласково сказал:

— Не убивайся, Параня. Не беззащитные мы. Народ с нами. Не даст в

обиду...

Его слова укрепили уверенность, и я твердо добавил:

— Все будет в порядке. Одну атаку отбили. Отобьем и другие...

Мы стали на свои места. Мать трижды перекрестилась на восток. Она призывала бога на помощь. Но он, конечно, не услышал ее. А не услышал потому, что помогал только богатым.

\*

Вечером, когда над балкой уже разливались синие сумерки, мы вернулись с поля. Я и Денис побежали искупаться. Потудань в нашем месте неширокая, но глубокая речка. Берега ее почти сплошь покрыты вербами. Густой лозняк подступает к самой воде и даже наклоняется над ней, закрывая от солнца.

Раздевшись за кустом, мы разом бросились в воду. Холодная, будто только что из ключа, она больно хлестнула по липкому от пота телу. На какое-то мгновение даже стало чуточку страшно, будто с детства близкая и родная река перестала быть другом. Но вот голова выбросилась на поверхность, руки одна за другой ударили по серебристой глади, и в душе забились, затрепетала радость. До чего же хорошо на Потудани в летние сумерки!

Денис плавал легко и быстро, как щуренок. Мне трудно было тягаться с братом. Зато я нырял глубоко и надолго. Иной раз Денису стоило немалых трудов удержаться, чтобы не поднять тревогу, пока я не показывался над водой. В таких случаях он пускался за мной в погоню и, нагнав, принимался топить меня.

Но более всего мы любили брызгаться. Стоим по плечи в воде и, зажмурившись, поливаем один другого водой. Пока кто-либо не запросит пощады. И так каждый раз, когда мы оказывались на реке. Но в этот вечер, словно сговорившись, мы оставили игру. Долгий и знойный день вымотал силы, и было не до забавы.

Назад мы возвращались медленно, рядом шагая через скошенный луг. Копны на нем уже осели и казались серыми курганами. Навстречу тянуло свежей прохладой.

Вдруг Денис подался ко мне и приглушенно сказал:

— Слышь, Хвиля, вы бы приняли меня в комсомол? А? Я бы вместе с вами что-нибудь делал. На собрания ходил бы, учился. А?..

Просьба брата не удивила меня. В последнее время он пристально

присматривался к моим делам. И ко всему, что касалось ячейки, проявлял любопытство. Я догадывался, что все это неспроста, и приготовился к такому разговору.

— Принять тебя в комсомол? А ты не боишься?

— Это чего же? — удивился Денис.

— Домашних. Нюрка-то, она ж тебя поедом съест.

— А ну ее, Нюрку! — отмахнулся Денис. — Ей-то что за дело? А потом... Да я ее сроду не боялся.

— Ладно, — согласился я. — С Нюркой ясно. А как с матерью?

— А что с матерью? Ну, отлупит. Один же есть в доме комсомолец. А какая разница: один или два?

— Ладно, — повторил я. — Допустим, все будет так. Но на что тебе комсомол?

Денис глубоко вздохнул.

— Хочется переделаться. Сейчас я какой-то такой... Самому не по душе... — И, глянув на меня, спросил: — Вот скажи, какой я, по-твоему?

Мне не хотелось обижать брата. Но не хотелось и упускать случая. И я сказал:

— В общем-то ты парень как парень. Только ленивый.

— Я не ленивый, — возразил Денис. — Я квелый.

Ленивый — это когда может, а не хочет. А я хочу, но не могу. Понимаешь? Вот и хочется переделаться...

Денис говорил по-взрослому. Казалось, он сразу вырос намного. Рядом со мной шагал словно бы не подросток, а юноша. Мне это было приятно, но я ничем не выдал себя. И все так же серьезно спросил:

— А ты думаешь, комсомол поможет?

— Еще как! — подтвердил Денис. — Там же у вас порядок. И строгости.

— Нет, брат, — сказал я. — Надо прежде самому за себя взяться. И самому от недостатков избавиться. Мало того, что ты с ленцой, ты еще и с хитрецей. Себе на уме...

— А кто не себе на уме? — прервал Денис. — Все себе на уме. В кого ни кинь и на кого ни глянь. Все одинаковые.

В сенях мы прервали разговор. Я остановил Дениса, прислушался. Из хаты через раскрытую дверь доносился знакомый голос. Ну да, Лапонин. Его подсиповатое хрюканье. Сам пожаловал. Видно, не так уж уверен, раз явился к беднякам. И видно, не те уж времена, чтобы брать послушников за горло.

Лапонин сидел на лавке, неторопливо поглаживал бороду. Напротив

него у стола занимал свое обычное место на табуретке отчим. Мать же стояла у двери и плечом подпирала притолоку. Заметно было, что спор улажен. Отчим сразу же подтвердил это:

— А мы тут с Фомичем полюбовно столковались. Он позволил выкупить урожай. Заплатим за лошадей— и баста...

Я почувствовал на себе острый взгляд Лапонины. Он словно старался забраться ко мне в душу. Видно, я для него был не последним в этом доме.

— Кому он нужен, раздор? — добавила мать, почему-то не глядя на меня. — Не зря же господь велел решать дела миром. Вот и мы помирились.

Да, отчиму и матери хотелось все уладить миром. Это было по всему видно. Но нетрудно было догадаться, что за мир они заплатили чем-то еще. И мать, будто угадав мои мысли, пояснила:

— А за то мы пообещались молчать. Ну, чтобы все промеж нас осталось. А ежели кто спросит, так говорить, что, мол, по доброй воле.

Все стало ясно. Лапонин испугался, что пример растревожит других. А случись это, хозяин потеряет многое. Но я не стал перечить родителям. Они и без того немало пережили. Шутка ли — решиться на ссору с богачом. А кроме того, их уговор меня ни к чему не принуждал. Да и дед Редька не будет молчать. Уж он-то разбарабанит новость по селу.

— Пускай будет так, — сказал я с равнодушным видом. — А только придется малость прибавить. Лошадь на перевозку хлеба с поля. За плату, понятно, — добавил я, заметив, как заерзал Лапонин. — По справедливой цене...

Лапонин хмуро молчал. На шее у него дергались синие жилы. Широкие, взлохмаченные брови почти закрывали глаза. Он выглядел жестоким, бессердечным. И мне вспомнился случай.

Это было несколько лет назад. Однажды Лапонин явился к нам, когда мы с Денисом были дома одни. Достав из кармана пятак, он предложил:

— А ну за мной! Да босиком!..

Раздетые, разутые, мы выбежали из хаты. А на дворе стояла зима. И все кругом было занесено снегом. Лапонин подбросил на ладони медяк и сказал:

— Сейчас закону. А вы ищите. Кто найдет, того и будет...

С этими словами он швырнул пятак далеко на огород. Мы бросились туда, где упали деньги, чуть ли не по пояс увязая в сугробе. Холод множеством иголок впивался в тело, захватывал дыхание. Но мы ничего не чувствовали. Стуча зубами, мы копались в снегу, пропускали его через пальцы. Где же он, этот медяк? Ну где же?

Первым сдался Денис. Вытирая красными кулаками слезы, он побрел домой. За ним ни с чем вернулся и я. А Лапонин, стоя посреди двора в валенках и полушубке, весело смеялся. Должно быть, забавно было смотреть на босоногих сирот, так и не нашедших в снегу счастья.

В тот же день Денис слег. У малыша начался жар. Часто он впадал в бред и слабым голосом лепетал:

— Это мой пятак... Я первый нашел его...

Выпросив у матери ее валенки, я долго копался в снегу. И наконец нашел его, этот злосчастный медяк. Я смотрел на монету, огнем обжигавшую ладонь, и плакал. Но не от радости, а от обиды. А потом купил на эти деньги горсть дешевых конфет и положил их рядом с братом, мечущимся в жару.

«Неужели ж ты забыл об этом, кулак? — мысленно спрашивал я Лапонины. — И неужели и теперь совесть не гложет тебя?..»

Конечно, я не напомним о случае с пятаком. Зачем? Да и жалко было родителей, заключивших мир с богачом. Ведь они были уверены, что большего им и не надо.

— Хорошо, — решился Лапонин, принужденно улыбнувшись. — Согласен. Из уважения к вам. С честными хочу по-честному. Заплатите за пахоту, сев и перевозку. И рот — на замок... — И снова просверлил меня взглядом. — Тебя устраивает это, мальй?

Я с деланным безразличием пожал плечами.

— Лошадь дадите теперь же. Будем возить сразу после копнения... — И, увидев, как передернулся богач, добавил: — Ничего не попишешь. Общественных делов пропасть. Вот и надо поскорей с домашними разделаться...

Лапонин ушел не простившись. Мать и отчим вышли за ним во двор. Когда мы остались одни, Денис, сверкнув в полутьме глазами, проговорил:

— Слыхал? Полюбовно столковались. А какая же может быть любовность промеж нас? Кто ж тут хитрит? Он или мы? А может, все себе на уме?..

\*

После долгого перерыва из-за страдной поры мы снова собрались в клубе. Теперь нас было на одного больше. Два дня назад комсомольский билет получил Гришка Орчиков.

Когда все мы поздравили новичка, крепко пожав его руку, Прошка

Архипов разразился целой речью, где-то вычитанной и заученной:

— Запомни этот день, товарищ Орчиков! — торжественно произнес он, выбрасывая указательный палец. — Запомни навсегда. Это день второго твоего рождения. Не физического, а духовного. А духовное рождение — поважнее физического. От него зависит — быть человеку активным строителем жизни или безрассудным прожигателем ее. Запомни это хорошенько, товарищ Орчиков! Теперь ты принадлежишь к большой семье, имя которой — комсомол. Да, Ленинский комсомол — это большая, дружная семья. В ней живут и борются молодые и беззаветные энтузиасты. Вместе с коммунистами, под их руководством они воздвигают новый мир, всех себя без остатка отдают своему народу. Так будь же бойцом-энтузиастом! Ради семьи своей, для страны родной не жалея ни сил, ни труда, ни времени! Преданно относись к Коммунистической партии, беспрекословно выполняй ее волю! Только тогда ты будешь настоящим комсомольцем, достойным высокого звания ленинца!

— Вот это да! — восхищенно цокнул языком Сережка Клоков, когда Прошка умолк и важно надулся. — Сам Симонов позавидовал бы. А может, кто и повыше.

— И счастливчик же ты, Гриша, — вздохнул Андрюшка Лисицин. — Как мы тебя тут привечаем и величаем. А вот меня бедного... — Он с шумом потянул носом и часто замахал ресницами, точно собираясь заплакать. — Меня никто не поздравил, когда приняли. Будто у меня этого второго рождения и не было.

— А я как обняла тебя? — напомнила Андрюшке Маша.

— Мало того, что обняла, даже поцеловала, добавил Володька Бардин, тиская Андрюшку за плечи. — Так чмокнула, что аж на улице было слышно. Или об этом тоже забыл?

— Об этом не забыл, — сказал Андрюшка, ладонью поглаживая щеку, будто Маша только что поцеловала его. — И никогда не забуду. А все ж таки... Ежели б Прошка сказанул вот так, как сейчас, было б тоже не худо.

— Нет, кроме шуток, — сказал Сережка Клоков, обводя нас голубыми глазами. — Я предлагаю... С нынешнего дня завести порядок. И по этому порядку поздравлять всех новых комсомольцев. При вручении билета. Торжественно на ячейке. Руку пожать, слово произнести.

— Я хочу добавить к тому, что сказал Прошка, — вставила Маша — Гришка — хороший парень. Честный и смелый. В характере много доброты. Но маловато ненависти. Ненависти к врагам нашим. К разным кулакам и мироедам. А без ненависти нет закаленного бойца. Без нее мы, что лодка без руля. Куда понесет, туда и вынесет.

— А, ненависть! — пренебрежительно скривился Илюшка Цыганков. — Ее надо разжигать, ненависть. А мы только болтаем о ней. И классовую борьбу ничем не обостряем. Взять тех же кулаков наших. Намного им хуже теперь, чем при царе? — Он скрипнул зубами и так сжал кулаки, что пальцы побелели. — Моя б воля, так я бы их всех одной очередью...

После взыскания за сваю Илюшка заметно переменялся. Он стал угрюмым, раздражительным. Я присматривался к нему и думал: а не погорячились ли мы? Да, они увезли сваю. Но решились на это ради чего? Тем более что работа на мосту не остановилась. Но скоро я понял, что ячейка поступила правильно. Илюшка во многом зарывался, и его надо было одергивать. Вот и сейчас, говоря о кулаках, снова рванулся галопом. И потому я заметил, вспомнив прочитанное:

— Был такой римский император Юлий Цезарь. Так вот про него говорили: пришел, увидел, победил. Так и наш Илья. Одним махом хочет всех врагов уничтожить...

Ребята дружно загоготали. А Илюшка, весь красный, встал и заявил:

— Я не император, а комсомолец. И против такого оскорбления...

И выбежал из клуба. А мы, захлопнув рты, растерянно глядели на дверь. Володька Бардин, шумно вздохнув, сказал:

— Кажется, одним голодранцем меньше стало...

А Маша серьезно заметила, уколов меня строгим взглядом:

— И правда — дурость. Сравнить комсомольца с императором! Кто угодно обидится. Илюшка неправ. Это так. Но надо разъяснить, а не оскорблять...

Я возражал с жаром. Ничего обидного в таком сравнении нет. Тем более что всякое сравнение условно. Но ячейка не посчиталась с моими грамотными доводами. И запретила сравнивать комсомольцев с царями, королями и императорами.

Потом мы занялись делом, ради которого собрались. Дело же это было важным и срочным. Почти все бедняки расторгли кабальные условия. И сами убрали урожай на своей земле. Но перевезти его было не на чем. Середняки еле управлялись со своим хлебом. На них трудно было рассчитывать. А кулаки... Обозленные, они требовали два снопа из трех.

Разговор с Лобачевым не дал ничего путного. Председатель сельсовета только пожимал плечами. Но под конец все же посоветовал переговорить с председателем селькредкома. Кому ж, как не бедняцкому комитету, заботиться о бедноте? Председатель селькредкома Родин слушал рассеянно. Это был мужик средних лет, с большим животом и длинными

усаами. Умел он только расписываться да произносить речи. Но крестьяне все же уважали его. Умел он еще и выслушивать просьбы. Так выслушал он и меня. А потом спросил:

— И что же ты предлагаешь?

— Помочь бедноте.

— А как, позволь узнать?

У меня было заготовлено предложение. Но я все же не решился сразу высказать его. И потому ответил уклончиво:

— Как-нибудь...

Родин сморщился, как от боли.

— На «как-нибудь» все мастера. А копни вас поглубже — пустота... — И уставился на меня своими слегка выпуклыми глазами. — Думаешь, один ты радетель? И я тоже днем и ночью ломаю голову. А только ничего не в состоянии. Денег нет. Лошадей тоже. И вообще ничего у меня нет.

— Так на что ж тогда селькrestком?

— А я почему знаю на что? Создан, и все тут. Вот сижу и принимаю со всех сторон оплеухи. И от партячейки, и от сельсовета, и от бедноты. А теперь вот еще и комсомол замахнулся.

— Знаете что, Андрей Васильевич? — подался я к Родину. — А давайте-ка введем гужналог. А?

— Это еще что за штука такая?

— Ну, гужевой налог, или, по-другому, налог на лошадей. У кого одна лошадь, тот освобождается. А у кого две и больше, дай бедняку на перевозку...

Родин смотрел на меня как на помешанного. Потом сердито сказал, дернув себя за ус:

— Ишь, что придумал, мастак! Гужналог. А кто их вводит, налоги-то? Мы или вышестоящие органы?

— Вышестоящие, — неуверенно подтвердил я. — Но это же наш налог, местный. А что ж делать? Не становиться же опять перед кулаками на колени?

Родин подумал, побряхтел.

— Все вот так, — проворчал он. — Нет бы сначала обсудить, взвесить. И с постановлением явиться. Чтобы создать опору. Дескать, комсомол требует. А то без всякой подготовки. Выложь да положь. Нет, так нельзя...

Вот потому-то мы теперь думали над этой задачей. Думали и гадали, как создать опору для кресткома. И говорили сдержанно и угрюмо, расстроенные Илюшкиной выходкой.

Из Княжой в Новоселовку можно пройти двумя дорогами: через Котовку и через верхнее поле. Маша предложила пройтись полем. Тянуло прогуляться степью. И не хотелось, чтобы нас видели вдвоем.

Ночь уже затопляла балку с садами и хатами.

Терпкая пыль, поднятая стадами коров и овец, оседала, и дышалось легко. Разноголосо и беззлобно перекликаясь, затихали на окраинах собаки. И, словно сменяя их, вразнобой драли глотки на Потудани лягушки.

За последней хатой мы вышли на проезжую дорогу, обогнули неглубокий яр, заросший терном, и вышли в поле. Оно было покрыто копнами, неожиданно выплывавшими справа и слева. В густой стерне временами шелестел шалый ветерок. Маша взяла меня под руку и зябко прижалась плечом.

— Одной тут было бы страшно. А с тобой нет. Ни капельки. Нет, и с тобой страшно, но это уже по-другому. С тобой тоже чего-то боюсь, боюсь и хочу бояться... — А через несколько шагов вырвала руку и зло проговорила: — Если бы ты знал, как я тебя ненавижу! Ну, прямо даже не знаю как. Так и разорвала бы на мелкие части.

— Да за что же? — удивился я. — Что я такое сделал?

Некоторое время Маша шла молча, то и дело вздыхая. Потом сказала резко, точно хотела больнее ударить.

— За Клавку Комарову. За нее ненавижу.

— А при чем же тут Клавка? — засмеялся я. — У нас же с ней ничего. Ровным счетом ничего.

— Может, и ничего, не знаю. А только я видела, как она пялила на тебя глаза. Будто хотела живьем съесть... — И, передохнув, продолжала: — И ее ненавижу. И не потому, что кулачка. Это само собой. А потому, что любит тебя.

— Да с чего ты взяла?

— Да все с того же. Она прямо впивалась в тебя... — И опять с шумом выдохнула воздух. — Я бы ее всю так и растерзала...

Я взял ее под руку.

— Не злись, Маша. Это тебе не идет. И причин никаких нет...

Мы медленно шли по ночному полю. Все чаще и чаще налетал порывами ветер. Вкусно пахло хлебом. И очень хотелось есть. Почему-то подумалось о перепелках. В нескошенных хлебах их было множество. И так самозабвенно перекликались они в степи. Теперь хлеба были убраны,

связаны в снопы и сложены в копны. Куда же девались перепелки? Где обитали они теперь? И почему не прошивали ночную тишь звонкой переговоркой?

У дороги выплыл из полутьмы ряд крестцов. Я предложил посидеть немного за ними. Хотелось пожевать зерна, чтобы унять голодные спазмы. Маша поколебалась и молча свернула к копне. Я снял с крестца два снопа и уложил один на один. Маша присела на сноп и обхватила колени руками. Я опустился рядом и сказал:

— Ох, как хочется есть! Аж колики в животе. Нашелушим зерен и пожует...

Я сорвал несколько колосков, потер их, провеял, пересыпая из ладони в ладонь, и подал Маше. Она покачала головой.

— Не хочу.

Я бросил зерна себе в рот.

— Ух ты! Пшеница! Чья бы это?

Я медленно двигал челюстями, наслаждаясь запахом пшеничного ситника, и смотрел в безбрежное небо, на котором золотой россыпью сияли звезды. Особенно яркой показалась одна из них, и я подумал: может, антилопа и в самом деле звезда? И может, именно эту яркую звезду называют так?

— А знаешь, Маша, я не знаю, что такое антилопа. Но может, это действительно звезда?

Маша презрительно фыркнула.

— Может и звезда. А только Клавка ничуть не похожа на звезду. Для звезды у нее чересчур кривые ноги.

— Как это кривые?

— А вот так... — Она вскочила, подняла юбку и смешно выгнула наружу ноги. — Вот так. Рогачиком...

Вдали послышался лошадиный топот. Маша камнем упала на сноп.

— Боюсь, ну, как увидят. Пропали...

А топот приближался. Послышался перестук колес. Раздались голоса. Я напряг слух. И скоро узнал ездовых. Братья Колупаевы. Они за что-то проклинали комсомол, нелестно произносили мое имя. Маша сильнее притиснулась ко мне.

— Слышишь? Тебя ругают...

Напротив копны Колупаевы остановились.

— Возьмем немного. Лапонинская. Не обедняет, сволочь...

Теперь и меня пронизал страх. Великовозрастные братья легко могли справиться со мной. Но пугало не только это. Разнесут клевету, очернят

неповинную Машу. Мы сидели обнявшись и затаив дыхание. А Колупаевы сняли с копны несколько снопов, уложили в телегу и погнали лошадь рысью. Когда стук колес замер в ночной тишине, Маша отстранилась и облегченно вздохнула.

— Фу, пронесло. А я прямо обмерла. Вот было бы!..

Я снова сорвал несколько колосков и принялся растирать их.

— Слыхала? Лапонинская. Так что я еще пожую. Не возражаешь?

Маша дернула плечами и безразлично сказала:

— Жуй...

Она сидела неподвижно, будто спала. Но вот повернулась ко мне и попросила рассказать что-нибудь. Про какую-нибудь книжку. Только про интересную...

Я принялся с увлечением пересказывать роман «Тайна пятнадцати». Эта книга больше других нравилась мне. Особенно восхищал главный герой Никталоп, видевший ночью, как днем. Захватывало и упрямство, с каким он разыскивал исчезнувшую невесту. Но самыми интересными были полет на Марс и война с марсианами.

Маша ни разу не перебила меня. А когда я закончил, спросила:

— А ты стал бы меня разыскивать, если бы я исчезла?

Ее вопрос показался несуразным. Никталоп разыскивал невесту. А с Машей мы были просто друзьями. И ничего больше. Но все же я сказал:

— Ну конечно. И обязательно разыскал бы...

Маша вдруг повернулась вся и прижалась к моей груди.

— Федя, — жарко прошептала она. — Милый...

И поцеловала меня в губы. Какой-то огонь вспыхнул во мне.

Голова вдруг закружилась, точно от хмеля. И сразу же безотчетный страх схватил за душу. Я оттолкнул ее, вскочил, как в лихорадке, лягнул зубами.

— Пойдем, Маша! Пойдем сейчас же...

Она нехотя встала, отряхнулась и медленно направилась к дороге. Еле сдерживая дрожь, я двигался позади, с непонятной жалостью глядя на ее опущенные плечи. Что-то трогательное было в маленькой, худенькой фигурке, сдавленной темнотой. И почему-то хотелось оберегать ее, хотя ничто ей не угрожало.

Всю остальную дорогу молчали. И только у своей хаты Маша, с грустью глядя куда-то, сказала:

— Какой стыд! Сама кинулась! Что теперь подумаешь?..

Я неуклюже сдавил ее плечи.

— Все пройдет. А пока ступай спать. И ни о чем не думай...

Она посмотрела на меня долгим взглядом, повернулась и ушла. А я опрометью бросился по улице, спотыкаясь о невидимые кочки на дороге.

\*

Илюшка принес заявление. На сером измятом листке было старательно выведено:

*«В ЗНАМЕНСКУЮ ЯЧЕЙКУ КОМСОМОЛА*

*От Ильи Цыганкова, комсомольца и верного ленинца.*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Всею душой, всем сердцем я был с родным комсомолом. Никогда для него ничего не жалел. И не пожалел бы даже своей жизни, если бы понадобилась. Но все же прошу исключить меня из его рядов. А прошу об этом потому, что получил незаслуженную обиду. И вышла эта обида по двум причинам. Первая причина — деревянная свая. Вторая причина — император Цезарь. Такого оскорбления снести никак не могу. А потому и обращаюсь с настоящей просьбой. И пусть я не буду в комсомоле, но ленинцем останусь навсегда.

К сему И. ЦЫГАНКОВ».

Выглядел Илюшка угрюмым и подавленным. Опустив голову, Он старательно срывал мозоль на ладони. Но застарелая мозоль не поддавалась. И Илюшка начинал скрипеть зубами. Да, нелегко ему было решиться на такой шаг. Но я все же не выдал жалости и сказал:

— Насчет второй причины беру слова обратно. Но все же хочу заметить. Юлий Цезарь был интересный человек. Крупный государственный деятель Древнего Рима. А кроме того, талантливый полководец и даже писатель. И обижаться на сравнение с ним нечего. Но если все же обидно, то извиняюсь. Что до первой причины, то тут обида неправильная. Все ж таки это было воровство. А разве ж воровство совместимо с ленинцем? И кроме того, правду надо уважать. Какой бы горькой она ни была. А по всему этому резолюция будет такая. Заявление отклонить, а дурь из головы выбросить. Вот так... — Я вернул Илюшке бумагу и сказал: — Порвать и забыть...

Илюшка медленно порвал заявление, а кусочки опустил в карман. Я же посоветовал ему:

— Не дави фасон. И держи себя в руках. Вот ты писал, что останешься ленинцем. А Ленин-то кипяченых не уважал. И требовал не кипятиться, а

умом шевелить. И таких, какие шарахались из стороны в сторону, тоже не терпел. Пролетарский боец должен быть стойким. И твердо идти партийным курсом. Вот ты обиделся. А значит, спасовал. И спасовал-то перед пустяком. А что же будет, если на пути твоём станет настоящая трудность? Нет, дорогой мой, нытье не наше оружие. Оно подведет в бою...

Я рассказал, как сельсовет и селькрестком по предложению комсомола установили гужевой налог. Кулаки и зажиточные по этому налогу обязаны предоставлять бедноте тягловую силу для перевозки хлеба с поля. И за такую плату, какую установит крестком.

— Понимаешь, что это? Схватка с классовым врагом. А что будет, если мы не объединимся, а разбредемся? Как по-твоему, что будет тогда?

Илюшка виновато смотрел на меня и хлопал длинными ресницами.

— Ясно что, — продолжал я. — Мы проиграем бон. И опозоримся перед народом...

При этих словах Илюшка весь преобразился. Он вытянулся, расправил плечи, сжал кулаки.

— Нет, не проиграем. Этого не дождутся... — И сверкнул черными глазами. — Остаюсь в комсомоле. Остаюсь, чтобы драться с врагами. И давай так. Я не подавал заявления, а ты не видел его.

— Договорились, — сказал я. — Только при условии. Никогда не будешь делать что-либо серьезное без ячейки. Так?

— Так! — сказал Илюшка, и это прозвучало, как клятва. — Никогда ничего без ячейки!..

\*

Лапонин считал нас виновниками бедняцкого бунта. И метал, что называется, громы и молнии. А когда узнал, что выдуман еще и гужналог, совсем вышел из себя. И чуть ли не с кулаками набросился на отчима, когда тот явился за обещанной лошадью.

— За что лошадь-то? — хрипел он. — За что, спрашиваю? Обещали молчать, а сами на весь мир кричать? За это, что ли?

— Нет, не за это, — сказал отчим. — Мы молчали как рыба. Ни слова не проронили. А слух распустил кто-то другой.

— Кто же? Кто, я спрашиваю?

— А бог его знает, — уклонился отчим. — Может, человек. А может, и сама земля. Она ж, как говорится, слухом полнится.

Но Лапонина такой резон не убедил. Он наотрез отказался

предоставить лошадь. Тогда отчим сказал:

— Воля твоя, Фомич. А только и мы теперь с усами. Не дашь лошадь, ничего не получишь за сев.

Лапонин подумал, пожевал губами, будто подсчитывая, в каком случае потеряет больше, и хрипло выдавил:

— Берите, пользуйтесь. Видно, ваше время. А тока недолго оно будет продолжаться. Пробьет и наш час. Уж и отыграемся. Всю вашу братию-шатию придавим. Как вшу заразную... — И вдруг как ни в чем не бывало вкрадчивым полусшепотом — А ты бы угомонил пасынка. Обуздал бы как-нибудь. На рожон лезет малый. Как бедноту взбаламутил. Прямо взбеленились, шарлатаны. Того и гляди погром учинят. Угомони парня. Призови к порядку и уважению. А мы уж в долгу не останемся...

Рассказывая об этом, отчим весело посмеивался. Весело было и мне. Все-таки здорово мы допекли кулака. Мало того что в убыток ввели, еще и перед беднотой унизили. В самом деле, что это, как не унижение, возить хлеб беднякам ни за что ни про что?

— В следующий раз передай благодетелю, — наказал я отчиму. — Не продаемся и не покупаемся. Ни за какие блага...

Отчим выполнил наказ. На другой день, явившись к Лапонину, в точности передал мои слова. Лапонин весь побагровел и заскрежетал зубами. Но лошадь все же дал.

— Трусит хозяин, — заключил отчим. — И боится дать промашку. А кто знает, во что обойдется такая промашка?..

В поле с нами увязался и Денис. Всю дорогу он сидел на задке телеги и болтал ногами, усыпанными цыпками. А когда остановились на загоне, принялся по стерне гоняться за кузнечиками. Да и что было делать подростку? Мы управлялись и без него. Отчим стоял на телеге, а я подавал снопы. Они были тяжелыми, эти ржаные вязанки. Под ними руки еле удерживали вилы. А колени так подгибались, что готовы были подломиться. Зато душа наполнилась радостью. Урожай выдался на славу. Сколько бы нашего хлеба захапал Лапонин!

Когда воз был увязан, я посадил Дениса наверх. А отчим, забросив ему вожжи, крикнул:

— Трогай с богом!

Сам же поплелся следом, переваливаясь с боку на бок. Я провожал его глазами и чувствовал, как тепло разливается в груди. Какой он добрый, отчим! Пристал к вдове с тремя сиротами и лишился покоя. Только и знал, что заботился о пасынках. А ведь мог совсем по-другому устроить жизнь. Стоило остаться с богатыми братьями, и не пришлось бы испытывать

невзгоды. Так нет же! Трудную долю предпочел благополучию. И даже разрыву с братьями, так и не признавшими нас родственниками.

Подобрав колоски на месте увезенной копны, я уселся на сноп и развернул газету. Это был «Молодой коммунар», издававшийся в Воронеже. Недавно его выписал на ячейку Симонов. Газета сразу стала для меня другом и помощником. Я читал ее от первой до последней строчки и чувствовал, как раздвигался передо мной мир. Теперь я знал, что делалось в стране и какие события происходили на свете. Так и в этот раз я сразу же увлекся новостями. И не услышал, как подкрался Миня Лапонин. Очнулся, когда тот прогнусавил что-то над ухом. И, растерявшись от неожиданности, поспешно вскочил. Миня же, ехидно усмехнувшись над моей прытью, сказал:

— Вот что, рашпиленок. Решили мы предупредить тебя. Не зарывайся и береги голову. Люди мы сурьезные и шутковать не любим. Не возьмешься за ум, шкуру спустим. И собакам выбросим. А поймешь что к чему, в накладе не останемся. — И снова ухмыльнулся, растянув толстые губы. — Это от нас всех такое предупреждение. А теперь от меня особое. На базаре ты осмелял меня. И в ограде взял верх. Но я не спущу тебе этого. И дождусь своего. Тогда уж не проси пощады, секлетарь. Изуродую, как бог черепаху. Вот так-то, Хвиляка. А теперь бывай и не забывай.

Сухопарый и неуклюжий, он медленно повернулся и зашагал к дороге. И только тогда я увидел там Дему. Старший брат сидел на телеге, запряженной вороным меринком, и двигал спущенными с нее ногами.

Вид у него был такой, как будто он пьянствовал неделю: лицо заросло щетиной, волосы на голове всклокочены, а под глазами зияли такие мешки, что их видно было издали. Он смотрел прямо перед собой, но во взгляде не чувствовалось жизни, будто его ослепили.

Подождав, пока Миня влез на телегу с той стороны, Дема ударил вороного кнутом и матерно выругался. Хорошо смазанные колеса зарокотали по дороге. Но постепенно рокот их отдалялся, затихал, и, наконец, подвода с седоками скрылась за высокими подсолнухами.

А я все стоял и смотрел туда, и слова Мини звенели в ушах. Они были заранее составлены, эти грозные слова, и заучены Прыщом. А составил их, конечно, сам Лапонин. Подкуп не удался, может, угроза подействует. А если они приведут ее в исполнение, свою угрозу? Вспомнился жуткий случай, описанный в том же «Молодом коммунаре». Где-то на Дону кулаки живьем закопали в землю комсомольца. Я развернул газету, которую все время держал в руках, и глазами пробежал по заголовкам. Но на этот раз со всех страниц веяло миром и спокойствием. И на душе становилось

спокойней. А гнусавые слова Мины теперь гудели приглушенно, как будто доносились оттуда, куда скрылись братья.

Присев на сноп, я снова уткнулся в газету. Но читать не мог. Трудно было собраться с мыслями. Они разлетались в стороны, как вспугнутые голуби. Неужели то, что было на Дону, будет и на Потудани? Да нет же, нет! Тот же Лапонин: ну, отхлестает кнутом, даже прибьет палкой. Но убить... Вот разве Дема?.. Вспомнилась стычка на пахоте. Неужели он зарубил бы нас, не окажись у Симонова револьвера? А Комаров? Этот и совсем не казался убийцей. Конечно, он первый жлоб, вытягивающий у людей жилы, но... А если все-таки? Если то, что сказал Миня, не пустая угроза? Что тогда? Поднять руки и сдаться?

Я достал комсомольский билет, глянул на дорогой профиль Ильича и решительно покачал головой. Никогда и ни за что! Пусть будет что угодно, а идти этим путем. И только этим!

\*

Я любил всякую работу. Нравилось ходить за сохой, а еще лучше за плугом, разбрасывать по полю семена, вырывать сорняки на посевах, косить крюком, особенно если урожай хороший. Но более всего по душе была молотьба. А более всего по душе была молотьба потому, что являлась она последним звеном в долгой и нелегкой трудовой цепи. И вот стоишь на меловом току, на котором разложены снопы, и изо всех сил ударяешь цепом. А они, четыре цепа, ладно поют: «Та-та-та-та! Та-та-та-та!»

И молотил я вполне прилично. Так говорил отчим. Но до него самого мне было далеко. Владеть цепом, как он, мне и не снилось. Казалось, он не молотит, а забавляется. Вот, громко крякнув, со всего размаху ударил по снопу: «Бух!»

Вот перекрутил бич в воздухе и развалил сноп: «Трах!»

А вот, чуть согнув ноги в коленях, принялся бить по сухим колосьям: «Та-та-та-та!»

Так молотили мы и в этот день. Я стоял против отчима, Нюрка — против матери. Снопы на току лежали двумя рядами. Тяжелыми ударами мы трепали их, выбивали зерна из колосьев. Работали дружно, не жалели сил. Дух поднимало сознание, что это наше богатство. Но не только это рождало силы. Отчим заражал своей неутомимостью.

— А ну, ну, дай одну! — весело кричал он, когда кто-нибудь из нас уставал. — Руки в брюки, плюнь на руки!..

Всякий раз, когда мы все вместе были заняты каким-нибудь трудным делом, он на ходу сочинял свои прибаутки. Чаще всего они казались бессмысленными и вызывали смех. Но, может, потому-то приходила бодрость, прибавлялись силы. Так приободрились мы и теперь. Даже суровое лицо Нюрки посветлело. А мать и в самом деле, изловчившись, поплевала на ладони. И ряд закончили дружно, не снизив ни темпа, ни качества. И, выпив по глотку воды, сразу же принялись за второй. Надо было торопиться, чтобы управиться до дождей. Крутобокая скирда, стоявшая рядом с током, была обмолочена лишь на треть. И на треть уже были заполнены закрома в амбаре. Отборное, золотистое зерно давало о себе знать неотразимым запахом хлеба. Его и впрямь уродилось в этот год небывало много. И снова цепи цокотали ладно и звонко. «Та-та-та-та! Та-та-та-та!..»

Мать и Нюрка укладывали снопы на току плотно. Они говорили: чем больше уложено, тем скорей обмолочено. Но это был самообман. Он не приносил ничего хорошего. К концу второго ряда у всех начинали дрожать колени, а руки с трудом удерживали цепи.

Однако в этот раз я чувствовал себя особенно вымотанным. По спине за штаны ручьями стекал пот, а к сердцу подбиралась какая-то тряска. Я из последних сил бил по снопам и с мольбой поглядывал на отчима. А тот как ни в чем не бывало по-прежнему играл своим тяжелым цепом. Морщины на его лице тоже наполнились светлой жидкостью. Но он будто ничего не чувствовал. Все так же ловко и сильно бил он по снопу, веером вздымал крупные зерна. И с молодецкой усмешкой посматривал на нас.

— А ну дать, не подгадь! Распуши, ядрена мать!..

Да, я любил молотьбу цепами. Но какая это трудная работа! Как выматывает она силы! То ли дело молотилка. Вспомнились Лапонины, и обида защемила сердце. Ради наживы эти люди пропускают через свою молотилку скирду за скирдой. А мы отбиваем руки цепами. А почему бы и нам не сложиться и не избавиться от изнурительного труда?

Внезапно в стук цепов вплелся цокот копыт. Возле нашей хаты остановился тарантас, запряженный поджарой лошадей. Из тарантаса выпрыгнул молодой человек с шапкой темных волос и матерчатым портфелем. Это был Симонов. Я отбросил цеп и поспешил навстречу секретарю райкома комсомола. И почти тотчас услышал за спиной все те же ладные и дружные удары: «Та-та-та-та! Та-та-та-та!»

Это Денис встал на мое место. В последнее время он заметно подтянулся и брался за работу без понукания. А старался потому, что решил избавиться от лени.

Симонов сильно потряс мою руку. А потом повернул меня кругом и не то с удивлением, не то с восхищением воскликнул:

— Ого! Рубашка-то хоть выжми! Молодец!..

Симонов приехал из села Верхняя Потудань. Кучер, развернувшись, уже гнал коня назад. Мы присели на завалинку во дворе. Симонов, прислушавшись к ладному перестуку цепов, задумчиво сказал:

— Хорошо. А только пора бы расставаться со стариной. И переходить на новые рельсы. Вот в Верхней Потудани ТОЗ организован. И людям сразу стало легче...

\*

Мы в ногу шли по Карловке. Мать охотно отпустила меня. И даже серьезно сказала:

— Ступай, сынок. У тебя ж там дела поважнейше наших. А мы тут и сами управимся...

Дорогой я спросил Симонова, что такое антилопа. Он подумал, словно припоминая, и ответил, что это африканское животное.

— А чем оно примечательное?

— Как тебе сказать? Разнообразием. Антилоп — много видов. Есть похожие на оленя, а есть — на корову и лошадь сразу. — И с любопытством заглянул мне в лицо. — А почему тебя это интересует?

— Так просто, — уклонился я. — Встретилось непонятное слово, вот и спросил. Очень уж много их, непонятных слов. Прямо не знаешь, как быть.

— Учиться надо, — сказал Симонов. — Будешь учиться, будешь и знать. И непонятные слова станут понятными.

— А как учиться? И где учиться? Я бы хоть сейчас. Прямо с ходу. Ночи бы не спал.

— Читай побольше, — посоветовал Симонов. — И читай не просто так, а со смыслом. Вникай, вдумывайся в прочитанное. Старайся представлять, даже фантазировать. — И, подумав немного, добавил: — На днях мы обсуждали вопрос об учебе актива. И решили... Ты попал в список... Рекомендуем в рабфак на дому...

Он рассказал, что это такое, и сердце мое забилося. Как раз то что надо. Материалы, лекции, задания, консультации. Да, это было как раз то, чего мне недоставало. И я горячо сказал:

— Спасибо, товарищ Симонов! Большое спасибо!

Симонов внимательно осматривал клуб, словно собирался купить его. Несколько раз поднимался на сцену, дважды прошелся за кулисами. Зачем-то согнутым пальцем постучал в стену. И под конец, не скрыв восторга, сказал:

— Здорово, черт возьми! Настоящая победа!.. — И подмигнул прищуренным глазом. — А райкому я все-таки доложил. Малинину высыпали как следует. За то, что посадил тебя.

Мне стало жаль начальника милиции, и я робко заметил:

— А может, это зря? Он же помог нам выиграть время.

— Помочь можно было и по-другому, — возразил Симонов. — Для этого не обязательно было сажать секретаря ячейки. Да еще вместе с классовым врагом. Политическая близорукость. Я бы даже сказал: классовая бесхребетность. И тут ты не перечь. Райком партии сделал правильные выводы.

Потом он принялся расспрашивать о работе ячейки. Расспрашивал подробно, вникал в мелочи. Чем занимались комсомольцы. Как влияли на молодежь? Пожурил за слабый рост.

— Нет, так не годится. Каста получается. И чем скорей вы ликвидируете эту кастовость, тем лучше.

Я не знал, что такое каста. Но спросить постеснялся. И про себя еще раз поблагодарил за рабфак на дому. Вот уж тогда-то я буду грамотным! И тогда не будет этих загадочных слов, которые мешали, как камни на дороге. А Симонов пускай ворчит. Да и упрек был заслуженным. Я не охватывал всего. А как охватишь, если нет знаний? Мало ли приходилось ломать голову над разными вопросами? А ради чего, спрашивается? Чем я лучше или хуже других, что на меня взвалили эту ношу?

— За культуру плохо боретесь, — продолжал Симонов нотацию. — Клуб отвоевали и успокоились. А в клубе пустота. Никаких мероприятий. И никакой культуры вообще. Не обростаете массами.

— Да какие тут массы? — с отчаянием возразил я. — Люди-то все в поле. Как можно обростать в такое время?

— Большевики обростали во всякие времена, — наставительно заметил Симонов. — А нам, комсомольцам, надо брать пример с большевиков...

Слова Симонова удивили меня.

— А мы что ж, не большевики?

— Ну, конечно, нет. Большевики — это коммунисты. Испытанные в революции и гражданской войне. А мы что? Ну, может, большевистские комсомольцы. Да ты не огорчайся, — добавил он, заметив, как поник я. —

Комсомольцы — тоже большое дело. Помощники партии, опора коммунистов. А стало быть, смена большевиков. А пройдет время, и сами будем большевиками. Обязательно будем. Только надо за дело браться поактивнее. И организованность развивать, чтобы быть вожаками молодежи... — И пристально посмотрел на меня. — А кто у вас затеял заваруху с кулаками? Кому первому пришел в голову этот гужналог?..

Показалось, что он все знает. Неудобно было скрываться. И все же я не сказал всей правды. Не хотелось выпячиваться. Мог подумать: цену себе набиваю. И потому я неопределенно повел плечами.

— Кто его знает? Как-то так получилось. Сама по себе заварилась каша. А гужналог... Про него многие гуторили...

Симонов положил мне на плечо широкую ладонь, проникновенно глянул в глаза.

— Не ври, Федя. Мне все известно. Скромность — хорошая вещь. Но от друзей можно не таиться...

На душе стало хорошо. От друзей можно не таиться. Значит, он считает меня своим другом. Он, Николай Симонов, секретарь райкома комсомола. Такой умный и такой чудесный парень!

\*

Пришлось продать почти весь хлеб нового урожая. Оставили только на семена да и на еду до весны.

— Что будет весной, увидим, — сказала мать. — Как-нибудь выкрутимся. А сейчас помощи, боже...

Отчим пересчитал деньги, завязал в тряпочку и повесил себе на шею. Потом расцеловался с матерью, взял в руки палку и отправился в город.

Пять суток ждали мы его. На шестые он появился на карловской улице. Только вместо посоха держал в руке поводок молодой лошади. Это был стригун. А стригунами таких лошадей зовут потому, что в их возрасте принято стричь им хвост и гриву.

Стригун показался справным. Мы по очереди подходили к нему, трогали за холку, гладили шею и грудь. А Нюрка даже поцеловала его в красивую мордочку.

Только мать не подошла к стригуну. Она смотрела на него не отрываясь, и крупные слезы катились по ее щекам. А потом, когда мы отошли от стригуна, сказала с глубоким вздохом:

— Слава тебе господи! Дождались своего праздничка.

Один за другим подходили карловцы. Скоро их набилось чуть ли не полон двор. Они осматривали стригуна, ощупывали его, зачем-то заглядывая в зубы. А дед Редька даже покрутил ему хвост. Этого стригун снести не смог и так лягнул старика, что тот отлетел в сторону.

— Ишь ты, ядрена мать! — проворчал Иван Иванович, вставая и потирая ушибленное место. — Прямо сказать, недотрога. Кубыть, благородных кровей...

А потом мы сидели за столом, ели пшеничную кашу, политую борщом, и слушали отчима. Много пересмотрел он лошадеенок. Долго топтался возле вороного третьяка. Ох, как хотел обратиться к нему! Но не хватило денег. И не хватило-то самую малость. Отчим даже развязал узелок перед хозяином. Дескать, смотри все что есть. Без всякого обмана. Но тот и глазом не повел. Уперся, и ни в какую. Пришлось отступить. И взять этого стригуна. Из остатка денег можно Лапониному часть выплатить. И Нюрке на приданое оставить.

— Ничего, — сказала мать, сияя глазами. — Переживем. На будущий год и наш станет третьяком. Можно поставить в борону. А еще через год и в сохе пойдет...

Слово «соха» резануло слух. Вспомнилась заметка в газете. Заводы ускоренно расширяли выпуск плугов и других сельхозмашин. Но машинами этими легче всего пользоваться в кооперативах. Потом на память пришли слова Симонова о ТОЗах. И я неожиданно для самого себя сказал:

— Лошадь — это хорошо. А только не в ней теперь суть. Наступает время жить по-новому. А по-новому можно жить только коллективно. Вот мы и собираемся организовать артель.

— Это что же, коммуна? — выпрямилась мать. — Коммуну затеваете? Так, что ли-ча?

— Нет, — сказал я, почему-то вспомнив предпасхальную ночь, когда мать выбросила меня из дому. — Не коммуна, а ТОЗ. Значит, товарищество по совместной обработке земли. Будем делать все сообща: пахать, сеять, обрабатывать посевы, убирать урожай, молотить. А хлеб делить поровну. По душам и по труду...

Наступило молчание. Все смотрели на меня, будто видели впервые. Или разглядели во мне что-то новое. Да же Денис и тот раскрыл рот от удивления. Раньше всех опомнилась Нюрка.

— Вот он, вражина! — завывала она. — Не успели на ноги стать, как он уж и разоряет. Да пропади ты пропадом со своим ТОЗом! Не мешай жить, окаянный!..

Властным жестом остановив Нюрку, мать сказала мне:

— Делай как знаешь. А нас не впутывай. Мы желаем жить сами по себе. И ни в какую артель не подадимся. Запомни это...

Она перекрестилась перед иконой и ушла на кухню. Выбежала из хаты и разъяренная Нюрка. А отчим покачал головой и назидательно заметил:

— Неподходящий момент выбрал. Совсем неподходящий...

Теперь я и сам думал об этом. И как это сорвалось с языка! Да разве ж в эту минуту они способны были понять что-либо? Стригун затмил перед ними весь мир. Они ничего больше теперь не видели перед своими глазами.

\*

Всю эту неделю мы ходили по дворам, переписывали неграмотных и разглагольствовали о пользе образования, хотя сами были необразованными. Списки получились длинными, но охотников подружиться с ликбезом нашлось не так уж много. Отговорка была одна и та же: все станем учеными — некому будет землю пахать.

Неудача обескуражила нас. Мы сидели на сцене вокруг стола, на котором лежали списки, и уныло сопели. Не так-то просто, оказывается, проводить культпоход.

— А я знаю, в чем тут дело, — среди общего молчания заявил Илюшка Цыганков. — Просто-напросто нам не доверяют. А не доверяют потому, что некоторые из нас начинают обогащаться.

— Как это обогащаться? — спросил Сережка Клоков. — Что ты хочешь сказать?

— А то, что слышишь, — отозвался Илюшка, состроив насмешливую гримасу. — Некоторые из нас обогащаются и подрывают доверие... — И метнул на меня недружелюбный взгляд. — Вот возьмем Хвиляку... — Так называли меня, когда хотели обидеть. — Кто он теперь, наш секретарь? Лошадник. А стало быть, середняк.

— Тоже мне лошадник! — возразил Володька Бардин. — Да что это за лошадь! Какой-то стригун!

— А стригун — это что, баран? — огрызнулся Илюшка. — Сейчас стригун, завтра — третьяк, а послезавтра — лошадь. И нате вам, обогащение. Частный капитализм. Потому и недоверие. Да и как доверять, ежели у нас самих разложение!

— И что же ты предлагаешь? — спросил Гришка Орчиков. — Какой видишь выход?

— Выход у нас один, — ответил Илюшка. — Хвиляку надо снять. А секретарем поставить другого. А он пускай походит рядовым. Средняки не должны быть руководителями...

Выпад был неожиданным. Я слушал Илюшку и ничего не понимал. Откуда эта злость? Не так давно мы договорились. Я извинился перед ним. И он взял назад заявление. А теперь вот опять бунтует.

— Что-то ты смешал все в кучу, Илюха, — рассердился Володька Бардин. — Не разберешь, где бузина, а где малина. Стригун и неграмотность.

— И насчет обогащения загнул, — добавил Сережка Клоков. — Подумаешь, обогащение! Да разве такой факт может повлиять на сознание?

— Может, — запальчиво подтвердил Илюшка. — Еще как! Он же, Хвиляка, теперь будет думать не об ячейке, а о своем частном хозяйстве.

— Почем ты знаешь, о чем я буду думать? — не выдержал я. — В мозгах моих, что ли, ночевал?

Но раньше чем ответил Илюшка, голос подала Маша:

— А как ты сам расцениваешь этот факт?

— Какой именно? — спросил я.

— Да покупку лошади. Как ты к этому относишься? Не тревожит тебя, что семья становится на буржуазный путь?

Захотелось отчитать Машу. Глупый вопрос. Где она увидела буржуазный путь? Но я все же сдержался. Глупость не по умыслу, а по недомыслию. Чепуху, нес и Илюшка, подогреваемый обидой на меня. Надо было развеять сомнения, рождавшиеся у других ребят. И я решительно заявил:

— К факту этому я отношусь так. Стригуна купили родители. Помешать им я не мог. Но путь ихний не разделяю. У меня своя дорога. И я, несмотря ни на что, пойду этой дорогой.

— А куда ведет твоя дорога? — спросила Маша, глядя на меня горящими глазами.

— Туда же, куда ведет дорога комсомола и партии.

— Все ясно, — подытожил Володя Бардин, словно был председателем. — Будем решать.

— Предлагаю такое решение, — сказал Илюшка Цыганков. — Хвиляку с секретарей снять. Как середняка и соглашателя с отсталыми родителями. Секретарем обратно поставить Прошку.

Володька ударил ладонями по столу и сказал:

— Я против такого решения!

— Я тоже против! — подхватил Сережка Клоков.

— И я против! — заявил Гришка Орчиков.

— И я! — подхватил Андрюшка Лисицин. — Не за что снимать...

Ребята посмотрели на Прошку Архипова. Он покраснел и опустил глаза.

— Я тоже против, — выдавил он. — Хвиля работает на совесть. А стригун... Он же не его лично.

Оставалась Маша Чумакова. Некоторое время она глядела на меня в упор. Потом отвела глаза и сказала:

— Я тоже против такого решения.

— Все в порядке! — радостно воскликнул Володя Бардин. — Илюхино предложение отклоняется. Хвиля остается секретарем. И пускай секретарствует на здоровье ячейки.

Сдерживая волнение, я пододвинул списки неграмотных и предложил заняться делом.

\*

С Машей мы больше наедине не встречались. Почему-то она избегала меня, редко смотрела в глаза и всегда торопилась. Впрочем, торопиться ей и в самом деле надо было. Маша вела драмкружок и всю себя отдавала ему. А он требовал немало труда и времени. Пришлось несколько раз сходить в райцентр и побывать там на спектаклях в народоме. Много времени отнимали репетиции и отдельные занятия с кружковцами.

Но не только по делам торопилась от меня Маша. Как бы ни занят был человек, для души всегда найдет минуту. А душа-то, как догадывался я, и побуждала Машу избегать меня. Но и я не искал встреч с ней. И меня останавливала какая-то душевная смута.

Однажды я обнаружил в кармане записку. На клочке бумаг аккуратными буквами было написано:

Сердце жаждет встречи с тобой.  
Жарко стонет душа в груди.  
На тебя я взираю с мольбой.  
Приходи ко мне, друг, приходи...

Я несколько раз прочитал записку. Потом достал из шкафчика голубой томик, перелистал его. Нет, у Есенина нет таких строк. Их сочинила сама

Маша. Сочинила и подложила мне. А зачем? Я еще раз прочитал стих. Как-то странно застучало сердце, словно заторопилось куда-то. И в ту же минуту заговорило сознание. Подумать только! Комсомолка — и такие стихи! «Сердце жаждет...», «Жарко стонет душа...», «Взираю с мольбой...» Настоящее мещанство. Сочини такое Клавка Комарова, куда ни шло. А то Маша. Батрачка. Можно сказать, пролетарка. И вдруг такие слова. Все равно если бы надела серьги и кольца.

И все же было как-то непонятно. Будто в моей душе находились двое. И они, эти двое, непримиримо спорили между собой. Что один принимал, другой отвергал. А спор пронизывали трепетные слова:

Приходи ко мне, друг, приходи...

Наконец, призвав к порядку в себе того и другого, я взял карандаш и принялся поправлять сочинение. Заменял буржуйские слова на обычные, и стихотворение вышло таким:

Сердцу хочется встречи с тобой.  
Жарко бьется оно в груди.  
На тебя я гляжу с мольбой.  
Приходи, милый друг, приходи...

Теперь стих понравился мне. Вылетела душа. На четыре строчки хватит и одного сердца. Выброшены высокопарные слова. А последняя строчка зазвучала просто, по-дружески. И только с мольбой не удалось сладить. Не нашлось подходящего слова, чтобы осталась рифма. Но это не беспокоило меня. Одно слово — на четыре строчки. Ничего.

Мы встретились на другой день в клубе. Я отвел Машу в сторонку. Она смотрела на меня с мольбой, и я решил, что это слово было главным в стихотворной записке. Захотелось как-нибудь приголубить ее. Но я смущенно покашлял и сказал:

— Маша, я получил твою записку. Прочитал с большим удовольствием. Но...

При этом слове она вся сжалась. Стало совсем жалко ее. И я продолжал еще мягче:

— Но понимаешь, Машенька... В стихотворении много таких слов... — Я достал бумажку, развернул ее. — Таких слов, какие не к лицу

нам. Вот я и поправил. Прочти и скажи, как получилось...

Не прочитав, Маша скомкала бумажку, подняла кулак, словно собиралась ударить меня, и сказала с горечью:

— Какой же ты!..

И торопливо пошла к сцене, где ждали кружковцы. А я стоял на месте и смотрел ей вслед. И растерянно думал над ее словами. Какой же я... Дурак, что ли?

\*

Сережка Клоков нарисовал две огромные афиши. Одну повесили на здании сельсовета, другую — на дверях клуба. Революционная драма в трех актах. Кроме того, слух о предстоящем спектакле распустили по всей Знаменке. И к воскресенью в селе не было человека, который не знал бы о затее новоявленных артистов.

Вход в клуб, конечно, бесплатный. Но в дверях мы все же поставили Гришу Орчикова, не занятого в представлении. Чтобы наблюдал и регулировал. И не допускал скопления зрителей у входа.

И вот наступил час. А клуб оставался пустым. Явились предсельсовета Лобачев, предселькресткома Родин, инспектор милиции Музюлев, около десятка активистов. Они расселись в разных местах на скамейках. И клуб от этого стал еще более огромным и пустым.

Мы были обескуражены. И долго спорили, играть или нет. Наконец все же решились. И играли, как настоящие артисты, которых никто из нас никогда не видел. Особенно хорошо держалась Маша. Она исполняла главную роль. И то натурально смеялась, то неподдельно плакала. И смотрела на меня, возлюбленного по пьесе, с мольбой в глазах. А Илюшку Цыганкова, коварного злодея, ненавидела и так жгла взглядом, что он и вправду терялся.

В самой середине спектакля, когда страсти на сцене накалились до предела, вдруг раздался набат. Клуб был рядом с церковью, и медный колокол заглушил все на свете. Немногочисленные зрители, как по команде, ринулись из клуба.

Мы тоже бросились на улицу. Ночь стояла темная, но звездная. Лишь на востоке светлела полоска. Что это? Пожар? В селе Роговатом? Но тогда почему наш колокол надрывался как оглашенный?

Илюшка и я бросились к церкви и по крутой лестнице — на колокольню. Под колоколом различили пономаря Лукьяна. Широко

расставив ноги, он яростно бросал стальной «язык» на медные края. Гул от ударов казался таким густым и плотным, что его можно было потрогать руками.

Мы оттащили Лукьяна от колокола. Опомившись, он отшвырнул нас и опять схватился за «язык». И снова медный гул заполнил все кругом.

Мы не знали, что делать. Но вот Илюшка, пригнувшись, ударил пономаря под ноги. Словно подкошенный тот рухнул на пол. Мы навалились на него всей тяжестью. Илюшка грозно крикнул в наступившей тишине:

— Лежи смирно, косой черт! Не то сбросим с колокольни!..

Но «косой черт» не хотел лежать смирно. Перевернувшись лицом вниз, он приподнялся на карачки, как бык. Мы чувалами лежали на его широкой спине. Так продолжалось несколько секунд. Но вот Лукьян приподнялся на ноги и понес нас, висевших у него на плечах, к окну.

— Я скорей сброшу вас, пакостные твари!..

Мы разом отцепились и отскочили назад. Но Лукьян все же успел схватить нас за грудки и, притянув к себе, обдал пьяным перегаром.

— Вот я вас, нехристи!..

Грозный окрик остановил его. Перед нами стоял Лобачев, председатель сельсовета. Выпущенные Лукьяном, мы отпрянули в сторону.

— По какому случаю набат?

Лукьян пофыркал, будто все еще чувствуя на плечах тяжесть, и глухо сказал:

— Вона пожар. Аль не видишь?

— Никакого пожара, — сказал Лобачев. — Месяц встает.

— Ничего не знаю, — прохрипел пономарь. — Сказано, пожар, значит, пожар. Не сам звоню, по приказу.

— Кто приказал?

— Известно кто. Староста Комаров. Больше никого не признаю.

— Ясно, — сказал Лобачев. — Решили сорвать спектакль и выдумали пожар. Так?

— Ничего не знаю, — упрямо повторил Лукьян. — И требую: вон с колокольни! Неча тут делать антихристам...

Он снова схватился за тяжелый «язык» и принялся бить им по краям колокола. Через окна могучий гул опять хлынул во все стороны. Мы схватили пономаря и потащили от колокола. Он выпустил канат «языка» и принялся отбиваться с еще большей яростью. Но теперь силы были на нашей стороне. Втроем мы крепко держали его.

— Захотел в тюрьму? — спросил Лобачев, когда Лукьян, поняв

бесцельность сопротивления, опустил руки. — Так я устрою тебе путевку.

— Мне все одно, что тюрьма, что церква, — прохрипел пономарь. — А може, в тюрьме даже лучше...

Явился Максим Музюлев, блеснув в полутьме начищенной кокардой.

— Что за паника? — грозно спросил он. — По какой причине звон?.. — И когда узнал, в чем дело, приказал пономарю: — А ну, марш вперед! Посидишь в холодной до утра. А утром я устрою тебе такой пожар, что всю жизнь жарко будет...

Лукьян сразу присмирел и послушно двинулся вниз. Мы сошли следом. У паперти услышали многоголосый гул. Разбуженная набатом, большая толпа сгрудилась в ограде.

Лобачев призвал к порядку шумевших знаменцев:

— Ложная тревога, граждане! Можно расходиться по домам!

— Зачем же расходиться? — крикнул я. — Пожалуйста, к нам в клуб! На революционную драму!..

Сдавленная темнотой толпа задвигалась, загудела. Послышался смех, шутки.

— А что, ребята? Давай в клуб!

— Неча там делать, в клубе! Айда домой!

— Вали на драму, граждане! Глазнем, что и как!..

И повалили. За несколько минут клуб набился до отказа. Не осталось ни одного свободного места. Заняты были все подоконники. Многие теснились позади, за последними скамьями.

Мы начали сначала. Играли с подъемом. Не раз зрители заглушали нас топотом, криком, хлопаньем в ладони. Принимая происходящее на сцене за правду, они то возмущались, то неподдельно переживали, то искренне радовались. И во всех случаях отзывались на события.

Однажды, когда я спорил с Илюшкой, доказывая, что он поступил подло, из зала раздался негодующий возглас:

— Да ты дай ему, дай в зубы! Что смотришь на гада?..

Боясь, чтобы зрители не разошлись, мы играли без перерыва. Но никто и не думал расходиться. И лишь когда спектакль кончился и Гришка Орчиков задернул занавес, все поднялись и в каком-то благоговейном молчании двинулись к выходу.

\*

Почти каждый день над горизонтом показывались облака. Низкие,

темные, они скапливались в тучи. Но, постояв в нерешимости, снова заваливались на край земли. И небо снова затягивалось белесой пленкой.

Чахла, умирала от жажды молодая озимь. И богомольцы стали теревить отца Сидора:

— Поднимай, батюшка, иконы и хоругви!

— Веди паству на хлеба крестным ходом!

Однако отец Сидор отнекивался. Он советовал побольше молиться дома, не забывать церковь по праздникам и не скупиться на алтарь божий. Пока не окрепнет вера в сердцах, молитва в поле не услышится богом.

Внезапно по селу пополз слух. Неспроста дождь обходит стороной Знаменку. Заколдована она. Гонит тучи прочь нечистая сила. А кроется эта нечистая сила в образе старой Анисьи. Пуще огня боится ведьма воды. И потому не подпускает дождь к посевам. А стоит окунуть старуху в воду, как колдовство утратит силу. И небо ниспошлет свою благость.

Полдюжины приземистых, подслеповатых хатенок ютятся на берегу комаровского пруда. Не хутор, а выселки. Даже не выселки, а просто дворики. Угрюмые, захолустные, в стороне от дороги, у черта на куличках. Вот в этих-то двориках и проживала столетняя бабка Анисья. Проживала тихо, мирно, никому не мешая, не причиняя зла. Но про нее болтали, что знает она с чертями. И часто сама оборачивается ведьмой. Старуха ничего этого не слышала. Она была глухой. Ребятишки дразнили ее, корчась перед ней, когда она грелась на солнышке. А бабка ничего не замечала. Она была и слепой. И все же, глухая и слепая, она дожила бы свой век, не случись засуха.

Однажды на хуторок явились богомольцы. Зашли в хату Анисьи и предложили внукам искупать бабку. Те, конечно, заартачились. Старая, больная — не выдержит. Но богомольцы стояли на своем. Ничего с ведьмой не станется. Искупать без проволочек. Пока хлеба еще не погибли. А если внуки не внимут призыву, люди сами сделают что надо. Они не потерпят вреда.

И вот на другой день внуки подняли с лежанки бабку и понесли к пруду. Ничего не подозревая, та спокойно лежала у них на руках. А когда они опустили ее в воду, издала нечеловеческий вопль. Чтобы заглушить его, внуки окунули бабку с головой. А когда подняли ее, она была мертвой. Старое сердце разорвалось от страха.

Весть о смерти бабки Анисьи в тот же день разнеслась по селу. И в тот же день распространилась и другая новость. Теперь, когда не стало колдовской помехи, отец Сидор согласился отслужить молебен в поле. И надежда заглушила совесть. Может, и впрямь смерть пойдет на благо?

Дождь лил как из ведра. Крупный и теплый, он казался летним, хотя на пороге была осень. И, как летом, сверкала молния. Гулкие раскаты грома сотрясали землю.

Мы сидели дома. Не было только Дениса. Я отправил его с крестным ходом. И наказал все хорошенько запомнить. Теперь, прислушиваясь к грозе, я ждал его. Что-то братишка расскажет?

— Интересно, что теперь будет делать комса? — внезапно спросила Нюрка, отложив недовышитый холст.

Я пропустил мимо ушей обидное слово и безразлично ответил:

— Что надо, то и будет делать. Тебе-то что?

— Как же? — растянула губы Нюрка. — Дождь-то вон какой! А с чего? Искупали колдунью, молебен отслужили — и полил. Как же можно после того балабонить, что бога нет?

Я ничего не ответил. Спорить с сестрой — что головой биться об стену. Нюрка усмехнулась и опять взялась за вышивку. А по улице, крича и смеясь, то и дело пробегали карловцы. Они выглядели выкупанными, но счастливыми. Должно быть, тоже верили в чудо.

Перед окнами промелькнула знакомая фигура. Дениска! Наконец-то! Я нетерпеливо уставился на дверь. Через минуту она распахнулась, и перед нами предстал совсем мокрый Денис.

— Батюшки! — всплеснула руками мать. — Как из речки! Не дождь, а ливень. — Она достала из сундука холщовые штаны, рубаху и подала Денису. — Поди переоденься.

Я нашел брата в комнате, служившей кладовой. Сбросив одежонку, он вытирался рушником. Меня встретил загадочной улыбкой.

— У-у-у, что было! Как в сказке! Если бы ты видел!

Переодевшись, он рассказал обо всем. Мужики вынесли из церкви иконы и шитые золотом хоругви. Сопровождаемая певчими толпа двинулась по улице, увеличиваясь с каждой минутой. Тревожно загремели колокола. Взбудораженная пыль облаком поднялась над селом.

Когда перешли мост через Потудань, народу было видимо-невидимо. Чуть ли не на версту тянулось шествие. Мужики шли, держа картузы в руках. Бабы прижимали к груди голопузую ребятню. У всех был благоговейный вид, будто народ переселялся в рай.

Остановились далеко в степи, где от жажды сохли зелены. Рядком выстроили хоругви и иконы. Подъехал Комаров на своем жеребце. Из

тарантаса вместе с церковным старостой вылезли отец Сидор и пономарь Лукьян. И началось богослужение. Поп воздевал руки к небу, гнусавил непонятные слова. Хмурым басом ему вторил косоглазый пономарь. Жалобно тянул церковный хор. А люди истово крестились, шевеля потрескавшимися губами. Они исступленно просили милости. И милость не замедлила явиться. С востока, куда были обращены взоры молящихся, внезапно потянуло прохладой. А потом там показались облака. Они двигались быстро и прямо на толпу. И скоро сгрудились в темную тучу. Увидев ее, отец Сидор торопливо покропил посе́вы водой, привезенной из села, и вместе с Комаровым и Лукьяном укатил домой. Но люди оставались в поле. Они жадно глядели на восток, откуда ползли тучи. Неужели бог услышал молитву?

Сверкнула молния, где-то прокатился гром. С неба, затянутого облаками, сорвались первые капли. Крупные, тяжелые, они пробились сквозь пыльную завесу и упали на сухую землю.

— До-ож-ди-ик! — взмыл над толпой мальчишеский голос. — Гля-ди-ит-ка, до-ож-ди-ик!

— До-ож-ди-ик! — восторженным эхом отозвалось со всех сторон. — До-ож-ди-ик!

Словно услышав призыв людей, дождь вдруг полил, прибывая пыль. И тогда толпа, отчаянно ликуя, бросилась назад. Мужики тащили намокшие и отяжелевшие иконы и хоругви, женщины прижимали к груди ревивших в страхе малышей. А дождь все припускал. И гром все чаще и чаще бил вслед бегущим...

Закончив рассказ, Денис пытливо посмотрел на меня и спросил:

— Отчего это, Хвиля? Неужели из-за бабки Анисьи и молебна?

Так же вот теперь спрашивали и другие. Спрашивали и не находили ответа. Не было его и у меня. А потому я признался брату:

— Не знаю. Не верю, но и не знаю...

\*

Мы сидели в клубе вокруг стола и молчали. Все догадки были отвергнуты, и тайна оставалась неразгаданной. Конечно, мы тоже радовались дождю. Осимь спасена, и люди будут с хлебом. Но в душе гнездилась и тревога. Как церковники узнали о приближении грозы? За кем пойдут теперь колеблющиеся?

Неожиданно в клуб вошла Клавдия Комарова. Вошла как-то робко и

остановилась у порога.

— Можно к вам?

Мы молча смотрели на нее. Она приблизилась, виновато улыбнулась.

— Извините, я по делу. — И повернулась ко мне. — С тобой поговорить, Филя. По секрету.

Я смутился и предложил.

— Говори тут. От ячейки секретов не держу.

Клавдия подумала и сказала:

— Хорошо. Слушайте все. Только не выдавайте меня. Все это не случайно, а подстроено. Я говорю про дождь. Недавно отец мой достал в городе барометр. Это такой прибор, который предсказывает погоду. Вот они и ждали, когда барометр покажет на дождь. А когда он показал, распустили слух об Анисье. И согласились на крестный ход, когда ее не стало.

Новость ошеломила нас. Мы пялили глаза на Клавдию, не зная, верить или нет. Она же, заметив наше замешательство, подтвердила:

— Я говорю правду. Барометр предсказал. А бабка Анисья и молебен ни при чем.

Володька Бардин попросил рассказать об устройстве диковинного прибора. Клавдия взяла на столе тетрадь и карандаш. Быстро нарисовала круг. Разделила его на части. В каждой части написала слова. В центре круга начертила стрелку. Коротко объяснила, как и почему стрелка показывает то на «ясно», то на «бурю», то на «дождь».

— Ладно, — сказал Прошка Архипов. — Но почему ты пришла к нам?

Клавдия опустила глаза и вздохнула.

— Я видела, как топили старуху. Я была в лодке и все видела. Это ужасно. Крик ее до сих пор стоит у меня в ушах. Вот я и пришла. Надо раскрыть людям глаза.

— Где находится этот барометр? — спросил Илюшка Цыганков.

— Все время висел у нас. Потом отец передал его батюшке. А тот отнес в церковь и повесил в алтаре. Они решили, что так будет безопаснее.

— И что же ты хочешь от нас? — спросила Маша Чумакова, сверля Клавдию неприязненным взглядом.

— Я хочу... — замялась Клавдия. — Надо его взять, этот барометр. И показать людям. Пускай узнают правду.

— Так, — сказал Прошка Архипов. — Ты хочешь, чтобы мы украли барометр?

— Я советую взять его, — сказала Клавдия. — И раскрыть обман. Ради этого можно решиться.

— Нет, — возразил Прошка. — Даже ради этого мы не можем

решиться на воровство. Обманом бороться с обманом не наша линия.

— Как же тогда быть?

— А так, — сказал я. — Хочешь помочь раскрыть обман, принеси этот прибор.

Глаза Клавдии округлились.

— Значит, я должна украсть его?

— Мы не знаем, что ты должна, — заключил Прошка Архипов. — И не желаем ничего знать. Принесешь барометр, тогда поверим.

Клавдия подумала и сказала:

— Нет, этого я не могу.

— Тогда нечего терять время, — сказал я. — Можешь идти. До свидания.

Клавдия покраснела, будто ее ударили, медленно повернулась и вышла. А мы сразу же загалдели, заспорили, перебивая друг друга. Барометр! Вот она где, собака, зарыта!

\*

В поповском особняке ярко горел свет. За кисейными занавесками передвигались люди. На улицу просачивалась музыка. Граммофон играл какую-то непостижимую песенку. Казалось, это завывает сука, потерявшая щенят.

Я невольно замедлил шаг. Хотелось увидеть отца Сидора. И по лицу угадать его настроение. Как может чувствовать себя человек, отправивший ни в чем не повинную душу на тот свет? И желание мое сбылось. В среднем окне я заметил батюшку. Заросшее волосами лицо его улыбалось. Вот он поднес ко рту стакан и, словно ударив себя в зубы, запрокинул голову. Нет, поп ни в чем не раскаивался. Он торжествовал победу.

А как ловко они обтяпали это дело! Барометр! Что ж это за штука такая, барометр? И как он предсказывает погоду? До сих пор ее угадывали по приметам. Ласточки летят над землей — быть дождю. Небо пылает перед заходом солнца — дуть ветру. У стариков к ненастью ломают кости. А к жаре раскаливается голова. Уши закладывает к метели. Чох нападает к суховею. А сосед наш Иван Иванович так тот погоду угадывал по пяткам. К засухе они чесались у него, к ростепели — ныли, будто отбитые палкой. Но все это ненадежно. Ни народные приметы, ни пятки деда Редьки не предсказали последнего дождя. А вот барометр... Выходит, он надежнее людских примет.

Размышляя так, я очутился на пригорке. С него видна была мельница. Я пошел кружным путем потому, что на болоте за Молодящим мостом еще стояла непроходимая грязь. На высокой же гребле уже было сухо, и я быстро двинулся под горку.

Дорога проходила невдалеке от комаровской усадьбы. Внезапно от забора отделилась темная фигура и направилась ко мне. Это была Клавдия. Мы остановились друг против друга.

— Я караулила тебя, — призналась дочь мельника. — Почти весь вечер не отходила от калитки.

— А почему знала, что я пойду тут?

— Там грязно. А потом... Не верилось, что оставишь это дело. И не захочешь повидаться.

Я не знал, как продолжать разговор, и спросил первое, что пришло на ум:

— А родители случаем не заподозрили?

— Они еще засветло ушли к бабушке. У него сегодня именины. А я отвертелась, чтобы встретиться с тобой. Ты сказал, чтобы я сама принесла барометр. Хорошо, я согласна. Только помоги взять его. Пойдем со мной в церковь.

— С тобой в церковь?

— Да. Я возьму его. И передам тебе. А ты будешь за провожатого. Больше ничего. Понимаешь, какое дело, — перешла она на полусшепот. — Ключи от церкви отец носит вместе с ключами от мельницы. Утром, когда уходит, забирает с собой. А вечером, когда ложится спать, вешает на стене. Взять их можно только ночью. А стало быть, и в церковь можно попасть только ночью. Да днем это и труднее сделать. Могут увидеть и помешать. А в ночное время... Или ты боишься?

Она приблизила глаза к моему лицу. Показалось, что даже поднялась на носки. Но я не отступил и нарочито беспечно сказал:

— Когда в поход?

— Завтра. Придешь сюда часам к одиннадцати.

— У меня нет часов.

Клавдия сняла с руки свои и подала мне.

— Часовая стрелка короче минутной. Поймешь?

— Да уж как-нибудь... — И сунул часы в карман. — К одиннадцати жди. А пока...

Клавдия дотронулась до моей руки, словно собираясь взять меня под руку.

— Я пройду с тобой. Дома одной сидеть не хочется.

Мы пошли медленно, нога в ногу. Клавдия держалась за кончики полушалка, лежавшего у нее на плечах. Шум мельницы нарастал с каждым шагом. Он мешал говорить. И это было кстати. Ничего хорошего не приходило в голову. А болтать глупости с чуждым элементом язык не поворачивался.

Так молча прошли мы по мостику, под которым лежали деревянные лотки. По лоткам двигалась вода, с шумом падавшая на колеса. На верху мельницы горел фонарь, и видны были суетившиеся люди. Они загружали бункера зерном.

— Поздновато работают.

— Подвоз большой после урожая. За день не управятся.

Теперь мы шли по гребле. Справа она обрывалась и круто уходила в низину, поросшую ольшаником. Слева огораживала пруд, покрытый кугой и кувшинками. Я думал над словами Клавдии. Да, подвоз после урожая велик. И хорошо, что на мельнице нет затора. Но трудились-то там батраки. Эксплуатация!

Мы медленно двигались по гребле. Теперь шум мельницы с каждой минутой отдалялся. Уже можно было расслышать шелест верб, тянувшихся по бокам насыпи. Пробивался сквозь него и лай собак на хуторке за прудом. Я спросил Клавдию, чего это она дома околачивается.

— Ты же собиралась в университет?

Клавдия вздохнула и не сразу ответила:

— Собиралась, да не собралась.

— На экзаменах завалилась?

— Экзамены сдала не хуже других. А не прошла по социальному составу. Отец — собственник. — На большом мосту она остановилась. — Давай постоим. Вечер уж больно хороший!

Мы подошли к перилам, оперлись на них и уставились на воду. Здесь, на стрежне, она была чистой и прозрачной. И небо отражалось в ней как в зеркале. Оно походило на серебряный колокол, опрокинутый вниз.

— А ключи от этих заставней отец держит вместе с церковными?

— О да! — воскликнула Клавдия. — За этот мост он дрожит больше, чем за церковь. Боятся, как бы кто не спустил воду. Месяц целый пруд будет набираться. А мельница будет стоять. Убыток.

Я подумал о Комарове и спросил:

— А какая у него, твоего отца, перспектива?

Клавдия быстро обернулась ко мне, и я заметил в ее глазах блеск.

— Перспектива? — переспросила она, словно проверяя, не ослышалась ли. — Он все надеется... Пройдет еще немного, и вы,

большевики, прогорите. И тогда-то уж...

— Понятно, — перебил я, довольный, что и меня она причислила к большевикам. — Тогда-то уж он развернется. И в короткий срок станет капиталистом.

— Не знаю, в какой срок он станет капиталистом, — равнодушно отозвалась Клавдия. — И вообще станет ли? А только меня это ничуть не интересует. Я бы хотела... А лучше не будем об этом. — И, помолчав, спросила: — Подвела я тебя с Есениным-то? Ну, что подарила на глазах ребят? Допытывались, отчего и почему?

— И не подумали, — соврал я. — Даже обрадовались книжке. И сразу же принялись читать.

— Глупо как-то получилось. С великими голодранцами — тоже. И дернуло же меня брякнуть. Я понимаю, ты сказал так, чтобы дать мне отпор. Но я-то почему повторила? Растерялась, что ли? И получилась нелепица. Голодранцы, да еще великие. Чушь какая-то.

— А нам нравится, — сказал я. — И мы частенько величаем себя так.

Клавдия опять шумно вздохнула.

— Вам хорошо. У вас ячейка. Вместе работаете, спорите. И можете позволить себе даже несуразность. А вот когда одна... — И, подумав, добавила: — Ужасная вещь — одиночество. Бывает, что и жить не хочется. — Она оттолкнулась от перила и протянула мне руку. — Пора домой. Завтра в одиннадцать. Буду ждать.

Я постоял, пока она скрылась в сгустившейся темноте, и зашагал своей дорогой. Завтра в одиннадцать. Вспомнились ее часы. Я достал их и поднес к уху. Они тикали весело, отсчитывая неудержимое время.

\*

На другой день в одиннадцать вечера я был у Комаровского дома. Погруженный в темень, он еле проступал на сером фоне неба. Мельница уже не работала, и кругом царила тишина. Я прошел мимо и с тревогой подумал, уж не забыла ли Клавдия. Но в ту же минуту услышал позади себя частые шаги. Конечно, это была она. Захотелось подождать ее. Но я продолжал идти. Чего доброго, подумает, что обрадовался.

Догнав меня, Клавдия схватилась за мое плечо и перевела дыхание.

— Гонись как на пожар. Нарочно, что ли?

В темноте трудно было узнать ее. Какой-то пиджак, юбка, по-деревенски повязанный платок. Обыкновенная девка.

— Вот ключи, — сказала она. — Возьми.

Я сделал вид, что не заметил ее руки.

— Держи при себе. Откроешь сама. Я провожатый.

Она спрятала ключи и сказала:

— Прямо вельможи. Преподнеси на блюдечке.

Но злости в голосе не чувствовалось. Я вспомнил о часах, достал их и подал ей.

— На. Больше не нужны.

Она взяла. Но на руку не надела, а спрятала в карман. Несколько минут шли молча. Клавдия ждала, когда я заговорю. А мне не о чем было говорить. Все же молчать было неприлично, и я спросил:

— А отец не хватится?

Клавдия рассмеялась, точно обрадовавшись.

— Где ему! Напился, как сапожник. И спит как убитый.

— Опять у кого-либо гостевал?

— Сам принимал гостей. Лапонины нагрянули. Петр Фомич с женой и сыном Михаилом. А родители мои и рады стараться. Такой пир закатили...

И оборвала себя. Спроси, мол, зачем гости, по какому случаю пир, тогда скажу. Но я не спрашивал. Какое мне дело до них? Пускай гостятся и пируются сколько влезет. Это задело Клавдию.

— А ты всегда такой?

— Какой?

— Бирюк?

Захотелось тем же ответить ей, и я, в свою очередь, спросил:

— А ты всегда такая?

— Какая?

— Сорока?

Клавдия фыркнула и замолчала. Мне стало досадно на себя. Она старалась ради нас. И можно было не обижать ее.

Уже возле церкви я обнаружил, что забыл спички.

— А огня-то у нас нет?

— Я захватила свечу, — сказала Клавдия. — И зажигалку.

За оградой было тихо и темно. Оба креста на высоких колокольнях терялись где-то в тучах. Мы подкрались к боковой двери. Клавдия опять протянула мне ключи. Но я и на этот раз остановил ее:

— Сама открывай.

Она долго не могла попасть в замочную скважину. Может, не тот ключ взяла? Или руки тряслись от страха? Но вот в тишине щелкнуло, и железная дверь с лязгом подалась внутрь. Клавдия вошла первой. Я

последовал за ней. Темень в церкви показалась непроницаемой. И такой плотной, что о нее можно было разбиться. Клавдия отчего-то вздрогнула и прижалась ко мне.

— Боюсь.

Я тихонько подтолкнул ее.

— Пошли.

Мы сделали несколько шагов. И разом остановились. Что-то с шумом пронеслось над нами. Колени мои подломились, и я чуть было не присел. Стоило большого труда удержать себя на месте. А надо было не только самому держаться, но и поддерживать ее. Вон как она трясется! Будто злые духи уже вселились в нее.

Опять что-то прошуршало над головой.

— Господи! — прошептала Клавдия. — Не могу.

Я сжал ее за плечи.

— Идем.

Неслышно ступая, мы сделали еще несколько шагов. И снова остановились как вкопанные. В огромной церкви, наполненной темнотой, то там, то сям возникал и исчезал какой-то шум. Казалось, это святые, сойдя с икон, забавлялись чем-то. Или ожившие амуры на своих крыльшках порхали по воздуху? Вспомнилась одна книга, и холод волной прокатился по телу. Вий! Он вдруг возник перед глазами — страшный, уродливый, с тяжелыми веками. Вот сейчас он протянет железную руку и громко объявит: «Да вот же они!»

Опять над головой раздался шум. Что-то пронеслось совсем близко. В лицо повеяло ветром. Да это же летучая мышь! Но как очутилась она в церкви? Может, залетела через пролом в стеклянном куполе?

— Не бойся, — сказал я Клавдии. — Это летучие мыши. Видать, живут где-то тут.

Я попросил у нее свечку. Клавдия чиркнула зажигалкой. Огонек вспыхнул весело, оттеснил темноту. Я зажал свечку в ладонях и двинулся вперед. Клавдия следовала за мной. И так близко, что я чувствовал у себя на шее ее дыхание.

С иконостаса на нас злобно взирали святые. Выстроившись в ряд, они казались стражами. Так и чудилось, вот сейчас они пустят в нас отравленные стрелы. Или пронзят наши сердца копьями.

А вот и царские врата. В тусклом свете они сверкают позолотой. Я приближаюсь к ним и раскрываю створки. И жду, ни жив ни мертв. Сейчас оттуда грянет голос, как громом, сразит нас. Но тишина царит и за вратами. И я знаком подзываю Клавдию. Она неслышно приближается, берет меня

за руку. Мы входим в алтарь — святая святых церкви.

— Где он тут, барометр?

— Не знаю, — шепчет Клавдия. — Где-нибудь на стене.

Осматриваем алтарь. Квадратная комната. Стены сплошь увешаны иконами. Полукруглое окно забрано решеткой. Посреди комнаты — стол, до полу покрытый золотой парчой. На столе — плащаница с гробом господним. Это ее в страстную неделю выносят из алтаря и ставят посреди церкви. С задней стороны парча откинута. Под столом видны тюфяк и подушка. У изголовья — целая батарея пустых бутылок. Должно быть, на ложе этом отдыхает после трудов праведных пономарь Лукьян. Но где же барометр? Я еще раз осматриваю стены, стол с плащаницей. Барометра нигде нет. Куда же он девался?

Клавдия смотрит перед собой большими испуганными глазами.

— Должен быть тут. Своими ушами слышала.

Уже не осторожничая, я в третий раз обошел алтарь. И осмотрел все, что можно было осмотреть.

Даже под грязный тюфяк заглянул. Барометра нигде не было. Может, Клавдия обманула? И может, вот сейчас нагрянут служители бога, чтобы схватить вора? А потом выставить его на всеобщее посмешище?

Подняв свечу, я снова осмотрел комнату. Со стен насмешливо глядели на меня святые угодники. Они словно потешались над моей неудачей. Раздосадованный, я погасил огонь. Клавдия схватилась за меня, точно боясь, как бы я не растворился в темноте.

— Зачем потушил?

— Могут заметить.

— Что ж теперь делать?

— Сейчас подумаем.

Нет, Клавдия не обманывала. Если бы она была заодно с ними, она не тряслась бы так. Да и на что я им? Нет, тут не было подвоха. Но и ослышаться Клавдия не могла. Барометр где-то здесь.

— Придется подождать до зари. А на заре осмотрим все.

— До зари я не выдержу, — захныкала Клавдия. — Умру от страха.

— Другого выхода нет. С пустыми руками не уйдем.

Клавдия вся прижалась ко мне.

— Филя, милый! — взмолилась она. — Уйдем отсюда! А на заре вернемся. Уйдем, Филичка!

— Нет! — отрезал я, уверенный, что Клавдию потом и на аркане не затащишь в церковь. — На заре возвращаться опасно. Могут заметить. Самое верное переждать тут. — Я обнял ее, подтолкнул к плащанице. —

Присядем на стол.

— Что ты, что ты! — вырвалась Клавдия. — Садиться на такое место? Это же грех большой.

Я рассмеялся. Забавным показался ее страх.

— А разве не грех, что ты в алтаре? Церковь-то строго запрещает женщине появляться в этом святом месте. И сулит за такое преступление геенну огненную. Так что ты уже великая грешница. И терять тебе больше нечего. Садись и отдыхай. А то до зари далеко.

Клавдия нащупала стол и присела. Я уселся рядом на золотую парчу. Все-таки интересно. Сидеть на самом святом месте. Да еще рядом с девчонкой. Нарочно не придумаешь.

— Господи, и зачем это я все затеяла? — вздохнула Клавдия. — А ну, как они передумали? И спрятали в другое место? Сколько переживаний, и все напрасно. Да и ты бог знает что подумаешь.

— А я уже чуть было не подумал, — признался я. — Может, ты ловушку мне устроила?

— Неужели тебе могло прийти такое в голову?

— А почему бы и нет? Кажется, мы не друзья, а враги. Да еще не простые какие-нибудь, а классовые...

\*

Какой-то шум прервал наше перешептывание. За ним последовал лязг. Потом послышались голоса. Мы разом соскочили со стола.

— Сюда идут, — с отчаянием сказала Клавдия. — Мы погибли.

С минуту я стоял как оглушенный. Отец Сидор и пономарь Лукьян. Я сразу узнал их. Неужели они заметили свет? Я схватил Клавдию и потащил ее за плащаницу.

— Под стол! — и пригнул ее к полу. — Живо!

Клавдия на четвереньках заползла под стол, на котором стояла плащаница. За ней спрятался туда и я, опустив позади себя парчу. Под столом было тесно и низко. Мы легли на тюфяк и притиснулись друг к другу.

— Они найдут нас, — всхлипнула Клавдия. — И убьют.

Я зажал ей рот ладонью.

— Молчи!

Прислушиваясь, я лихорадочно думал, что делать, если нас обнаружат. Один бы я сумел удрать. Только бы меня и видели. А вот с Клавдией... Она

так скована страхом, что не двинется с места.

А голоса все ближе и ближе. Послышались шаги. И густой бас Лукьяна:

— Вот и врата отчинены. А намедни сам затворял. Как сейчас помню.

— Где тебе помнить, когда ты пьян, — возразил отец Сидор. — Спьяну все померещилось.

— Своими очами зрел свет в алтаре. То вспыхивал, то затухал. Не иначе кто ходил тут со свечой.

— Да кому ж тут ходить-то? Кому и зачем? Да еще в такое время? Все живое спит. Только ты один блукаешь.

— Час поздний, это так, батюшка. А только своими очами... Был тут какой-то леший.

— Поменьше бы пил. А то меры не знаешь. Даже к вечерне пьяным являешься.

— Уж ты и скажешь, батюшка. К вечерне пьяным. Да когда ж такое было? А что до нонешней ночи... Полбутылки выпил, каюсь. Но разве ж это мера?

Отец Сидор разгуливал вокруг плащаницы. А Лукьян топтался на одном месте. И луч от его фонаря прыгал по полу. Я видел это в просвете между парчой и крашеными досками.

— В полночь взбудоражил, — ворчал поп. — А ради чего? Перекрестился бы и отогнал привидение. Так нет же! Разбудил и притащил. — И повелительно: — Пойдем! Я спать хочу.

— Сейчас пойдем, батюшка, — смирился Лукьян. — А допрежь позволь глоток влаги господней.

— Вот оно что! Так ты из-за этого придумал?

— Нет, нет, батюшка! На кресте клянусь. Своими очами зрел. А прошу от жажды. Огонь в душе залить.

— Нельзя. Осталась одна бутылка. Причащать нечем будет.

— Святой водицы сахаром разведу. И подкрашу так, что сам господь от своей крови не отличит. Ну позволь, батюшка! И сам причастишься. Чтобы спалось покрепче.

— Ладно уж, достань, — сдался поп. — И мне налей. А то и правда не скоро уснешь. Перебил сон, олух царя небесного.

Звякнуло стекло, забулькала жидкость. И снова голос Лукьяна:

— За господа бога, спасителя нашего!

Закурлыкали глотки, зачмокали губы. Крякнув, отец Сидор сказал:

— Достань-ка по просвирочке. Раз уж выпили, надо и закусить.

Медленное и громкое чавканье. И утробное гудение пономаря:

— А как вы обвели паству-то. Ведьма, крестный ход и дождь. Всем чудесам чудо. Закоренелые грешники и те перекрестятся.

— Не богохульствуй. Дождь не от одного прибора, а и от молитвы. — И прошаркал мимо нашего изголовья. — А ну-ка, взглянем на него. На что показывает? Может, на бурю? — И тревожно: — А где же он?

— Я спрятал в тайник.

— Фу ты, дьявол! А я уж испугался. Зачем спрятал-то?

— Для надежности. Ну, как кто увидит?

— Да кто ж тут увидит? Кроме нас с тобой, сюда никто не заходит. Нет, нет! Достань сейчас же! Или пропил уже?

— Что вы, батюшка? Как можно пропить его? Это же не икона какая-нибудь, он же дороже любого святого. — И, протопав куда-то, вернулся на место. — Вот смотрите. Целехонький. И показывает на «ясно».

— Повесь на стену. И пускай висит. Он должен быть на воздухе. А в тайнике может задохнуться и испортиться.

— Молитва молитвой, — сказал Лукьян, пройдя куда-то. — А главное все ж таки он. Он выручил нас. Сколько в воскресенье народу-то набилось? И касса наша сразу пополнилась. И будет пополняться от праздника к празднику. Только меня уж не обделите, батюшка. Совсем оскудел раб божий.

— Пропиваешь много. На баб несоразмерно тратишься. Сколько увещевал тебя? Укроти плоть. Чаще молитве предавайся. А ты все не внемлешь гласу мудрости. И в делах рвения не показываешь.

— Как же не показываю? Все как есть исполняю.

И ваши прихоти и Комаровские. Намедни набат по приказу бил. А как бил-то? На взаправдашнем пожаре так бы не старался. И за то чуть в темницу не угодил. Насилу выпутался.

— За то хвала тебе... — И звонкий, продолжительный зевок. — Разливай остальное, что ли? Долакаем и пойдем. А то еще и матушка примчится.

Снова звякнуло, забулькало, закурлыкало. А затем крякание, сопение, чавкание. И елеинный голос отца Сидора:

— Прости нас, господи! Не накажи за слабость, грешных! Ибо в слабостях наших — наши радости!

— Аминь! — враспяжку пробасил Лукьян, точно был на клиросе. — Слава нашему создателю! И вам благодарность, батюшка!

Робкий луч скользнул по крашеному полу и метнулся в сторону. Глуше и глуше шаги. Стук, лязг железа. И натужная тишина. Я пошевелинулся, но Клавдия не выпустила меня.

— Подожди. Может, притаились?

И мы продолжали лежать. Прошло еще немало времени. Клавдия достала зажигалку, глянула на часы.

— Уже, должно, светает.

Я осторожно вылез из-под стола. Густая тьма поредела. То ли в самом деле рассветало, то ли тучи на небе рассеялись! Глаза различили на стенах иконы. Под одной из них поблескивал металлический круг. Это был барометр. Я показал Клавдии на него и прошептал:

— Вот он. Можешь взять.

Клавдия сняла барометр с гвоздя и подала мне. Я торопливо отшагнул назад.

— Сама выноси.

Клавдия завернула барометр в головной платок и, блеснув глазами, сказала:

— Пошли, провожатый!

Осторожно передвигаясь в полутьме, мы вышли в левое крыло. Тут только я понял, что поп и пономарь вошли в церковь через правую боковую дверь. А пройди они через левую, вряд ли мы отделались бы так легко. Дверь-то оставалась незапертой. Но я не сказал о своей догадке Клавдии. Она и без того немало натерпелась за эту ночь.

\*

Лобачев долго вертел в руках барометр. Потом положил его на стол и пытливо глянул на меня.

— Так говоришь, никто об этом не знает?

— Никто, — подтвердил я. — Кроме нее и меня.

Лобачев одобрительно кивнул.

— Скажи, до чего додумались! Нет, не простаки наши идейные противники. Даже наукой и техникой не гнушаются. Все ставят на службу богу. — И, кивком показав на платок, который я сжимал в руках, спросил:

— Ее, что ли?

— Ее.

— Ну да, ее, — поверил Лобачев. — Сам видел. Как-то проходила в нем. Горошинки запомнились. А ты верни его. И поблагодари.

Мне не терпелось узнать, что собирался он делать с барометром. И я, улучив момент, спросил:

— А когда начнем разоблачать их?

— Как разоблачать?

— Ну, так. Когда барометр этот покажем людям и обман раскроем? Лицо Лобачева потемнело, брови насупились.

— А чем мы докажем, что он ихний?

— А чей же еще?

— А если они скажут, что мы сами купили его? Кому поверят, нам или им?

От этих слов я прямо-таки опешил. Прежде мне казалось, что стоит только барометру попасть в наши руки, как церковники будут разоблачены и обезврежены. Теперь же выходило, что прибор этот для нас ничего не стоил. Не скрывая растерянности, я молча смотрел на Лобачева. А тот медленно, точно рассуждая с самим собой, продолжал:

— Но допустим, мы докажем, что барометр принадлежит им. Допустим. Тогда они потребуют рассказать, как он очутился у нас. Что тогда? Сказать правду и выдать Клавдию?

— Клавдию выдавать нельзя. Это будет нечестно. Я дал ей слово.

— Правильно. Неблагодарностью платить за помощь нельзя. Но тогда что же мы скажем? Сами украли? Забрались в церковь и стащили? Они же поднимут такой вой, что и барометра не захочешь.

— Что же нам делать? — выдавил я. — Как быть?

Лобачев встал из-за стола.

— Я сейчас уезжаю в район. Прихватчу и его с собой. И зайду в райком партии. Там посоветуемся. Дело это не такое простое. И действовать тут надо осмотрительно.

Он еще раз попросил никому пока не говорить о барометре и засунул его в портфель. Я же, спрятав платок в карман, вышел на улицу. И побрел, сам не зная куда. В горле что-то першило, пощипывало глаза, будто в них попала пыль. Столько перенести и ничего не получить взамен! Я сказал Лобачеву, что Клавдия передала мне барометр. И это была правда. Но я умолчал, что сам ходил в церковь. Как бы отнесся он к такой новости?

Не зная как, я очутился у дома Володьки Бардина. Володьку нашел в затишке за сараем. Он с увлечением стриг Сережку Клокова. Ножницы в его руке позвякивали, как у заправского мастера. На землю падали золотые Сережкины кудри. В начале культпохода Володька вызвался быть ячейковым парикмахером. И с тех пор добросовестно окультуривал нас.

Поздоровавшись, я присел на обрубок дерева и стал наблюдать за стрижкой. Володька топтался вокруг Сережки, то и дело зачесывая назад его вьющиеся волосы. А Сережка рассказывал о Ленке Светогоровой. Ему никак не удавалось вовлечь ее в комсомол.

— Я уж с ней и так и этак, — жаловался Сережка, полузакрыв глаза. — А она ни в какую. Подожду, говорит, не к спеху...

Покончив с Сережкой, Володька осмотрел меня.

— Мог бы еще походить. Но раз явился, то садись. Так уж и быть, отремонтирую...

Я не собирался стричься, но от приглашения не отказался.

В эту самую минуту во двор вошел отец Сидор. Да-да, наш поп, священник, батюшка — собственной персоной. Только на этот раз он был не в рясе, а в суконном костюме и яловых сапогах. И только грива и борода оставались поповскими. Разинув рты, мы молча смотрели на непрошеного гостя. А он, подойдя ближе, неуверенно остановился и сказал:

— Я к вам, ребятки. Помогите до конца сбросить сан. Снимите патлы. Желая на честной стезе служить народу. — И, видя нашу нерешительность, добавил: — Я пошел было к взрослому цирюльнику, а тот отказался. Сроду, говорит, не стриг попов. Иди, говорит, к комсомольцам. Они, безбожники, согласятся. Вот я и явился. Не откажите в такой милости. Преобразите в мирянина.

Володька глянул на меня. В глазах у него метнулось озорство. Оно овладело и мною. Я еле заметно кивнул ему. Он повернулся к попу и сказал:

— Садитесь, батюшка!

Отец Сидор поклонился и присел на табурет.

— Бывший батюшка, — поправил он. — А в миру — Сидор Иваныч...

Но Володька уже не слушал его. Собрав поповские космы в руку, он ловко отхватил их ножницами и бросил на землю.

\*

Лобачев вернулся в сельсовет под вечер. Мне с порога сказал:

— Будем собирать народ. И давать бой церковникам. Секретарь райкома Дымов обещал принять участие в сражении.

По всему было видно, что он еще не знал о выходке отца Сидора. Однако я не успел рассказать ему об этом. В дверях показался сам расстрига. Волосы его теперь были подстрижены под польку, борода сбрита, а щеголеватые усы закручены кверху. Он остановился перед Лобачевым и сказал:

— Я к вам, гражданин председатель. Разрешите обратиться?

Лобачев не узнал попа и с любопытством оглядел незнакомца.

— Пожалуйста, обращайтесь. Что угодно?

Отец Сидор кашлянул в кулак и переступил с ноги на ногу.

— Я, понимаете, священник. Виноват, бывший священник. Отец Сидор, или поп. А бывший потому, что сегодня снял с себя священный сан. Понимаете, не желаю больше заниматься постыдным делом...

А поступил он так потому, что разуверился. Вера в бога оставила его еще тогда, когда он прочитал Библию. В ней он обнаружил множество противоречий и глупостей.

— Судите сами, — каялся бывший батюшка. — В священном писании сказано, что ни единый волос не упадет с головы человека без воли божьей. Значит, все делается с ведома всевышнего, по его желанию и разумению? А значит, не кто иной, как бог повинен в страданиях людей на земле...

Мы смотрели на отца Сидора, как на оборотня. Он никак не вязался с тем, кто много лет показывался на людях бородатым, длинноволосым, в рясе до пят, с большим крестом на шее. И все же это был он, бывший поп. Было чему удивляться. Но Лобачев скоро овладел собой и прервал словоохотливого отступника.

— А скажите, почему это вы сегодня сняли с себя священный сан?

Отец Сидор снова переминался на яловых сапогах и признался:

— Сегодня я исполнил то, что решил давно. Раньше все не хватало мужества. А сегодня подтолкнула история с барометром. С тем самым, какой вы ночью взяли в церкви.

— Мы у вас ничего не брали, — возразил Лобачев. — Откуда у вас такие мысли?

Бывший поп усмехнулся, опустил глаза, но скоро опять поднял их на Лобачева.

— Так вот, история с барометром, — продолжал он, не ответив председателю сельсовета. — Совсем, знаете, стыдно стало. Совестно и стыдно. Комаров привез из города этот прибор и потребовал согласиться на крестный ход, когда будет указание на дождь. Я подчинился. А как узнал, что пострадала невинная жертва, так и восстал. А тут еще письмо однокашника по духовной семинарии. Тот уже давно сбросил рясу и теперь в областном центре организует антирелигиозный музей. В своем письме он просит меня присоединиться к нему. Ну, я и решился. Не желаю больше обманывать. Хочу идти в ногу с народом. И жить честным трудом. А церковь — это анахронизм. Уже недалеко то время, когда она отпадет за ненадобностью. — И вдруг впился в Лобачева маленькими, сузившимися глазами. — Вы сказали, что не брали барометр? Так значит, у вас его нет?

— Нет, он у нас, — ответил Лобачев. — Но мы не брали его. Ваш

человек принес его нам. По своей доброй воле.

Бывший поп раскрыл глаза.

— Наш человек? Кто ж это?

— Этого мы вам не скажем. Да это и неважно. Важно, что он у нас, барометр. И что обман раскрыт. Что до вас лично, то вы можете ехать куда хотите. Никто не будет препятствовать. Только просьба небольшая. Напишите все, что тут сказали. И что обязанности священника слагаете с себя без принуждения. Напишите и принесите нам.

— Слушаюсь, гражданин председатель! — отчеканил бывший отец Сидор, весь вытягиваясь, будто военный. — Завтра же принесу такое признание. А со своей стороны, попрошу: выдайте мне справочку. Тоже о том, что священный сан я слагаю с себя добровольно.

— Хорошо, — пообещал Лобачев. — Мы подготовим такую справку. А теперь можете быть свободны. Мы вас не удерживаем.

— Благодарю вас! — поклонился бывший поп. — До свидания!

И, не дождавшись ответа, вышел. А мы, проводив его глазами, переглянулись. И разом в один голос произнесли:

— Ну и ну!..

\*

Дома у нас, как и всюду, уже знали об отступничестве попа. И безжалостно поносили его всяческими словами.

Особенно возмущалась Нюрка. Она призывала на его голову гром и молнии, прочила ему вечные муки на самом дне ада. Мать же больше молчала. Лишь изредка она вдруг останавливалась и смотрела перед собой невидящими глазами. Что же до отчима, то он уже без всякой опаски величал бывшего батюшку прохвостом и пьянчугой.

Но они ничего не знали о барометре, и я с удовольствием поведал им эту историю. Конечно, я не назвал Клавдию, умолчал и о самом себе. Но их такие подробности и не занимали. Важен был сам факт, и он потряс их. Потряс так, как будто над ними разверзлось небо, и они не увидели там ни рая, ни ада.

Мать первой опомнилась и торопливо перекрестилась.

— Господи боже мой! — сказала она, отчужденно взглянув на икону. Какие ж они шарлатаны, наши пастыри! А мы-то слушались их. Срамота какая!

— Бедная Анисья, — покачал головой отчим. — Не за понюх табаку

погибла старая. А все из-за алчности этих священнослужителей.

Нюрка вдруг завывала, застонала, точно ей стало нестерпимо больно, и бросилась вон из хаты. И только Денис ничем не выдал своих чувств. Он сидел на лавке и не сводил с меня блестящих глаз. И взгляд его, казалось, говорил, что уж ему-то нечего удивляться, ибо он давно знает обо всем.

После ужина я вышел во двор и устало зашагал к сараю. Там на сене я спал все лето. И хотя после дождя зори стали прохладными, переселяться в хату пока что не собирался. Голова моя необыкновенно гудела и представлялась такой тяжелой, будто ее начинили песком. Хотелось поскорее улечься на душистом сене, закрыть глаза и забыться. Так много за эти сутки было передряг, что они вымотали силы. Да и вечер уже хмурился, затягивал балку серыми сумерками. Но едва я улегся, натянув на себя лоскутное одеяло, как дверь сарая скрипнула и раздался настороженный голос Дениса:

— Хвиль, а Хвиль, где ты тут? Хочу спать с тобой. Примешь? — Он постлал дерюгу и улегся рядом. — Слышь, Хвиль, а где тот барометр?

— Там, — ответил я сквозь полудрему. — В сельсовете.

Денис недоверчиво потянул носом.

— А может, у тебя где спрятан?

— У меня его не было.

— Был, — сказал Денис. — Сам видел.

Его слова согнали дремоту. Я приподнялся на локте и наклонился над братом.

— Когда это ты видел его?

— Утром. Заглянул в сарай, а ты спишь. И спишь не на постели, а в стороне. Должно, сонный сполз. А под подушкой — узел. Я развязал его, а там круг какой-то. И надписи «ясно», «буря», «дождь».

Я снова упал на подушку. Нет, не уберегся. И тайна перестала быть тайной. Но что же в этом страшного? Мог же кто-либо передать прибор мне? И не большая беда, если Денис уже проговорился.

— Да, он был у меня, — сказал я. — Мне передали его. А я отнес в сельсовет. Теперь он там висит и погоду предсказывает.

Несколько минут мы лежали молча. Потом Денис сказал:

— А ты догадался, отчего Нюрка так расхлюпалась? Венчаться теперь нигде будет. Понял? А она ждет сватов из Сергеевки. На свадьбу надеется. А какая ж свадьба для нее без венчания? — И, повернувшись на бок, дотронулся до моего плеча. — А у тебя что под носом? Сам порезался?

— Не сам, — сказал я. — Володька Бардин порезал. Брил, а бритва тупая.

— Я так и знал, — с сожалением произнес Денис. — Все пропало. Начал бриться, скоро жениться. А как женишься, так переменишься. И тогда прощай наша дружба.

Я рассмеялся, обнял брата и крепко прижал его к себе.

\*

Сходка была бурной. Беднота бушевала, как Поту-дань в половодье. Селькрестком разносили в пух и прах. От критики Родин не успевал поворачиваться.

Особенно разорялась Домка Землякова. Она без конца подбегала к столу, покрытому красной материей, и, подперев бока кулаками, кричала:

— К чертям собачьим такую лавочку! И взаимопомочь такую к чертям! Как было раньше, так осталось и теперь. Тот же голод, та же кабала! За что же погибли в гражданку наши мужья?

В последний раз она, прервав себя, вдруг повернулась к председателю селькресткома Родину, глаза ее вспыхнули гневом.

— Вон, гляньте на него, нашего хорошего! Ишь какую пузень отрастил! Что твоя баба на сносях! Где ж такому-то о бедноте заботиться? В пору брюхо таскать...

Как председатель собрания, я постучал карандашом по столу, призывая вдову к порядку. Она полоснула меня высокомерным взглядом и сказала:

— А ты еще что задираешься? Рашпиленок? Думаешь, как посадили за стол, так и поумнел? Да я позабыла больше, чем ты знаешь...

Выпад Домки выбил меня, что называется, из седла. В свою очередь, разозлившись, я про себя плюнул на все и предоставил собрание самотеку. Пусть орут, разоряются, болтают все, что лезет в голову. Когда-нибудь да уgomонятся. И приведут себя в человеческий вид.

А беднота продолжала разносить нас, руководителей. Мы к такие, и сякие, и разэдакие. Только и думаем, что о себе. А о бедноте так и совсем позабыли. И никак ей, многострадальной, не помогаем, от кулацкого произвола не защищаем. Приняли гужналог, да почти тут же и сдались. Испугались указки райисполкома, который сам поднял лапки перед областной бумажкой. А следовало бы не трусить, а смелее наваливаться на кулачье. Как посмели, дескать, жаловаться в область? Да мы с вас за такие выходки шкуры посдираем и на плетень повесим!

Но все же самым поразительным был конец сходки. Когда у всех языки изрядно одеревенели, к столу подошел Лобачев.

— Мы на партячейке обсуждали отчет селькредкома, — сказал он. — И вот так же, как вы, признали работу неудовлетворительной. А потому решили поставить вопрос о выборе нового председателя.

Беднота дружно приветствовала это сообщение. А Лобачев, переждав, пока шум улегся, продолжал:

— И о новом председателе тоже подумали. Все, как нужно, взвесили, обсудили. И вот выносим на ваше усмотрение...

Он назвал меня. Да, да, я не ослышался. Не кого-нибудь, а меня. Если бы над столом разорвалась бомба, то и она потрясла бы меня меньше. Что это такое? Незаслуженная шутка или страшная ошибка? Меня председателем селькредкома! Да я же в таком деле ни в зуб ногой. И не на одном мне свет клином сошелся. Есть же среди бедноты умудренные годами и житейским опытом люди. Ведь им легче управляться с такими делами. А что я? Вон как отбрила меня Домка Землячиха. А разве у нас мало таких вдовушек? Любая из них съест кого угодно. И меня проглотит. Да и зачем мне эта обуза? Хватит и одного комсомола.

А Лобачев уже расписывал мои достоинства. Оказалось, что их у меня было немало. Я и грамотный, и вежливый, и способный, и прилежный. И, что самое удивительное, никто не возражал против этого. Беднота слушала с напряженным вниманием, будто речь шла в самом деле о ком-то примечательном. А под конец даже стали раздаваться голоса, вроде того, что-де, мол, знаем, наш парень, свойский, не подгадит. И не успел я опомниться, как был избран.

«Что ж они меня-то не спросили? — с горечью думал я, готовый заплакать. — Я бы лучше рассказал о себе. И тогда бы они увидели, что я совсем не такой, каким нарисован...»

Когда беднота разошлась, я, сдерживая возмущение, сказал Лобачеву и Родину:

— Как же это так? Да я ж не хочу! И не согласен.

Лобачев сердито нахмурил брови.

— Мало ли что не хочешь. Партячейка захотела, и все. А ты должен гордиться. Видел, как избрали? Почти единогласно.

— Да я ж никогда на такой работе не был...

Лобачев принужденно рассмеялся.

— А вот теперь и будешь. Готовыми работники не родятся. И бояться тут нечего. Не один будешь в поле воин. Поможем.

— Ну хорошо, — не сдавался я. — Пусть так. Но почему же не спросили меня? Я бы мог дать себе отвод.

— А вот потому-то и не спросили, — ответил Лобачев, опять сдвигая

брови на глаза, — чтобы не затеял дискуссию.

— А дискуссия с таким народом до добра не доведет, — добавил Родин. — Забузили б разные землячихи и прокатили бы на вороных. И выбрали б такого, какой еще хуже меня запутал бы дело...

\*

Домой я приплелся грустный и удрученный. О свершившемся рассказал, как о непоправимом несчастье. Но, к удивлению, домашние заметно обрадовались. Отчим ободряюще подмигнул мне. А мать, узнав, что отныне я буду получать жалованье, даже осенила себя крестным знамением.

— Слава те господи! Услышал-таки нашу молитву!

Даже Нюрка, всегда сварливая и задиристая, и та взглянула на меня с уважением. Но сказала все с той же ехидцей:

— А я уж думала, всю жисть будешь задарма трепаться...

Но мне было не до Нюрки. Я думал о своем. Голову разламывали нудные мысли. Как это так, что события в моей жизни происходят помимо моей воли? Только недавно мне сравнялось семнадцать, а на плечи мои легло такое бремя, какое под силу разве что умудренному. Или такова уж наша жизнь, что люди видят и знают тебя лучше, чем ты сам?

И еще думалось о том, что теперь-то уж хочешь или не хочешь, а придется покончить с ребячеством. К секретарю ячейки комсомола прибавился еще и председатель селькресткома. А это уже было делом нешуточным. Во всем теперь нужно будет показывать пример, чтобы идти в голове, а не плестись в хвосте. Но разве это так просто — показывать пример?

\*

Дела селькресткома действительно оказались запущенными. Бумажки лежали в общей куче в незапирающемся шкафу, директивы и протоколы покрылись пылью. Но винить за это прежнего председателя не хотелось. Старый коммунист, он делал все что мог. Но он был неграмотным и с грехом пополам выводил свою фамилию. Так, с грехом пополам, вывел он свою фамилию и на приемо-сдаточном акте. И, сразу повеселев, сказал:

— Желаю удачи. Надеюсь, беднота все-таки не слопает тебя. А только

и памятник не поставит. Можешь разорваться на части, а этого не дождешься.

И вот я остался один на один с трудными задачами. Разбитое корыто, и никакой золотой рыбки. Порыжевшие бумаги в старом шкафу да пустой амбар на площади. Ох уж этот амбар! И для чего он выстроен? Срубленный из отборного леса, он гордо возвышался напротив сельсовета. На дверях пудовый замок. А в закромах пустота. Зачем же построен он? Зачем истрачены и без того скудные средства?

Несколько дней я копался в бумагах. И вот обнаружены списки неплательщиков взносов. Против каждой фамилии значилась сумма, какие-то загадочные черточки, кружочки, крестики. И не было только одного — отметки об уплате. Кто же платил, а кто увиливал? Но я откопал и корешки квитанций, по которым взимались деньги. В корешках также много всяческих пометок, а фамилии трудно прочесть. Долго я разбирался в этой неразберихе. Но все же составил список недоимщиков. Их набралось довольно много. Почти половина всех жителей села. Конечно, среди них были и те, кто уплатил взносы. Но это не смущало меня. У них должны быть документы. А если документов не найдется, заплатят еще раз. Тут уж ничего не поделаешь. Не моя вина, что в кресткоме путаница, а у людей беспечность.

Неожиданно обнаружилось любопытное постановление селькресткома. С пометкой: принято единогласно. В этом постановлении перечислялись богатые жители села, скрупулезно исчислялся их нетрудовой доход и на основании этого дохода устанавливались дополнительные повышенные взносы. Бумага обрадовала меня больше, чем старателя золотоносная жила. Еще бы! Ведь за богачами значилась сумма чуть ли не вдвое больше, чем за всеми недоимщиками. Взыскать ее — значит сразу создать прочную материальную базу. А почему дополнительные взносы до сих пор не взысканы? Что помешало выполнить особое постановление? Может, сопротивление богачеев? Или неповоротливость прежнего председателя?

Раскрепив комсомольцев по частям Знаменки, я снабдил их списками недоимщиков и торжественно сказал:

— Пришла пора и для нас, товарищи! Кровь из носа, а собрать все гроши. Иначе мы так и останемся у разбитого корыта. И беднота отвергнет нас, как болтунов. А потому на агитацию не жалеть сил. И в словах не стесняться. Пускать в ход даже самые жалостливые. Проникать в самую душу. И даже глубже...

На себя же я возложил самое, важное: дополнительное обложение

богачей. Дело это представлялось нелегким, но я все же решился взять быка за рога. Как любил говорить отчим: ничто путное без труда не дается.

\*

Встретил меня сам Петр Фомич. Встретил спокойно, будто ждал. И ни один мускул на бородатом лице не дрогнул. Только темные глаза чуть-чуть сузились.

— А, председатель селькредкома! — с наигранной любезностью воскликнул он. — Пожалте, милости просим! Чем богаты, тем и рады...

Квадратная зала дома тонула в полумраке; с улицы окна прикрыты ставнями. В углу сиял позолотой целый иконостас. Мирно теплилась лампада. На столе, покрытом льняной скатертью, стояла стеклянная чаша. В ней большой горкой красовались крупные яблоки.

Я нашел в списке Лапонины и торжественно сказал:

— Гражданин Лапонин, вы до сих пор не уплатили взносы в кредком. А потому считаетесь злостным неплательщиком. Советую немедленно ликвидировать задолженность. Иначе вынужден буду принять меры...

Лапонин выслушал спокойно. Посидел немного, подумал. Потом встал, вышел из комнаты. И почти тотчас вернулся с бумажкой в руке. Это была квитанция. Сумма написана и цифрами и прописью. Неуклюжая подпись прилепнута печатью.

Я взял квитанцию, сделал отметку в списке и сказал:

— Семьдесят долой двадцать — остается пятьдесят. Недоимка — пятьдесят рублей...

Я ждал, что Лапонин взорвется, закричит и станет поносить меня, селькредком и Советскую власть. Я хорошо знал его бурный и вспыльчивый характер. И также хорошо известна была ненависть кулака, какую питал он ко всем нам и к нашим порядкам. Иной раз она доводила его чуть ли не до бешенства.

Но Лапонин продолжал сидеть с видимым спокойствием. Только темная жилка на шее подергивалась, будто отсчитывая закипавшую в нем ярость. Да глаза стали узкими и такими острыми, что, казалось, собирались пронизать меня насквозь. Бережно спрятав в карман квитанцию, он ответил со сдержанной обидой:

— Это незаконно. А потому не признаю.

— Тем хуже для вас, — сказал я и взялся за карандаш. — А мы сделаем отметку. И передадим дело в суд. А суд взыщет в пятикратном

размере. Знаете, сколько это будет? Двести пятьдесят рублей. Конечно, для вас и это пустяки. Но все же... — Я глянул на него с усмешкой. — А говорили: чем богаты, тем и рады. А теперь из богатства пустяка выделить не можете. Другой бы на вашем месте постыдился бы...

Лапонин заерзал на стуле. Значит, все-таки удалось пронять его.

— Повторяю обратно: чем богаты, тем и рады, — прохрипел он. — Да только такими «пустяками» не разбрасываемся... — И вдруг подался на стол, будто стараясь получше рассмотреть меня. — А хочешь, самогонкой угощу? Настоящий первач. Покрепче спирта. Стаканчик, а?

— Значит, вы богаче всего самогонкой?

— Ладно тебе, — проворчал он. — Забубнил одно и то же. Дело говорю. Ну как? Принесу бутылочку. Разопьем вместе. А потом и потолкуем. Глядишь, и сойдемся...

Я покачал головой.

— Самогонку не потребляем. А тем более в служебное время... — Взгляд мой упал на краснобокие яблоки. Захотелось сыграть шутку. Но я удержался, решив отложить забаву. Покончим сперва с делом. — Гоните пятьдесят рублей. Ну что вам стоит? Десять пудов каких-нибудь...

— Десять или двадцать, тебя не касается, — сердито перебил Лапонин. — Сам умею считать. И в счетоводах не нуждаюсь. А тебе скажу одно: не с того конца ты начал. Уж коли решил выслужиться перед шантрапой...

— Осторожно, гражданин Лапонин, — прервал я. — Не забывайтесь. Я не позволю оскорблять бедноту. Еще одно такое слово... и заплатите не пятьдесят, а сто рублей.

Лапонину стоило больших усилий сдерживать себя. Да и то сказать... Явился в дом какой-то молокосос и наставляет. Было от чего прийти в бешенство. Но он не только не пришел в бешенство, но даже улыбнулся, обнажив желтые зубы.

— Ну и молодежь пошла! — простонал он. — Никакого уважения старшим. Так и норовят обидеть. Ах, времена, времена! — И, снова подавшись вперед, перешел на полусшепот: — А знаешь что? Давай любовно. За вами должок имеется. Ты замарай недоимку, а я скину долг. И будем квиты.

— Ничего не выйдет, — сказал я. — Вам должен гражданин Дурнев Алексей Данилович. И получайте с него. Это ваше частное дело. А я пришел от имени общества. И не по какому-то частному делу. Так что прошу не забывать этого. И предлагаю кончать прения. Платите пятьдесят рублей.

— Не заплачу! — стукнул кулаком по столу Лапонин. — Незаконно! Грабеж! Буду жаловаться.

— Хорошо, — сказал я. — Жалуйтесь. А мне вот тут распишитесь, что от уплаты отказываетесь.

— И расписываться не буду! — крикнул Лапонин, наливаясь кровью. — Нет таких порядков, чтобы прибавлять. Нынче пятьдесят, а завтра сто пятьдесят? Разбой! Не буду расписываться.

— Хорошо, — повторил я. — В таком случае напишем: от подписи отказался. А кроме того, прибавим: допустил антисоветские выпады, каковыми были слова «грабеж» и «разбой». Ну, так как?

Лапонин зло усмехнулся.

— А вот так, малый. Кликну ребят, Демку и Миньку. И уложим тебя. И захороним, что сам бог не отыщет. Что на такое скажешь?

— Попробуйте, — равнодушно качнул я плечами, хотя по телу поползли мурашки. — Бог не отыщет.

А вот сельсовет, он уж как-нибудь обнаружит. Потому что в сельсовете знают, куда я отправился...

Лапонин заскрежетал зубами.

— У, разбойники! Жизни от вас нету. И когда только придет на вас пропасть... — Достав из кармана бумажник, он отсчитал деньги и швырнул мне. — Подавись, мошенник! И пуцай вместе подавится и твоя беднота...

Я спрятал деньги в карман и выписал квитанцию.

— Пожалуйста, гражданин Лапонин. А теперь насчет разбоя и грабежа. Как с этим? Может, оштрафовать? Ну, ну! Не буду, — добавил я, заметив, как снова побурел хозяин. — Так уж и быть. Только за это дайте одно яблоко.

Некоторое время Лапонин смотрел на меня с диким изумлением. Потом схватил яблоко и стукнул им передо мной.

— Жри, председатель! А я погляжу...

Я достал карманный ножик и разрезал яблоко поперек. Разделенная пополам сердцевина с коричневыми зернами на обеих половинках образовала пятиконечные звездочки. Я давно заметил это чудо природы и теперь решил проверить, как оно подействует на кулака.

— Ишь ты! — воскликнул я с наигранным удивлением. — Советскую власть поносите, а сорта яблок подобрали прямо-таки коммунистические. Они ж у вас красные не только снаружи, а и внутри. Ну да, — подтвердил я, заметив, как оторопел ничего не понимавший Лапонин. — Вот взгляните... Пятиконечная звездочка. Да такая правильная, будто нарисованная.

Лапонин уставился на разрезанное яблоко. Губы его беззвучно

зашевелились. Должно быть, он про себя считал концы звездочек. Потом достал свой нож, схватил из чашки яблоко, разрезал его. И впился глазами в половинки. Потом схватил еще одно и разрезал. Потом еще и еще... Забыв обо мне, он разрезал яблоки и бросал на пол. А я, довольный шуткой, вышел. Не все кулаку злобствовать на людей. Пусть позлится теперь на природу.

\*

Окрыленный первым успехом, я на другой день отправился к Комарову. Мельник был самым крупным недоимщиком. За ним числилось сто двадцать рублей. Конечно, он представит квитанцию на тридцать. Бедняк теряет бумажку, едва успев получить ее. А богач нет! Тот все бережет, все сохраняет. И не только потому, чтобы не заплатить лишнее. Это само собой. А и потому, чтобы при случае документами засвидетельствовать о страданиях.

В этот раз я выглядел вполне прилично. На первую же зарплату купил отрез сукна, из которого наш деревенский портной смастерил галифе. И они мне сразу пришлись, суконные галифе с накладными карманами. Прямо будто я в них и родился. И рубашку купил новую. Правда, не сатиновую, а ситцевую, но это неважно. Она тоже здорово шла мне. Только пиджак был все тот же: куцый, потрепанный. Но вычищенный и заштопанный, он не бросался в глаза. Я старательно наярив сапоги суконкой, для солидности набил карманы галифе разными бумагами, ту же подтянул ременный пояс. Да, я уже не подвязывал штаны веревочкой, а подпоясывал ремнем с красивой пряжкой. Чтобы видны были и дутые карманы, и блестящая пряжка, и ситцевая рубаха, я не застегивал пиджак. И полы его теперь раздувались на ветру, как паруса.

По дороге почему-то вспомнилась Клавдия. С тех пор она ни разу не показывалась в селе. Должно быть, укатила в город. И устраивает там свои дела. Но все же думать о ней плохо не хотелось. В тот раз она здорово помогла нам. Все-таки настойчивая девка. А вот в университет не прошла. Я вспомнил, что сам был студентом, и почувствовал гордость. Рабфак на дому, конечно, не университет. Это так. Но все же учебное заведение. После него и университет распахнется. Так что знай наших и не очень задирайся.

Во дворе Комаровского дома никого не было. Я перемахнул через забор и подошел к входной двери. С минуту стоял в нерешительности.

Потом, словно бросаясь в холодную воду, распахнул ее. И в тот же миг что-то тяжелое с рыком ударило меня в грудь. Падая на спину, я увидел над собой оскаленную пасть и в ужасе закричал:

— Ааа!..

Собака, будто стараясь заглушить крик, сдавила мне горло. Боль полоснула по шее, перехватила дыхание. Я схватил за челюсти пса, чтобы разжать их, и тут же услышал грозное:

— Джек, фу! Фу, Джек!..

В ту же минуту собака, взвизгнув, шарахнулась в сторону. А Комаров подхватил меня под мышки и потащил в дом. В столовой произнес дрожащим голосом:

— Ах ты ж, несчастье! Да как же он тебя?

За столом, уставленным бутылками и закусками, сидели Клавдия и Петр Фомич Лапонин. Клавдия вскочила, подбежала ко мне, всплеснула руками.

— Да он чуть не загрыз его! Какой кошмар!.. — И схватила меня за руку. — Идем ко мне. Перевяжу...

В своей комнате она усадила меня на стул и сделала это вовремя. Внезапно у меня закружилась голова, в глазах помутнело, а ноги так ослабли, что непременно подломились бы. Я прислонился к спинке стула, опустил веки и некоторое время сидел, как полуживой. Где-то шелестела бумага, за перегородкой гудели голоса. Комаров и Лапонин будто спорили о чем-то. Или ругали меня, что испортил беседу?

Когда Клавдия вернулась, я уже сидел прямо, готовый встать и уйти. Она присела на корточки, положила мне на колени бинт и поднесла к лицу желтый пузырек.

— А ну, повыше голову. Сейчас смажу ранки йодом. Будет немножко жечь... — Она приложила палочку к шее, и я чуть не подпрыгнул на стуле. — Спокойно, Филя. Это надо обязательно. Чтобы не было заражения.

Шею жег огонь. И было больнее, чем от зубов пса. Но теперь я сидел как каменный. И не сдвинулся бы с места, отрежь она мне голову. Нельзя было показывать слабость перед классовым врагом. Она же, кроме того, и девчонка. А к лицу ли парню пицать от боли перед девчонкой?

А Клавдия уже прикладывала к шее мягкую вату, затягивала ее белым бинтом. Делала она это нежно и осторожно, без умолку болтая языком.

— Сейчас будет готово. И скоро перестанет болеть. А потом и совсем пройдет. Но пока что потерпеть придется. А Джек — ужасная собака. Говорила отцу, чтобы оставил на цепи. Так нет же, не послушался...

Показалось, мельник не зря затащил пса в переднюю. Может, боялся, как бы кто не нагрязнул? И не застал за секретной беседой с Лапониным?

— А Петр Фомич часто вас навещает?

Клавдия покосилась на закрытую дверь.

— В последнее время да, — понизив голос, сказала она. — Все отца обрабатывает. А сегодня мне самой сделал предложение.

— Это какое же?

Клавдия загадочно усмехнулась.

— За Михаила сватается.

— Это за Миню Прыща? — не поверил я и, когда она подтвердила, спросил: — И что же ты?

— Да уж почти согласилась.

Я выпятил на нее изумленные глаза.

— Да ты что, сдурела? На что он тебе, этот Миня? Он же не человек, а обезьяна. Даже хуже обезьяны.

Клавдия поморщилась.

— Мне он и самой не нравится. Какой-то слюнтяй. Но отец настаивает. Хочет с богачом породниться. И богатством объединиться.

Ее ответ протрезвил меня, и я прикусил язык. А потом заметил с равнодушием:

— А вообще-то... Кому что нравится...

Клавдия подумала и сказала:

— Нет, не пойду. Пускай без меня роднятся и объединяются. — И, завязав концы бинта, выпрямилась. — Теперь все будет хорошо. Можно не беспокоиться. А Михаил... Он и правда какой-то такой...

Чтобы переменить разговор, я спросил, как отец пережил пропажу барометра.

— Очень нервничал, — зашептала Клавдия. — Места себе не находил. Боялся, как бы не притянули его к ответу.

— Тебя не заподозрил?

— Попа проклинал. На чем свет стоит. Уверен, что он предал. Чтобы втереться в доверие к коммунистам...

Слушая Клавдию, я подумал о Лобачеве. Он все еще осторожничал с церковниками. Опасался, как бы не упрекнули в притеснении церкви. А чего тут опасаться? Всем теперь видно контрреволюционное нутро святош. Самые рьяные верующие и те согласятся прикрыть поповскую лавочку.

— А нового батюшку не ждут?

— Рады бы, да нет охотников. Приход-то подмоченный...

В дверях показался Комаров.

— Ну как он?

— Ничего, — ответила Клавдия. — Я смазала ранки йодом. Еще немного, и совсем успокоится.

Комаров кивнул головой, отшагнул назад и закрыл дверь. Клавдия присела рядом, обдала меня винным запахом.

— Слушай, что скажу, — зашептала она. — Ты сдери с него, отца-то, за этого Джека. Тыщу рублей потребуй. И он отдаст. У него есть деньги. Не упускай случая. Законные отступные...

Я встал, оттянул повязку, чтобы не душила.

— Ты что же, отца разорить хочешь?

В темных глазах Клавдии сверкнул огонь.

— Если бы я только могла. Его собственность закрыла мне все пути. — И опять озорным полусшепотом: — А ты не зевай. И требуй свое. Ну, тыщу не даст. За тыщу он скорее повесится. А полтыщи...

— Спасибо, — прервал я. — А теперь мне нужен отец...

Мы вышли в столовую. Комаров стоял у окна, выходявшего на мельницу, и пальцами барабанил по подоконнику. Заслышав шаги, торопливо обернулся и состроил приветливую гримасу. Лапонина не было и в помине. И стол пустовал, будто жадный сват прихватил все с собой.

Я без приглашения присел и достал списки недоимщиков.

— Задолженность в селькрестком. Сто двадцать рублей. Как председатель кресткома я прошу...

— Хорошо, хорошо, — сказал Комаров, присаживаясь напротив. — Сейчас разберемся. Кажется, я уже платил эти деньги. И помнится, тогда было не сто двадцать, а тридцать.

— Не знаю, сколько было тогда. Говорю, сколько теперь. И требую немедленно уплатить. Все сроки истекли. И мы имеем право подать в суд.

— Зачем же в суд? — сказал Комаров. — Только надо уточнить. С меня полагалось тридцать. И я уплатил.

— У вас есть квитанция?

— Конечно, есть.

— Предъявите.

— Документы у жены. А она в отъезде. Потерпи несколько дней.

— И дня не могу. Платите или расписывайтесь в отказе выполнить решение общего собрания... Сто двадцать. И кончим разговор.

Комаров сжал пальцы в кулаки и с минуту мрачно смотрел на меня. Потом чуть повернулся к дочери, стоявшей у стены.

— Принеси... Сто двадцать...

Клавдия перешла столовую и скрылась в соседней комнате. И почти

тотчас вернулась с пачкой бумажек в руке.

Я пересчитал деньги и выписал квитанцию.

— Теперь вот еще что, гражданин Комаров... — У Клавдии по лицу разлилась торжествующая улыбка. — Вы должны продать для бедноты хлеб. Понятно, по госцене. Пятьдесят пудов муки. Это не требование, а просьба.

Мельник сжал тонкие губы. Так сидел он несколько секунд. Потом через силу усмехнулся и сказал:

— Хорошо, продам. Пятьдесят муки. И по госцене. А только на просьбу — просьба. Не заявлять, что тут случилось. Я говорю про собаку, будь она неладна.

Я спрятал список и встал.

— Можете не волноваться. Жаловаться не будем. Мы не такие уж кляузные...

За калиткой Клавдия, сощутив глаза, спросила:

— А почему не потребовал отступного? Подвоха, что ли, испугался?

— Ничего не испугался, — ответил я. — Просто не нуждаемся. И не принимаем подачек. А кроме того... Тебя стало жалко. Ну, как дознается, что ты надоумила.

Клавдия хотела что-то возразить, но я круто повернулся и, не простившись, зашагал прочь.

\*

Когда вдовы вымели амбар и побелили закрома, мы с Митькой Ганичевым на его лошаденке отправились на мельницу. Комарова нашли наверху, у бункеров. С карандашом за ухом и тетрадь в руках, он командовал мужиками, таскавшими мешки с зерном.

Улучив момент, когда мельник остался один, я попросил его отпустить муку.

— Какую еще муку? — сердито спросил тот. — В чем дело?

Я дотронулся до повязки на шее. Комаров скрипнул зубами и выбросил вперед руку.

— Деньги!..

Я положил ему на ладонь приготовленные бумажки. Мельник сунул их в карман и сказал работнику:

— Пятьдесят... Кресткому... — И про себя сквозь зубы: — Черт бы его побрал!

Работник махнул нам ключами и двинулся к сараю, обсыпанному со всех сторон мучной пылью. Там, кивнув на пузатые чувалы, он сказал:

— В каждом — пять пудов. Тару возвернуть нынче же...

Сцепив руки, мы с Митькой подставили их под чувал, свободными ухватили за его углы и понесли к подводе. Так один за другим уложили пять мешков. Пообещав работнику скоро приехать за остальными, мы помогли лошади выбраться на греблю. По накатанной дороге колеса нагруженной телеги покатались легко и весело. И все же Митька не решился сесть на воз, а шел рядом, подбадривая лошаденку понуканием. Я же плелся позади, поглядывая на затянутый ряской пруд. Вода в нем стояла неподвижно и казалась зеленой. По ней, как по льду, скользили какие-то длинноногие насекомые. Высокие вербы безмолвно тянулись ввысь. Опавшая с них листва застилала греблю, густо плавала в воде.

Недалеко от берега, в камышовых зарослях показалась лодка. В лодке с книгой на коленях сидела Клавдия. В черных волосах ее пламенел красный цветок. Я невольно замедлил шаг. В ту же минуту Клавдия подняла голову, должно быть привлеченная стуком колес. Некоторое время равнодушно смотрела на нас. Потом вдруг приложила ладонь к глазам, закрываясь от солнца, и взмахнула веслами. Но выпустила их, заметив, что я не остановился. Конечно, она узнала меня. Или догадалась по повязке на шее. Но мне было все равно. Я даже рад был, что она не задержала. Для чего они, эти встречи? Да и Митька мог бы уличить меня в неправде. Ребятам я сказал, что сорвался с крыши сарая и поранился.

На площади толпились любопытные зеваки. Они смотрели на нас с Митькой, как на чудодеев. Три года простоял амбар пустопорожним. И вот его засыпают мукой. Было чему удивиться.

Митька предложил ребятам поработать. Некоторые из них охотно бросились к чувалам и мигом опорожнили их в закрома. А потом наперебой стали проситься взять их за остальным хлебом. Митька выбрал Яшку Полякова и Семку Сударикова. Все трое уселись в телегу и покатали в обратный путь.

Проводив ребят, я двинулся на верхнюю улицу. В конце этой улицы стояла участковая больница. Пора было показаться доктору и сменить повязку. Снова перед глазами возникла Клавдия. В лодке среди камышовых зарослей, с красным цветком в волосах.

Что это за цветок? Должно быть, роза, каких немало на комаровской усадьбе? Отказала она Мине или поддалась уговорам? А почему бы и не поддаться? Исстари богач с богачом роднились. И зачем это я тогда корил жениха? Что мне-то до их сватовства? И вообще, почему это я о ней

думаю?

— Вон из головы ее, эту Клавку, — решительно приказал я себе. — И никаких больше общений с ней...

Да, надо прекратить эти встречи. А то ну как ребята увидят. Кто знает, что подумают. Придется, чего доброго, рассказать правду. А как отнесутся они к такой правде? Почему, спросят, помиловал кулака? Тот же Илюшка обвинит в мягкотелости к врагу. А какая ж тут мягкотелость? Пятьдесят пудов муки за бесценок. Это ж такая поддержка бедноте. А отметки на шее... Они исчезнут так же, как и рубец от Комаровского кнута.

Но дома я рассказал, как было. Только попросил не передавать другим. Мать глубоко вздохнула и сказала, что скоро я потеряю и голову. Отчим возразил ей и выругал мельника.

— Этого кровососа вместе с его кобелем уже давно пора выдворить из Знаменки.

Нюрка же скривила розовые губы и равнодушно заметила:

— Охота печалиться. Заживет как на собаке.

А Денис, улучив минуту, когда мы оказались одни, признался:

— Эх, жалко, что не меня покусал. Я б тогда потребовал самого Джека. И ни на чем другом не помирился бы.

— Да на что он тебе, Джек? — удивился я.

— Как же? — пояснил Денис. — Собака-то умная. Такие штуки вытворяет. Забросят ей что-нибудь, найдет и принесет. Положат на нос кусочек чего-нибудь, замрет и не шелохнется. Пока не скажут: возьми. А как скажут, подбросит носом вверх и поймает на лету. Даже цыплят от коршунов караулит.

А я бы этого Джека выучил еще многому. Он бы у меня и на задних лапах ходил и через голову кувырчался бы...

Самого же меня эта история и вовсе не волновала. Вот только по ночам со мной творилось что-то неладное. Неожиданно я вскакивал и принимался ощупывать себя. Мне казалось, что я раздваиваюсь. И хотелось кричать. Не от боли, которой не было, а так, неизвестно от чего. Я с трудом удерживал челюсть на запоре, с усилием подавлял стон. Не хотелось, чтобы кто-либо услышал. Но мать все же как-то подслушала. И заставила меня признаться во всем. А потом, несмотря на запрет, проговорила и деду Редьке, когда тот подвернулся под руку.

— Мается малый. Места по ночам не находит. Ума не приложу, что делать.

Иван Иванович подергал себя за щуплую бороденку и глубокомысленно изрек:

— Собака, она что ведьма. До смерти испугать может. И выход тут один: клин — клином. Ишо раз испугать...

И предложил такую хитрость. Он приведет от родственников собаку. Тоже цепная. И огромная, как волкодав. Под стать Комаровскому Джеку. И вот, когда эта собака очутится у него в снях, мать должна послать меня к соседям за чем-нибудь.

— Как он, Хвиля-то, откроет дверь, она, собака-то, и кинется на него, — шептал дед Редька. — И опять испугает. И новым испугом старый из него вышибет... Да ты не тревожься, — добавил он, заметив, как нахмурилась мать. — Загрызть не дадим. Настороже будем поблизости. Ну, может, ишо раз прокусит шею аль что другое, тока и всего. Зато освободится парень от мук. Это уж без сумления...

Но мать все же отказалась от такого лечения. Она, как и все мы, хорошо помнила случай, когда вот таким же «клин — клином» угробили подростка. Кто-то испугал паренька, ударив его сзади. От испуга мальчик лишился речи. Мычит, как теленок, а, путного слова сказать не может. Родители где только не бывали с ним. Смотрели немого видные врачи, даже профессора. И все разводили руками. И вот тогда Васька Колупаев предложил этот самый «клин — клином». Потерявшая голову мать согласилась. На что не решишься ради единственного сына. Получив согласие, Васька подкрался к подростку и ударил его. Тот бросился бежать и во весь голос закричал:

— Ма... мааа!

И стал говорить. Да только стал говорить такое, что уж лучше бы молчал. Несет несурязицу, аж уши вянут. Одним словом, сделался дурачком. И опять родителям пришлось по докторам мотаться. Мотались несколько лет, пока сын богу душу не отдал. Разве ж мог устроить мою мать такой конец?

А вот совет отчима показался разумным. Придирчиво оглядев меня, он убежденно заключил:

— У тебя, сынок, по всей видимости, нервы. А когда у человека нервы, тогда считай дело табак. И тут уж без докторов не обойтись...

И вот я, вняв этому совету, явился в амбулаторию. В приемной никого не было, и я вошел в кабинет врача. Меня встретила молодая женщина в белом халате.

— Что такое?

— Собака.

— Какая собака?

— Обыкновенная.

Тонкими пальцами докторша размотала повязку.

— Что ж сразу не пришел-то?

— Некогда было.

Она промыла шею, прижгла чем-то, перевязала свежим бинтом.

— Подожди тут. Посоветуемся.

Прихрамывая, она вышла в соседнюю комнату.

И тотчас оттуда послышались голоса. Тонкий и басистый. Тонкий принадлежал докторше, а басистый — фельдшеру. Еще до революции этот фельдшер поступил в нашу больницу. А в последние годы даже заведовал ею. Только совсем недавно хромоногая докторша сменила его. Но, как говорили, сменила по должности. А по делам слушалась и подчинялась ему.

Я напряг слух. Докторша сказала, что обнаружила следы зубов.

— Уже несколько дней... Я прижгла и перевязала. Но...

— Что ж еще? Прижгла, перевязала и пускай себе гуляет на здоровье.

— А вдруг?

— Что «вдруг»?

— Мало ли?.. Может, будем лечить?

— Ну да, тратить лекарства попусту.

— А если, не дай бог?..

— Что «если»? Взбесится, что ли? Ну, тогда и будем лечить...

Не дожидаясь докторши, я вышел. В приемной увидел сморщенную старушку. С трудом поднявшись со скамьи, она засемила в кабинет, держа перед собой корзинку. В корзинке виднелись прикрытые рушником яйца.

Выйдя на крыльцо, я вдохнул свежий воздух. И невольно подумал над словами фельдшера. В самом деле, зачем тратить лекарства? И без них, права Нюрка, заживет как на собаке.

\*

Мать наотрез отказалась записаться в ликбез. Агитация, которой я подвергал ее чуть ли не каждый день, ни к чему не привела. Но нельзя было допустить, чтобы родительница секретаря ячейки и председателя селькресткома осталась неграмотной. Пришлось решиться на последний шаг. Я предложил матери заниматься со мной на дому. Мать подумала и согласилась.

— Так уж и быть, — сказала она с таким видом, как будто за бесценнок

уступала дорогую вещь. — Учи, раз другого выхода нету...

Обрадованный, я достал в школе картонную азбуку. В час, установленный для занятий, разложил ее на столе в горнице. Мать с опаской посмотрела на буквы, потрогала их заскорузлыми пальцами. Потом глубоко вздохнула и обреченно кивнула головой.

— Ну что ж, начинай, сынок. Видно, уж судьба такая...

Стало жаль ее, и я решил поскорей приступить к делу. Взяв букву «а», я сказал:

— Вот, ма, смотри. Это первая буква алфавита. Она произносится так: ааа! Ну-ка, повтори.

— Ааа! — протянула мать, подражая мне. — Ааа! Ааа! Ааа! — несколько раз пропела она, прислушиваясь к своему голосу. — Анна!

— Вот-вот! — обрадовался я, решив, что учеба началась успешно. — Нюрка наша как раз и состоит из этих четырех букв. Два «а» и два «н».

— Из чего состоит Нюрка? — недоверчиво переспросила мать.

— Из четырех букв. Вот, слушай. Анна. А-н-н-а.

— Да ты что? — удивилась мать. — Из каких таких букв состоит Нюрка? Да она ж, как все люди. А люди состоят из костей и мяса, прости господи.

— Да не сама Нюрка, — терпеливо объяснял я. — А Нюркино имя. Поняла?

— Поняла, — сказала мать, вставая. — А только хватит ученья. Хлеб пора печь. Тесто уже, поди, подошло...

Она ушла на кухню. А я сидел за столом и с отчаянием смотрел на разрисованные картинки. Что делать? Как быть?

На помощь пришел отчим. Он сказал, что сам будет учить мать грамоте. И когда она вернулась в горницу, так и объявил:

— С нынешнего дня, Параня, я твой учитель. Будем, значитца, грамоту постигать...

Мать остановилась перед ним как вкопанная. А потом вдруг разразилась таким смехом, какого никто от нее не слышал. И смеялась долго, то и дело вытирая глаза кончиком головного платка. А насмеявшись, сказала, ласково глядя на отчима:

— Ну и учудил, дед. Прямо смехота. Чуть живот не надорвала. Учитель. Куры захохочут. Не то что баба.

— А что тут смешного? — возмутился отчим. — Да я ее, грамоту-то, как пять пальцев знаю. И кого хочешь научу.

— Хватит! — сердито оборвала мать. — Тоже мне грамотеи! Да я не меньше вашего учена. И без грамоты умею все делать. Хлеб, пироги,

пампушки, пышки разные пеку? А в поле как работаю? Плохо поляю? Аль снопы мои никудышные? Может, не удало сено гребу? А кто обшивает вас? Так чему ж такому учить меня собираетесь?

— Грамоте, — пояснил отчим. — Чтобы, значитца, умная была. Читать и писать умела. И жизнью, как нужно, понимала.

— Жизнью я и без грамоты понимаю, — отрезала мать. — А в ученье вашем не нуждаюсь. Потому как и без того у меня делов по горло...

А тут еще сваты нагрязнули. Они уселись под матицей — толстой балкой, на которой держится потолок, и завели обычный разговор о купле и продаже:

— Слыхали, у вас сходный товар имеется. А у нас подходящий купец найдется. Так давайте сладимся и сторгуемся...

Купцом был парень из Сергеевки, которого и ждала Нюрка. Он понравился нам с первой встречи. Парня звали Гаврюхой. Высокий, чернявый, он выглядел почти красивым. Правда, немного заикался. Но это даже шло ему. К тому же недостаток покрывала простота и скромность. В общем зять как зять. И мы сразу же согласились. Впрочем, согласия нашего никто и не спрашивал. А высказали мы его на добровольных началах. Теперь уж не только отчим, а и сам нарком просвещения не в силах был бы уговорить мать заниматься ликбезом. Да и то сказать... Какая мать будет тратить время на азбуку, когда надо готовить единственную дочь замуж? Тем более что подготовка предстояла серьезная. По нашим обычаям даже самая бедная невеста и то не могла выйти замуж без приданого. А мы уже не считались бедняками. Стригун перевел нас в разряд маломощных середняков. И брат невесты, то есть я, состоял на руководящей службе. И по этим причинам никак нельзя было ударить лицом в грязь.

В эти дни мать и Нюрка работали без устали: шили, вязали, вышивали. Появилось ватное одеяло, простеганное замысловатыми узорами. Улеглись в сундук миткалевые простыни, подшитые кружевами. На кровати горкой выросли подушки, набитые куриным пухом. Возвращаясь с работы, я заставал мать и сестру перед тусклой коптилкой. Они трудились молча, лишь изредка перешептываясь. И часто терли красные и вспухшие глаза. Было жаль их. Утешало только одно, что это скоро кончится. И все же я с тоской смотрел на картонную азбуку. У других родители как родители. А у меня такая мать, что никак с ней не сладишь. А ведь одна в семье неграмотная. Мы же могли по очереди обучить ее. Так нет же. Не поддается никаким уговорам. Единственно на что согласилась, так это подтвердить при случае, что занимается на дому. Дело в том, что я раньше времени похвастался в ячейке, что занимаюсь с матерью. И конечно, стыдно было

признаться в бахвальстве. А кроме того, я все же не терял надежды на будущее.

\*

Что такое тюря, пожалуй, все знают. А мы не только знали, но и жили ею. До того как у нас появилась корова, тюря была частой гостьей на нашем столе. И было праздником, когда мать в воду с черными сухарями выливала несколько капель подсолнечного масла.

Но вряд ли кому известно, что такое потютюрник. А вряд ли это известно потому, что изобрел его отчим. Однажды, вылив в чашку бутылку самогону и крошив в нее черствый хлеб, он попробовал ложкой и, довольно цокнув языком, произнес:

— Ай да потютюрник!..

И с тех пор с нескрываемым наслаждением пользовался им. Хлебает ложкой потютюрник, закусывает красным перцем и побрякивает от удовольствия.

Но если тюря для нас в недалеком прошлом была каждодневной едой, то потютюрник отчим позволял себе лишь в редких случаях. Самогон стоил недешево, и мать соглашалась на непопозволенную роскошь только по большим праздникам. И каждый раз выговаривала отчиму, что он разоряет ее.

— Другой мужик как мужик, — причитала она, доставая откуда-то деньги. — Выпьет какой-нибудь стакан и на ногах не держится. А этот прямо-таки наказание. Цельное ведро не свалит...

Устойчивость отчима удивляла и меня. И как-то я спросил, сможет ли он за раз выпить больше бутылки. Отчим усмехнулся, погладил бороду и сказал:

— А ты попробуй. Купи, к примеру, парочку и преподнеси. И тогда увидишь...

Соблазн был велик, и я не удержался. С помощью сельсоветской уборщицы — начальства монополки побаивались — я достал две бутылки первача и принес домой. Мы выбрали время, когда в хате никого не было, и занялись опытом. Я вылил весь самогон в чашку. Отчим накрошил туда хлеба, положил перед собой два стручка перца и перекрестился.

— Пресвятая дева Мария! Не оставь мя, грешного, без милости. И допомоги победити супостата во искушении...

Он без передышки съел весь потютюрник. И, вытерев дно чашки

остатком стручка, как конфетку, швырнул его в рот. Потом закурил трубку и с удовольствием затянулся крепким дымом. И никаких перемен. Только щеки пылали ярче да улыбка стала шире и добрее.

— И как? — спросил я, глядя на него широко раскрытыми глазами.

— А никак, — загадочно усмехнулся он. — Можешь повторить...

И вот отчим сам не свой. Хмурится, кричит, стонет. Лицо неузнаваемо бледное, помятое. Будто за одну ночь старик переболел всеми болезнями...

— Лапонинский, — пожаловался он, когда я спросил о самочувствии. — Дьявольская отравка. Какое-то зелье подбавляет, черта ему в душу!..

И раньше ходили слухи об этом. А вчера на Нюркиной свадьбе они подтвердились. Когда свадебный поезд вернулся из соседнего села, где венчались жених и невеста, гости торопливо уселись за богатый стол. И с жадностью осушили по стакану первача, припасенного в избытке. Но тут же многие из них закашлялись, застонали и принялись глотать что попало. А длинноусый дядя жениха, подув перед собой, прохрипел:

— Лапонинский, убей бог! Прямо яд змеиный, ничуть не лучше!..

Я терпеть не мог самогона. Дважды пробовал и каждый раз задыхался. Но этого успел выпить глоток. И сразу почувствовал дурноту. А голова налилась тяжестью, будто к ней подступила вся кровь. Каково же было гостям, пившим самогон стаканами!

Я ушел в начале свадебного ужина. А утром мать, тоже жаловавшаяся на голову, сказала, что на свадьбе творилось что-то невообразимое. Гости скоро и совсем обезумели. Они орали до хрипоты, до одурения выбивали чечетку под колупаевскую гармонь и безжизненно валились на пол, как чувалы. Многие из них стонали, будто их казнили, и, как припадочные, корчились в судорогах.

— Как перебесились, — вздыхала мать. — И с чего бы это?

— С лапонинской самогонки, — сердито ответил отчим. — А она у него травленая. Это уж как пить дать верно. В таком деле меня фокусами не проведешь... — И опять со стоном закачался в стороны. — Вот бы накрыть и распознать отраву...

Накрыть и распознать. Эти слова не давали мне покоя. Выследить и разоблачить. Гнать самогон — преступление. А если еще с отравой... Может, это вредительство? Один из способов кулацкого саботажа?

Ребята тоже прониклись тревогой. И на редкость серьезно обсуждали задачу. Выдвигались смелые, даже фантастические планы. Но все после споров отвергались как несбыточные. Трудно было подступиться к лапонинской крепости. А проникнуть в ее тайну и совсем казалось невозможным.

Расходились медленно и неохотно. Надеялись, что в самую последнюю минуту кого-либо осенит мысль. И выход из безвыходного положения обнаружится. Но мысль никого не осенила, и ребята один за другим разошлись. Я задержал Машу. Она осталась и, когда мы оказались одни, потребовала проводить ее.

— Оторвал от попутчиков, так сам меряй концы...

Я без возражений согласился «мерять концы», и мы, потушив лампу, вышли из комнаты. Ночь стояла тихая, морозная. С неба падал снег. Улица выглядела пустынной. Лишь кое-где мерцали огоньки. Издалека доносилась песня. Звонкий голос взлетал в морозную высь, бился там, трепетал, как диковинная птица. Потом стремительно падал вниз и, подхваченный другими голосами, звенел, разливался над балкой. Это был голос Ленки Светогоровой, карловской певуны. Да, конечно, это она, Ленка, выводит так высоко и дивно. Кто же другой способен забираться голосом в самое поднебесье?

Маша тронула меня за руку и спросила:

— Что ж ты молчишь, Федя?

— Слушаю песню, — ответил я, почему-то вздохнув. — Ленка наша запекает. Вот девчонка!

Опять шли молча. Снег скрипел под ногами. Иногда Маша прижималась плечом, и мне становилось теплее. И только ноги коченели. Валенки старые и худые. Соломенная подстилка потерлась и высывалась из дыр. Надо было заменить ее, но я все забывал об этом.

— А меня зачем задержал? — снова спросила Маша, и в голосе у нее слышалось недовольство, будто она не одобряла мой восторг. — Для какой надобности?

Неожиданно песня оборвалась, и тишина снова затопила все вокруг. Я взял Машу под руку и сказал:

— Вот какое дело, Машенька. Ты ведь крестница Лапонину? Так?

— Так, — подтвердила Маша. — А только я-то тут причем? Не я же напросилась ему в крестницы.

Отец и мать уговорили, когда батрачили у него. Надеялись, притеснять меньше будет.

— А я и не виню тебя, — сказал я. — Да и родители твои не виноваты.

Нужда заставила богача честить. Все это ясно. А напомнил я об этом по-другому. Может, ты возьмешь на себя задачу?

— Какую такую задачу?

— Да лапонинскую. Кроме тебя, никому из нас не проникнуть к ним. И не разоблачить махинацию.

Маша подумала и спросила, что должна делать. Не ответив, я поинтересовался, как ведет себя с ней Миня.

— Как ведет? — с удивлением переспросила Маша. — Да никак. У них я не бываю. А когда случаем, встречаемся, нос воротит. Прошлый год, когда работала у них, жилы вытягивал, гад. Все мало да все не так. Мы же для них скот, а не люди.

— А сама ты к нему как относишься?

Маша с недоумением глянула на меня.

— Как это — сама отношусь? О чем спрашиваешь?

— Как его считаешь? По-твоему, что он представляет из себя как парень?

Маша даже не сразу нашла, что ответить.

— Да какой же он парень? Тип поганый. И дурак набитый.

— А могла бы ты притвориться? — продолжал я. — Ну хоть нанемного, чтобы в доверие втиснуться. И через него разузнать...

Маша долго не отвечала. Она заметно колебалась. Я не понимал этого и начинал горячиться:

— Ну что тебе стоит? Попробуй. Как говорится: испыток не убыток. Авось что и получится. Прикинешься любезной. Шла мимо и заглянула. Проведать. И так это подкатись к нему, Прыщю. Растормоши его. Глядишь, и проболтается. Хоть чуточку. Чтобы ухватиться. Другого ничего нет. А дело серьезное. Отраву они подбавляют неспроста.

— Миня дурак, — повторила Маша в раздумье, будто говорила с собой. — Но он и трус. Перед отцом дрожит... И вряд ли раскроет рот. А если нагрязнуть с обыском?

— Обыск может погубить все. Вдруг ничего не обнаружится? Не каждый же день они курят! Да обыск и не уйдет. Сперва надо испробовать другое. И разведать. Вот ты и займись. Может, разведчица из тебя получится? А не получится, еще что-либо придумаем. А ничего не придумаем, тогда уж и на обыск решимся. Моську Музюлю позовем...

У Чумаковой хаты мы остановились. Маша расстегнула полы ватной кофты, сбросила на плечи теплый платок. Ей точно было жарко на морозе. Я же готов был плясать от холода. По дороге солома вывалилась из рваного валенка, и теперь пальцы неуютно выглядывали наружу.

— Значит, ты хочешь, чтобы я попробовала!.. — Маша приблизилась ко мне, и я увидел в глазах у нее яркий блеск. — И стала разведчицей?

— Да, да! — горячо сказал я. — Попробуй. Очень важно. Понятно, тут есть риск. Они могут заподозрить. И тогда... И я боюсь больше не Мини, а Демы. Этот головорез... Но нам приходится рисковать чуть ли не на каждом шагу. А возьмем революционеров. Кто из них задумывался, когда надо было жертвовать ради революции?..

Маша порывисто припала ко мне. Так стояла несколько секунд. Потом так же быстро отстранилась, заглянула мне в глаза и ушла. А я, потоптавшись у чужого двора, повернул обратно и, пытаясь согреться, заспешил по накатанной и скрипучей дороге.

\*

Несколько дней Маша не давала о себе знать. И вдруг явилась в сельсовет, где я безмятежно подшивал в папку документы. Подошла к столу, странно улыбнулась, словно извиняясь за что-то. Я отложил шило, которым прокалывал бумаги, и встал, предчувствуя неладное.

— Что?

Маша глянула мимо меня в окно, затянутое морозным узором, и сказала.

— Самогон, который гонят Лапонины, табачный.

Я не понял.

— Как это табачный?

— А так... В опару табак добавляют.

— Зачем?

— Для крепости. И для выгоды. — И, видя, что я все еще не понимаю, пояснила: — С табаком он намного злее. Они и разбавляют его водой. Отсюда и выгода...

Вот от чего дурман! Вспомнилась Нюркина свадьба. Перед глазами возникли багровые лица гостей. Если бы они знали, чем их дурманили!

— Как же ты узнала об этом?

Маша присела к столу, сплела изредка вздрагивавшие пальцы.

— Я все не знала, как подступиться. А вчера придумала и зашла к ним. Поздоровалась — и прямо к Петру Фомичу. Не дадите ли денег в долг? На юнг-штурмовку, то есть комсомольский костюм, требуются. Петр Фомич аж позеленел. На хлеб попросила бы, говорит, и то не дал бы. А на эту пакость... Да как у тебя язык повернулся? И вообще, говорит, не туда

забрела. Тут для тебя чужие. И мне ты больше не крестница. И опрометью — из дому. А я про себя усмехнулась. На то и рассчитывала. И жалобно глянула на Миню. А он догадался и к себе зовет. Заходим, садимся, честь по чести. Ты, говорит, на отца не обращай внимания. Он у нас немного меченый. На деньгах помешанный. Не только тебе, нам отказывает. Правдами и неправдами добывать приходится. И все же я, говорит, кое-что скопил. Могу ссудить на эту самую юнгштурмовку. Только за это ты будешь рассказывать мне обо всем, что комса ваша замышляет. Я, конечно, прикинулась оскорбленной. Ты что ж, говорю, хочешь, чтобы я товарищей предавала? А он мне на это: твоим товарищам все равно скоро крышка. Так что, говорит, не очень-то держись за них. Лучше нам помогай. А мы и денег дадим. И услугу припомним. Вот так, гад, напевает. Я делаю вид, что колеблюсь. А потом свое условие ставлю. Денег, говорю, много не дашь. Знаю, какой ты скряга. За копейку мать продашь. Лучше помоги в другом. Тогда, может, и сговоримся. Расскажи, спрашиваю, из чего самогон гоните. Не зря же ваш на обычный не похож. А зачем, говорит, тебе знать об этом? Я прикидываюсь овечкой: сами намерены попробовать. И хоть малость подзаработать. Хлеба-то лишнего нет. Вот ты и помоги. И тогда на юнгштурмовку не придется у тебя одалживать. Он и признался. Табак, говорит, подбавляем. Тот, говорит, какой на огороде выращиваем. Таковую дает крепость, что лошадь свалится. А потом водой разбавляем, ведро на ведро. И загребаем денежки. Я выслушала и говорю: это как раз то что нужно. Табак и у нас есть. Только сколько его требуется? И как он употребляется? Тут Прыщ мнетя и предлагает зайти вечерком. Рассказывать трудно, говорит, надо показать, что и как...

Жадность кулаков казалась непостижимой. Но только ли в жадности дело? Может, и правда вредительство? Предположение перерастало в уверенность. Да, это вредительство. И ничто больше.

— Кулаки — жадные твари, — сказал я Маше. — Но дело тут не только в жадности. С табаком они гонят самогон не ради одной выгоды. Тут и другое. Вражеская работа. Одурманить людей, вывести из строя, лишить воли к борьбе. То же, что и опиум. А может, и того хуже. И мы должны разоблачить их. Надо узнать, где и когда они гонят этот табачный. Вот только как это сделать?

В мозгу возникали и тут же исчезали планы. Установить наблюдение? А как проникнуть во двор? Нагрянуть с обыском? Но в это время они могут не гнать. Отобрать самогон и отправить на проверку? А куда отправить? Кто и где может установить, какой он, этот самогон?

— Ничего не приходит в голову, — признался я. — Орешек не по

зубам.

Маша убрала руки со стола и выпрямилась.

— А если я пойду к нему?..

Я подумал над ее словами и почувствовал страх.

— А не замыслил ли он чего-нибудь?

— Все может быть. Но, может, и вправду надеется. Вдруг стану шпионкой? А если не так, зачем ему было признаваться? Ведь он рассказал такое... Нет, тут, должно быть, все так. Он покажет и расскажет. И мы разоблачим их...

Во мне боролись противоречивые чувства. Я и боялся и надеялся. Что, если это ловушка? Но, может, глупый расчет.

— Я не знаю... Надо все взвесить...

— Ты же говорил: революционеры ни перед чем не останавливаются.

— Да, но... риск — крайность...

Маша встала, снова глянула мимо меня в морозное окно.

— Я пойду к нему...

Я наклонил голову, покоряясь ее решимости.

— Только будь осторожна. И в случае чего...

Маша не дослушала и вышла. А я возбужденно прошелся по комнате и не без злорадства сказал:

— Берегитесь, сволочи! Теперь-то мы выведем вас на чистую воду.

\*

Беднота не давала покоя. Каждый день в селькрестком набивалось множество посетителей. Вдовы часто прихватывали с собой голопузых малышей. Да и сами выряжались в последнее тряпье, чтобы разжалобить начальство. И на все лады требовали подмоги. Однако перепадали и другие встречи. То кто-то из бедняков заявлялся не с просьбой, а с дельным советом. То какая-либо солдатка признавалась, что просила меньше, чем дали. И тогда досада сменялась радостью. Нет, не все, как видно, в нужде теряют достоинство. А у иных невзгоды и лишения даже пробуждают гордость.

И этот день ничем не отличался от других. С утра явилось несколько женщин. Пошумели, поскандалили и уселись рядком на скамью. И завели разговор о жизни, какая была не лучше мачехи. Но я не прислушивался к их жалобам. Занятый бумагами, я ни на что не обращал внимания. Внезапно кто-то тронул меня за плечо. Это была средних лет женщина с

изможденным лицом. Худые плечи покрывала старая, латка на латке, мужская поддевка. Из-под ветхого шерстяного платка выбивались жиденькие пряди седых волос.

— К тебе, товарищ, — скорее простонала, чем проговорила женщина. — Помоги ради Христа. Сынишка захворал, Семка. Докторша в город приказала доставить. А на чем? Бедные мы. Ни кола, ни двора. Вот и пришла за милостью. Назначь какую подводку. Аль дай денег нанять. Не то помрет Семка-то.

Устинья Карповна Сударикова, бедная вдова. Мужа похоронила в голодный год. Осталась с целой кучей ребятишек мал мала меньше. Самый старший, Семен, был за хозяина. Вместе с матерью он батрачил у кулаков, добывая для братьев и сестер хлеб. И вот он слег, Семка Судариков, надежда и утешение семьи. Да так слег, что в нашей больнице отказались помочь. И предложили отправить в город. К хирургам на операцию. Вот и явилась она, Устинья Карповна, за подмогой. А раньше никогда не показывалась. И не потому, что не нуждалась, а потому, что робела и скромничала.

— Сколько нас, бездельных-то? — оправдывалась Устинья Карповна. — Вот и думала: может, кому труднейше, чем мне? Перехвачу кусок и оставлю беднягу голодным. А нынче никак уж не обойтись. Помрет Семка без помощи...

Лошади в кресткоме не было, и я выдал деньги. Кое-как Устинья Карповна вывела свою фамилию на расходном ордере. Засунув деньги за пазуху, она неловко обняла меня и поцеловала в щеку.

— Спасибо, родной! Бога молить буду, чтобы здоровьем не обделил.

— А ты будь посмелей, тетка, — посоветовал я, растроганный ее чувствами. — Посмелей и понастойчивей. И требуй своего, добивайся. Ты же не просто какая-нибудь баба, а народ. Народ, понимаешь?

Устинья поморгала красными, вспухшими веками и нараспев сказала:

— И-и-и, какой я народ? Так, может, народника какая. Только и всего.

— Вот, вот, народинка! — обрадовался я. — Ты народника. Вот она народинка... — Я показал на вдову, стоящую у окна. — Вот она народинка. Она... Она... Она... — Я показывал на женщин, сидевших на скамье. — А все вместе мы народ. Сила!

Лицо Устиньи просветлело, морщинки на нем разгладились. Она поклонилась мне и с чувством повторила:

— Спасибо, родной! Уж так выручил. Сама буду помнить. И детям закажу...

Неслышно ступая стоптанными валенками, она вышла. За ней, будто

чем-то пристыженные, двинулись к выходу другие бабы. Оставшись один, я принялся ходить из угла в угол. Народинка! Как хорошо сказано! И как верно! Но почему же она робела и скромничала? Ведь селькрестком существует для бедных. Или он для ловкачей, умеющих взять за горло? И что это с Семкой стряслось? Такой крепкий парень и свалился. И как долго будут лечить его городские врачи?

Мысли прервал скрип двери. На пороге стояла Маша. Она смотрела на меня округлившимися глазами. И будто не решалась войти. Я поспешил к ней, взял за руки и сказал:

— Ну здравствуй! А я так ждал. Почему задерживалась?

Маша вошла, привычно расстегнула полы теплой кофты, сбросила на плечи пуховый платок. Я выглянул в коридор — не подслушивает ли кто? — и на крючок закрыл дверь.

— Ну рассказывай. Узнала что-либо?..

Маша прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Потом открыла их, снова глянула на меня и глухо сказала:

— Да, узнала.

— Где стряпают? Где и в какое время?

— Курня в заднем сарае. С правой стороны. А в курне — плита, котел и аппарат. Гонят по субботам. В полночь или на рассвете...

Я заглянул в ее осунувшееся лицо.

— Это точно?

— Можешь не сомневаться.

— Та-ак... — протянул я, потирая руки. — По субботам. В полночь или на рассвете. Так... Теперь мы вас накроем, подлые винокуры...

Я снова возбужденно зашагал по комнате. Да, уже не за горами время, когда рухнет кулацкая крепость. Сначала одна, потом другие. Все падут под нашими ударами. И ничто не спасет эксплуататоров от народного возмездия.

— А что ж не спросишь, как я добилась этого? — Голос Маши показался странным, даже язвительным. — И чего это мне стоило!

Я остановился перед ней, глупо переминался с ноги на ногу.

— Прости, Маша... Забылся... От радости... Надеюсь, ничего особенного?

— Ничего особенного!.. — Она снова закрыла глаза, постояла так с минуту и опять ударила меня жестким взглядом. — Ну, так слушай... Он завел меня в курню и закрыл дверь на ключ. Все рассказал и показал. А потом... — И вся содрогнулась, как от боли. — Долго издевался, гад. Весь вечер не выпускал... Отбивалась изо всех сил... Вся измучилась... Но не

поддалась... — И глубоко вздохнула. — А он... гнусная тварь... что только со мной не делал!.. Вот посмотри...

Дрожащими руками она расстегнула кофточку. Я невольно шагнул к ней. Грудь ее сплошь была покрыта кровоподтеками.

— Машенька! — ужаснулся я. — Как же это он, вражина? Да за это его задушить мало!

Она торопливо застегнулась, будто устыдилась.

— Я устояла... Но могло случиться... И тогда я не пережила бы...

— Маша! — сказал я, дрожа, как в лихорадке. — Я же предупреждал. Помнишь?

Она снова скривилась в болезненной усмешке.

— Как же, помню. Ты предупреждал. Но думал не обо мне, а о них. Они тогда занимали тебя больше всего.

— Хорошо, — согласился я, чтобы успокоить ее. — Пусть так. Но ведь все же это...

— Ради революции? — перебила она. — Так? А не ошибаешься? По моему, революции не нужны такие жертвы.

— Прости, Маша, — сказал я, покорно стоя перед ней. — И поверь... Если бы я только знал... Ты же победила... А что до этого гада... Идем к доктору. Сейчас же идем. Возьмем свидетельство и посадим его в тюрьму...

По губам Маши снова скользнула горькая усмешка.

— А как я докажу, что это он? Да и на что мне такая слава? Хватит того, что было. И я прошу... никому ни слова об этом. И буду рада, если и он не натреплется...

Отбросив крючок на притолоке, она вышла. Хлопнула входная дверь. Стук вывел меня из оцепенения. Я бросился в коридор. Но у входа остановился. Что скажу? Чем успокою?

Вернувшись в комнату, я припал к проталине в морозном окне. И через минуту увидел Машу. Забыв набросить платок, она устало шла по улице. Мелкий снежок покрывал ее льняные волосы. И мне казалось: это трудная ночь состарила ее, посеребрила голову.

\*

Это случилось месяц назад. Неожиданно к музюлевской хате подкатила милицейская тачанка, запряженная двумя рысаками. В тачанке восседали Максим во всей своей милицейской красе и чернявая девушка в

плюшевой кофте. Толстая коса ее была перевязана большим красным бантом.

Выбежавшей навстречу матери Максим тоном приказа объявил:

— Законная жена. Любить обязательно. Драк не допускать. От ругани тоже воздерживаться...

И каждый вечер стал являться домой со службы, меряя ногами версты. Но о ней, роговатовской девице, никто так ничего и не узнал. За целый месяц она ни разу не показалась на людях. И тем вызвала разные пересуды и кривотолки. Одни говорили: захворала после брачной ночи. Другие утверждали: муж боится дурного глаза. Но скоро те и другие мало-помалу угомонились, довольные, что участковый был под рукой. Мало ли что могло случиться?

Так и я в этот субботний вечер вдруг почувствовал, как важно, что страж порядка женился. Теперь-то его наверняка можно застать дома рядом с молодой женой, которую он так оберегал. Но жены Максима дома не оказалось. И ни малейших признаков пребывания ее у Музюлевых не бросалось в глаза. А у самого Максима был необычный вид. В полной форме он лежал на кровати, забросив начищенный сапог на сапог, и кольцами выпускал дым изо рта. Рядом на постели лежала сталью сверкавшая шашка, а по другую сторону с кровати свисал в кожаной кобуре наган.

Я осторожно приблизился, на всякий случай покашлял.

— Здорово, Максим!

Он нехотя оглянулся.

— Здорово, если не шутишь!

— Что подельываешь?

— А ты что, не видишь? — послонявив окурок, он ловким щелчком прилепил его к потолку. — Скучаю.

Я неуместно рассмеялся.

— Это отчего же?

— Оттого, что скучно. — Сбросив ноги на пол, он встал, оправил гимнастерку под поясом и прошелся по хате. — Каждый день — одно и то же. Воришки, жулики, драчуны. Мелочь. Ни одного приличного дела. — И звонко щелкнул в воздухе пальцами. — Шаечку бандитов бы! Вот тогда бы да! Ну, не шаечку. Где ее взять, шаечку? Хотя бы одного бандюгу. Пусть даже самого захудалого. А то надоело. Скучота.

Он звучно зевнул, потянулся, похрустывая косточками. Не сдержав любопытства, я спросил:

— А где жена?

Максим остановился посреди комнаты, точно застигнутый врасплох.

— Прогнал.

Трудно было скрыть удивление.

— Да за что же?

— Так... Неизячная... — И вдруг весь озлобился. — А тебе-то что надо? Какого черта явился? За жену заступаться?

— Успокойся, Максим, — сказал я, отступая назад. — Насчет жены просто так. Скучаешь же. Вот и полюбопытничал. А явился по делу. Самогонщиков обнаружили.

— Винокуры, — процедил Максим. — На них ничего не заработаешь. Да и не хочу со своими скандалить...

И присел на кровать, намереваясь снова улечься. Надо было стряхнуть с него безразличие.

— Скажи, Максим, ты пил лапонинский самогон?

— Откуда я знаю, чей он! — огрызнулся Максим. — Монополки не докладывают, где берут.

— А ты пил у Домки Земляковой?

— Ну, пил. И что из того?

— А то, что это и есть лапонинский.

— Ну и черт с ним! — рассердился Максим. — Мне наплевать. И убирайся.

Но я не двинулся с места.

— А ты знаешь, что этот самогон из табака?

Я рассказал все, что знал о табачном самогоне. Максим встал и снова прошелся по земляному полу.

— Не брешешь?

— Честное комсомольское!

Максим застегнул ворот гимнастерки, снял с гвоздя шинель.

— Пошли...

Пришлось удержать его. Надо было застать их на месте преступления. А для этого еще было слишком рано. Максим опустил на лавку у стола, покрутил головой, точно разгоняя дурман.

— А я-то, бывало, думаю: что за дьявол? Выпьешь какой-нибудь стакан — и места не находишь. А оно вон что! Табак. Ну и сволочь это кулачье! Из-за денег людей травят. Погодите же! Теперь-то я доберусь до вас...

Я пообещал зайти в полночь и вышел. Теперь он сам будет подогревать себя. И к полуночи так распалится, что ничем его уж не затушишь.

Погода стояла мягкая, безветренная. Почти каждый день сыпал снег. Часто из-за бурных туч выглядывало солнце. А по ночам высокое небо сияло звездами.

Но в эту ночь как нарочно подул ветер, завьюжил неслежалые сугробы. И поднялся невообразимый шум, будто небо разом выпустило на землю всех злых духов.

Накануне Илюшка Цыганков разведал обстановку и теперь безошибочно подвел нас к курне.

— Тут...

Максим снял шапку и приложил ухо к двери. Так стоял долго, прислушиваясь. Потом притянул меня. Я тоже приложился к холодным доскам и ничего не услышал. Может, там никого не было? Или мешал шум бури?

Коротко посоветовавшись, мы решили действовать. И все вместе навалились на дверь. Не выдержав напора, она сорвалась и с грохотом распахнулась. Мы переступили порог и очутились в какой-то темной каморке.

Я протянул руки, чтобы ощупать стены, но в ту же минуту перед нами открылась другая дверь, и в неярком свете встал Лапонин.

— Кто?..

Максим приставил к его груди наган и сказал:

— Именем Советской власти!..

Лапонин испуганно отступил, и мы вошли в курню. Керосиновая лампа слабо освещала обмазанные глиной стены. В углу стояла закопченная плита с котлом. Рядом — аппарат со змеевиком. Из гнутой трубки в стеклянную банку выплескивалась мутная жидкость.

Я подошел к котлу, снял с него крышку. В нос ударил резкий запах табака, перемешанный с хмелем.

— Табачный!

— Гррражданин Лапонин! — произнес Максим. — Вы аррррестованы!

— За что? — нахмурил тот бесцветные брови. — За какую провинность?

— А вот за эту самую, — сказал Максим. — За самогонокурррение...

Лапонин ощерил гнилые зубы, точно собирался укусить милиционера.

— Не имеете права. Это мое добро. И я хозяин. Что хочу, то и делаю.

— Добрррро нарродное, — перебил его Максим. — Вами

нагррабленное. Но об этом потом. А сейчас запротоколим. Вы не пррросто гнали самогон, а и занимались вредительством... — И приказал: — Одевайсь! Живо!..

Лапонин надел полушубок, на голову натянул треух, достал из кармана рукавицы. Я заглянул ему в запалые глаза.

— Где Дема и Миня?

Лапонин вздрогнул, весь напрягся, будто собираясь кинуться в драку.

— Их не тронь! — крикнул он. — Они ни при чем. Один я. Меня и берите. А их не тронь!

— Ладно, — согласился Музюлев. — Пока возьмем одного. Уважим. А до них потом. Не уйдут... — И, ткнув наганом в сторону котла, приказал мне: — Набрать месива. Для вещественного доказательства...

Придержав дыхание, я наложил опары в кружку, которую взял с полки, и тряпкой, валявшейся там же, обвязал ее. Максим показал Лапонину на дверь.

— Пошли!..

Мы с Илюшкой последовали за ними. Буран не утихал. Даже в замкнутом дворе бесновался как сумасшедший. А на улице с силой швырял в лицо колючим снегом. И чуть не валил с ног.

Мы двигались гуськом, прижимаясь друг к другу. Я думал о Маше. Теперь ей будет легче. Враг разоблачен и схвачен. Пресечена и обезврежена подлость.

Но самого это не успокаивало. Неужели Миня так-таки и ускользнет?

Из темноты выплыло бесформенное здание сельсовета. Своим ключом я открыл дверь, зажег лампу. Максим втокнул Лапонию в «холодную». Так называлась комната для арестантов. Но она уже давно пустовала. И замок от нее куда-то исчез. Илюшка набросил скобу на петлю.

Составив протокол, Максим дал нам как понятым расписаться.

— Теперь вот что, братва, — сказал он, пряча бумагу в нагрудный карман гимнастерки. — Придется караулить арестованного. А утром я заберу его и препровожу в район...

Мы оба вызвались дежурить по очереди. Максим отстегнул кобуру с наганом.

— Возьмите. А то вдруг сыновья нагрянут. А их голыми руками не одолеть. Да осторожней, — предупредил он, наблюдая, как Илюшка целится в рыжее пятно на стене. — Самовзвод...

Проводив Музюлева, я закрыл входную дверь на замок и присел на табурет у двери в «холодную». А Илюшка, положив голову на руки, скрещенные на столе, уже посвистывал носом.

Вслед за Максимом и арестованным Лобачев и Апанасьев тоже отправились в район по какому-то делу. В сельсовете остался один я. Да в передней на табуретке тянул козью ножку сельисполнитель.

Тяжелые мысли продолжали мучить меня. А может, Прыщ не случайно избежал участи отца? Рассказав Маше правду, он, конечно, ждал налета. И держался подальше от курни. Но почему же он все-таки рассказал правду? Ведь ему ничего не стоило наврать в три короба. И почему не предупредил отца об опасности?

А перед глазами стояла Маша. Бледное, осунувшееся лицо... Кровоподтеки на теле... Гневный, негодующий голос... До чего же мерзостный этот Миня!

И неужели издевательство должно сойти ему с рук? А может, он все же верил Маше и не подозревал? И теперь нелегко снесет новость об аресте отца? Вот сейчас вызвать и сказать обо всем. Нанести неожиданный удар. И хоть так отплатить за гнусность.

Не раздумывая больше, я предложил сельисполнителю привести Миню в сельсовет. И принялся готовиться к встрече. Сразу же, как войдет, бросить новость в лицо. Отец арестован... Схвачен на месте преступления... Или лучше начать с самого. Где был ночью?.. Почему не помогал отцу на курне?.. А потом взять на пушку — и ему не уйти от кары. Вслед за отцом засадим в каталажку.

Миня вошел пугливо, как нашкодивший пес... Но, увидев, что я один, выпрямился и растянул толстые губы.

— Ты, что ли, потревожил? В чем дело, выкладывай. А то некогда рассусоливать...

В дубленом полушубке, черных валенках, барашковой шапке, он стоял передо мной и нагло гримасничал. И мне стоило больших трудов сохранять спокойствие. Ярость закипала в душе, сильнее огня жгла сердце. С каким наслаждением я уничтожил бы этого человека, если его можно считать человеком!

— Да, это я потревожил тебя. А потревожил затем, чтобы сообщить новость. Нынче ночью мы взяли твоего отца в курне. Взяли в тот момент, когда он стряпал табачный...

Миня выпучил слюдяные глаза.

— Так это ты? — И снова противно растянул губы. — Ну что ж. Коль так, то спасибо...

Я не ожидал благодарности и даже несколько растерялся.

— За что же спасибо?

— Ну как же! Отца помог пристроить. Такое дело... — И притворно захихикал. — А я-то думал... Моська Музюля удочку закинул. А на крючок Машку нанизал. А это ты. Не комса, а чудеса. — И опять забулькал поганым смешком. — Ну что ж. Хожу в открытую. И раскрываю козыри. До печенок затиранил родитель. Такой стал жлоб. То не так, это не этак.

И все норовит в зубы. Просто беда. Не знали, как унять. Я уж хотел донос учинить. Письмо без подписи прокурору. Так и так... Да не успел. Машка опередила. Незвано на помощь пожаловала. Расскажи, сами желаем подзаработать. Вот, думаю, Моська какой кралей пошел! Ну, ну! Давай, давай! Может, и кралю тузом побью и батьку со двора сплавлю. А это, выходит, не Моська, а Хвиляка... — И весело, будто приятелю, подмигнул: — Теперь все понятно. Подсуну, мол, Мишке Машку. Растает и разболтает. За дурака посчитал, а в дураках-то сам остался. И вышло дышло. Так-то... А что до Машки... Я хоть и не добился, чего хотел, а все же помучил ее. Так помучил, что надолго запомнит. Всю по косточкам руками перебрал...

На что же он рассчитывал, подлец, подливая масла в огонь? Надеялся, что все сойдет безнаказанно? И что в сельсовете не посмеют тронуть? Но в эту минуту я не помнил, где я и кто я. Собрав всю силу в кулак, я ударил его в лицо. Он шарахнулся назад и, наткнувшись на табурет, грохнулся на пол. Я бросился к нему, готовый топтать его ногами, но в дверях показался сельисполнитель.

— Что за шум?

— Споткнулся о табуретку, — сказал я, нехотя возвращаясь на свое место. — Помоги, что ли...

Сельисполнитель поднял Миню, посадил на табурет.

— Полегче надоть, — многозначительно посоветовал он, выходя в коридор. — А то не поднимать, а выносить придется...

А Миня мычал что-то нечленораздельное и вертел головой. Похоже, удачно приложился затылком к полу. Но все же он Пришел в себя и встал.

— Ладно, Хвиляка, — прошипел он, трогая вздувшиеся губы. — Дождешься и ты. Придет и твой черед.

— Ладно, — в тон ему ответил я. — Поживем — увидим. А пока вот что. Насчет Маши запрй хайло на замок. И не вздумай бахвалиться тем, чего не было. Иначе башка оторвется.

Миня презрительно хмыкнул.

— А башку оторвешь ты?

— Нет. Я не стану поганить о тебя руки. Это сделает твой брат Дема.

Набрешешь на Машу — раскроем ему глаза. И он узнает, кто загнал отца...

Угрстное лицо Мини побледнело.

— Так он и поверил вам!

— Поверит. Можешь не сомневаться. Вот так. А теперь убирайся...

Но Миня не двинулся с места. Он лишь переступил с ноги на ногу. Распухшие губы передернулись. Изо всех сил Прыщ старался казаться спокойным, хотя готов был расхныкаться.

— Ладно. Замкнись. А только и ты помни. Демка оторвет не одному мне башку. Он и твою не пожалеет. Отец сел в тюрьму и по твоей вине.

— На том и поладили, — заключил я. — А теперь вон отсюда! Да скажи спасибо, что дешево отделался.

Когда за Миней закрылась дверь, я беспомощно опустился на стул. И так, не мы, а он, гадливый Прыщ, обвел нас. Над Машей поиздевался, отца сбагрил и сам сухим из воды вышел. И во всем этом виноват я. Только я и никто другой. А виноват потому, что слишком понадеялся на себя и недооценил врага.

Враг же оказался куда хитрее и коварнее, чем представлялось нам.

\*

Захотелось повидать Машу и рассказать о событиях. Лапонин арестован. Махинация разоблачена, и предотвращена большая беда. Может, от этого ей, Маше, станет легче? И боль от перенесенных страданий притупится? Ведь страдания оказались не напрасными.

Бури как и не бывало. В морозном воздухе кружились снежинки. Занесенные сугробами белые хаты поблескивали оконцами. Впрочем, не все хаты белые. Некоторые из них для тепла обложены кугой. И не все оконца поблескивают стеклами. Многие звеньшки заделаны тряпками либо забиты дощечками. Не за что да и негде бедноте купить стекло. Может, не только о хлебе, а и о быте следует крестному позаботиться?

На улице оживленно и весело. Шумно гоняют на санках с горок ребятишки. У обледенелых колодцев заливаются смехом молодки. Кому на этот раз промывают косточки сплетницы? Звонко повизгивают полозья розвальней. Вороная от инея кажется покрытой серебристой шалью.

Но взгляд мой по всему скользил без задержки. А ноги торопились, как на праздник. Скорей повидаться с Машей. Обрадовать и успокоить ее. Ведь это благодаря ей удалось обезвредить кулацкую гидру.

Дома у Чумаковых был один только дед. Подслеповато щурясь, он

перед окном дратвой подшивал валенок. Незваного гостя встретил настороженно. Видно, принял за налогового агента. Но сразу подобрел, узнав, кто я и зачем пожаловал.

— Так ты про Машутку? Нетути. Намедни уехала. Куда уехала-то? Да в город подалась. Родственница у нас там. Вот Машутка-то к ней и укатила. Когда повертается? А кто ж ее знает. Может, скоро, а может, и нет...

Назад я плелся медленно и устало. Давала себя знать бессонная ночь... До утра я не сомкнул глаз. Не хотелось будить Илюшку. Да и побаивался братьев Лапониных. Вдруг нагрянут. Тогда наган должен быть в моих руках. И я сидел в передней перед дверью «холодной», время от времени поворачивая барабан с патронами. Но братья Лапонины так и не нагрянули. Либо крепко спали, либо сами струсили. И ночь прошла спокойно. Даже старый винокур ни разу не дал о себе знать, будто тоже мертвецки спал...

«Уехала, — думал я, с усилием переставляя ноги. — Собралась и уехала. Даже не предупредила. Но ничего. Может, там ей будет легче? Поживет немного, успокоится и вернется. И тогда порадуетя вместе с нами. Порадуетя тому, что помогла разоблачить вражину. Ничего. Пускай поживет там. А мы тут без нее поскучаем...»

\*

На одном из партийных собраний, когда повестка дня была исчерпана, Лобачев неожиданно сказал:

— Еще вопрос. Внеочередной. Предлагаю принять в партию Касаткина. Правда, он не подавал заявления. И поручителей пока что нет. Но все это можно оформить сейчас...

И принялся расхваливать меня. Школу под клуб отвоевал. Гужналог с богачей придумал. Недоимку в селькрестком собрал. Хлеб для бедноты заготовил. Лапонины разоблачил. Ликбез организовал. Сам на рабфак поступил...

По мере того как перечислял он мои «заслуги», голова моя опускалась ниже и ниже. Хотелось спрятать стыд, который жег щеки. Школу отвоевали ячейкой. Недоимку собирали комсомольцы. Все вместе организовывали ликбез. А Лапонины разоблачила Маша. Так за что хвалить меня?

Но я слушал и молчал. К стыду примешивался страх. Вдруг обнаружат, что мне нет восемнадцати? Что тогда? Посрамят и откажут. А мне так хотелось в партию. Это было мечтой, в которой я даже себе не признавался.

Но коммунисты ничего не обнаружили. По очереди они — а их было четверо — хвалили меня. Оказывается, я и трудолюбивый, и скромный, и вежливый, и даже способный. И каждый под конец заявлял, что поручится за меня с радостью. Да, да! Не как-нибудь, а с радостью.

А я слушал и молчал. И не смел поднять глаз. Но поднять глаза все же пришлось. Лобачев спросил, как я сам отношусь к этому. И мне ничего не оставалось, как глянуть им в лицо. Все обошлось просто, как будто так и надо. Откашлявшись, я сказал:

— Считаю для себя большой честью быть в партии. И обещаю всего себя отдать народу...

Коммунисты дружно закивали. Чем-то покорили мои слова. Конечно, они были сказаны от всего сердца. Но я должен был сказать и другое. Я не заслуживал похвалы. И мне не было восемнадцати. А несовершеннолетних в партию не принимают. Но я противно смолчал. И дрожащими руками написал заявление.

Когда коммунисты проголосовали, Лобачев крепко пожал мне руку и растроганно сказал:

— Поздравляю. Отныне у тебя начинается новая жизнь. Так будь же всегда и во всем правдивым и честным!..

В эту ночь я долго не мог уснуть. Сам того не замечая, беспрестанно вздыхал и охал. Слова Лобачева не давали покоя. Быть правдивым и честным. А я сразу же покривил душой. Не остановил их перед ошибкой. Почему же смалодушничал?

В полночь мать тронула меня за плечо и прошептала:

— Слышь, сынок, выпей водички. И перестанешь маяться...

Я жадно выпил полстакана. Вода оказалась густой и какой-то вощеной. Но я ни о чем не спросил и уткнулся в подушку. И в самом деле скоро забылся.

А утром, вспомнив об этом, поинтересовался, какую воду мать давала мне.

— Наговорную, — призналась та. — Уже давно лечу тебя ею. С той поры, как комаровский кобель испугал. Бабка Гуляниха наговорила. Вот и вызволяю. То в борщ налью, то в молоко подбавлю. И ты вон как поправился. Уже не стонешь по ночам. Только вчерась опять что-то приключилось. Вот я и попотчевала тебя. И ты сразу забылся.

Это не было моей виной. И все же пятнало совесть. Партиец, а лечится у знахарки. Нет, рано еще в партию. Не достоин пока звания коммуниста.

«Отложить прием, — думал я, торопясь в сельсовет. — Пока не выйдет возраст. И пока не очистится совесть...»

Но решимость покинула меня, как только я увидел Лобачева. Тот выглядел туча тучей. Густые брови чуть ли не закрывали глаза. На скулах двигались желваки. Что-то стряслось, и партячейка сама отвергает меня. А я-то собирался каяться и признаваться.

— Слушай, — сказал Лобачев, сопя, как растревоженный хорь. — Что ж это получается? Тебе же только семнадцать. Три месяца каких-то на восемнадцатый. А?

Я удрученно молчал. Все-таки разобрались и уличили. И уж не пощадят теперь. Нет! И про заслуги, какие расписывали, не вспомнят.

— Устав партии читал? — продолжал Лобачев.

— Читал, — понуро отвечал я.

— Знаешь, с каких лет принимают?

— Знаю.

— Помнил, что тебе не хватает?

— Помнил.

— Так чего же молчал?

Я набрал полную грудь воздуха.

— Боялся, что откажете.

— Сейчас отказали бы, через год приняли.

— А мне хочется сейчас. Очень хочется!..

Лобачев озадаченно почесал за ухом.

— А я думал, ты с девятого. А ты, оказывается, с десятого. Гм... Непредвиденный спотыкач. А почему я так думал? Постой... Постой... Та-ак... — Он несколько раз протянул это слово, напряженно хмурясь. — Ну да, ошибка, — вдруг просветлел он. — Вместо девятого записали десятый. Церковники напутали. Ну да! Ты родился не в десятом, а в девятом. Это я хорошо помню. Почему? Сам был в этом году крестным. Племяка носил в церковь. Через месяц после твоего рождения. Вы ж с племяком моим одногодки. А он не с десятого, а с девятого. Так что все точно. Тысяча девятьсот девятый. С чем тебя и поздравляю...

Крупными цифрами он вывел на бумаге мой новый год рождения. А-я следил за ним и чувствовал, как сердце убыстряет удары. Было радостно и стыдно. Но почему же стыдно? Может, так оно и есть? И никакой подделки!

— А как же с другими документами? — дрожа, спросил я.

— И другие уточним, — сказал Лобачев, как о чем-то обычном. — Все оформим законным образом.

Акт составим, свидетели подпишутся. Все будет в полном порядке... — И снова поднял на меня потеплевшие глаза. — Мы

советовались... С Симоновым и Дымовым. И у всех одно мнение. Надо тебе в партию. Она поможет закалиться. Прямо с юности.

\*

И вот я, не чувствуя себя, стою перед Дымовым, секретарем райкома партии. А он, добродушный, немного громоздкий, сидит за столом и смотрит на меня голубыми, по-детски чистыми глазами.

— Очень рад! — говорит мягким, почти женским голосом. — Поздравляю! Решением бюро принят в кандидаты... Да ты садись. Чего стоишь?

И вручает мне кандидатскую карточку. А потом долго расспрашивает обо всем. Я отвечаю и чувствую себя, как на горящих углях. Вот сейчас он сменит улыбку на гримасу и скажет:

«Как же тебе не стыдно? Ты же несовершеннолетний. Так почему ж скрываешь? Почему не скажешь, как сделали тебя на год старше?..»

Но он не сгоняет улыбку. А закончив расспросы, кивает на прощание. И все так же добродушно произносит:

— Еще раз — от души... Всего хорошего...

На улице холод остужает лицо. Я напяливаю треух на голову и шагаю не зная куда. Я иду спокойно, но это дается с трудом. Хочется бежать. Даже лететь, будто за плечами у меня выросли крылья.

Окраина райцентра. Что-то кажется знакомым. Я останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам. Березовая рощица, вся занесенная снегом. Кристально чистый, он гроздьями свисает с веток и ярко искрится в лучах зимнего солнца. Здесь прошлым летом мы сидели с Машей. Где она теперь, Маша? И что сказала бы, когда б узнала, что я принят в партию?

Я достаю кандидатскую карточку, вслух читаю все, что в ней написано, и торжественно произношу:

— Прости меня, партия! Ничего не мог поделать с собой. Очень хотелось быть коммунистом. Но клянусь сердцем! Впредь буду всегда и во всем правдивым и честным!..

\*

Шли дни, а Маша не возвращалась. Ребята начинали волноваться и беспокоиться. Как же это так? Ни с того ни с сего уехала и не дает о себе

знать. Неужели же она не скучает по ячейке?

Ребята не знали о причине отъезда и недоумевали. Я же испытывал какие-то странные чувства. Мне и жалко было, что она уехала, и робость охватывала при мысли о встрече с ней. И не только потому, что подверг ее опасному испытанию, а и потому, что смутил покой ее. Да, я не хотел этого и даже не знал, когда и как это случилось, но факт оставался фактом. Я был причиной ее душевных мук и даже этого бегства, которое приводило в уныние всю ячейку.

Андрюшка Лисицин раздобыл у Чумаковых адрес, по которому в городе жила Маша, и предложил в срочном порядке написать ей письмо.

— От имени всей ячейки. Чтобы знала, как нехорошо она обошлась с нами...

Я подчинился. И вскоре получил ответ. Он был коротким. Маша писала, что временно работала на заводе и домой пока не собиралась. О ячейке она не забывала и всех нас по-прежнему любила горячо и крепко.

Письмо не удовлетворило нас. Но мы все же успокоились. Как-никак, а она была при деле. К тому же в рабочем классе варилась. Одного этого было достаточно, чтобы не тревожиться. А кроме того, мы надеялись, что она все-таки вернется на родину и порадует нас рабочим опытом.

Главную заботу Маши составляли книги. Теперь пришлось вверить их Сережке Клокову. Тот охотно взялся за новое дело и сразу же весь отдался ему. Он заново переписал их в тетрадь, расставил по алфавиту и завел картотеку.

— Книга уму учит, — говорил он. — Но и к себе ума требует...

А книг уже было порядочно. Двумя рядами стояли они на полках шкафа. С гордостью мы называли этот шкаф библиотекой. Да это и в самом деле была библиотека. И пополнялась она регулярно. То я приносил книги из района, то Лобачев привозил из города. Здорово выручил отчим, передавший свои. Когда я обратился к нему с такой просьбой, он, подумав, сказал:

— А что ж? Бери до обчей кучи. И пущай ребятки учат...

Сережка любил книги. И обращался с ними, как с живыми существами. Заботливо выравнивал корешки. Терпеливо разглаживал измятые страницы. Читателям выдавал под расписку. И с каждого брал слово, что книга вернется невредимой. И всем сердцем возмущался, когда обнаруживал недостатки.

— Дикари, а не люди! — ругался он. — Вырывать страницы. Да я скорей бы дал вырвать свои волосы. И тогда мне было бы не так больно...

И наотрез отказывался выдавать новые. Никакие уговоры не помогали.

Даже девичьи слезы не трогали. А некоторые девчата и впрямь хныкали. Да, не уберегли книжку. Но разве ж мыслимо все время носить ее за пазухой? А они какие, отец и братья? Чуть отвернешься — и нет листка. Уже разодран на сигарки. Что с ними сделаешь, с курильщиками?

Но таких случаев все же было мало. Читатели берегли книги. Даже обертывали в бумагу, чтобы не старели. И Сережка сиял от такой сознательности. Огорчало его, как и всех нас, лишь одно. Работать приходилось в сельсовете, а не в клубе. Его с наступлением холодов пришлось закрыть. Печи оказались непригодными. Они почти не давали тепла. И так дымили, что можно было задохнуться.

А клал печи наш сосед Иван Иванович, дед Редька. Он слыл в селе лучшим мастером, и мы надеялись на него, как на самих себя. И вот надежды рухнули. Ячейка на зиму опять осталась без пристанища.

Узнав о нашей беде, отчим учинил деду Редьке допрос. И тот признался, что напортил с умыслом.

— Каюсь, Данилыч. Заглушил тягу, чтобы тепла не было. И чтобы дым комсу из ограды выкурил. А тока сделал так не по своей вине. Батюшка на исповеди приказал. В аккурат это было, когда комса захапала школу. Навреди, говорит, безбожникам, чтоб не богохульствовали перед храмом. Ну я, понятно, подчинился... А он сам, Сидорка-то, вон что выкинул: похуже всякой комсы набогохульствовал...

Выслушав отчима, я ринулся к соседям. Авось возьмется печник и хоть малость поправит. Бояться-то ему уже нечего было. Поп со своими чадами давно перебрался в областной центр, и церковь благополучно пустовала. На худой конец можно припугнуть печника. Дескать, вольное или невольное вредительство, а оно карается по всей строгости.

Но, переступив порог соседской хаты, я понял бесплодность затеи. Иван Иванович лежал на кровати и жалобно стонал. На животе у него возвышался горшок.

— Хворь напала, чуму бы ей в глотку, — пожаловался он. — Вот бабка и водрузила черепок. А сама кудысь запропастилась. Должно, у какой подружки закалякалась, шалава. А тут все пузо втянуло. И мочи никакой нетути. — Он глянул на меня с жалобой и часто заморгал глазами, готовый расплакаться. — Слышь-ка, вызволи ради бога. Возьми каталку за печкой. И вдарь по горшку. Вдарь, чтоб на черепки рассыпался...

Дед Редька провалялся долго. А раньше чем он выздоровел, выпал снег, ударили морозы. Вот и пришлось повесить на двери клуба замок. И снова перекочевать в тесный сельсовет.

— Какой промах дали, — возмущались ребята. — Сами культпоходу

ножку подставили. И до самой весны заморозили...

\*

Это было ранним утром. Мы с Сережкой увлеченно рассматривали новые книги: рассказы Горького и Чехова, стихи Лермонтова и Демьяна Бедного, наставления по кооперации и сельхозналогу. Где там было оглядываться и прислушиваться?

А Симонов стоял за порогом и укоризненно качал головой.

— Так-то вы привечаете друзей?..

Я бросился к нему, протянул руку. Смущаясь, поздоровался и Сережка.

— Рукопожатие — предрассудок, — поучительно заметил Симонов. — С ним надо бороться. И все же мне приятно пожать руку друзьям... — Он подал нам сверток и предложил развязать его. — Отгадаете, что это, получите насовсем...

Небольшой деревянный ящик. Сверху на крышке — стеклянная трубка. В трубке — стальная иголка, нацеленная на какой-то шероховатый комочек. Рядом с трубкой — две пары дырок. И больше ничего.

Мы осматривали ящик и молчали. А Симонов, наблюдая за нами, довольно ухмылялся.

— Вот так и я в обкоме, когда получал эти штуки, лупастился и молчал... — Он достал из портфеля два металлических кружочка, соединенные дужкой, размотал витой шнур, воткнул вилку в дырки на ящике. — А теперь что это?

Я подумал и сказал:

— Телефон.

Симонов отрицательно покачал головой.

— Не телефон, а радио. Детектор. А точнее — детекторный приемник. Пять штук выклянчил на район. И вот вам привез...

Я снова повертел в руках ящик. Но теперь уже с опаской, как бомбу. Потом надел наушники и затаился.

— Ни слуху ни духу...

Симонов передал нам моток проволоки.

— Антенна. Повесить на улице. Чем длиннее, тем слышнее... — Он показал, как следует иглой щупать кристалл в трубке. — Вот и вся премудрость.

— И будет говорить? — недоверчиво спросил Сережка.

— Как живой!..

Неожиданно он достал из портфеля кулек, развернул его. В кулке оказались пряники — белые и розовые. Мы с Сережкой разом проглотили слюнки. Симонов заметил это, улыбнулся и предложил:

— Угощайтесь. Вкусные до ужаса... — И сунул целый себе в рот. — Смерть люблю... Вчера зарплата была... Вот и блаженствую...

Мы с Сережкой взяли по прянику. Они и впрямь были вкусными и прямо таяли во рту. Даже страшно целиком запихивать в рот, как делал Симонов.

Сережка, смущаясь, сказал:

— А мне почему-то больше нравятся конфеты.

— А ты часто их ешь, конфеты? — спросил Симонов.

— Нет, не часто, — признался Сережка. — Один раз пробовал.

Мы рассмеялись. Симонов серьезно сказал:

— Конфеты не то. Ни пожевать, ни проглотить. А пряники...

И предложил нам еще. Но мы отказались. Только что завтракали. И вообще... Не охочи до лакомств. Симонов недоуменно пожал плечами.

— Не понимаю, как можно отказываться от пряников. Это ж не еда, а наслаждение. Того и гляди язык проглотишь... — Внезапно он встрепенулся, вынул из нагрудного карманчика часы и встал. — Засиделся я у вас, а мне еще в Верхнюю Потудань. А оттуда — в Роговатое. Им тоже детекторы везу...

Простились у райисполкомовских санок. И лошаденка, заиндедевевшая, а потому казавшаяся седой, резво затрусилась по улице.

\*

Мы решили сразу же заняться детектором. Кстати, подошел и Володька Бардин. Он также долго вертел в руках загадочный ящик. А под конец все же сказал, что будет участвовать в опробовании, хотя поручиться за успех не может.

— В Москве или поблизости эта штука, может, и бормочет. А у нас, за тыщу верст... Сказка!

Главное было — установить антенну. Лучше всего протянуть ее от здания сельского Совета до селькrestкомовского амбара. На сельсоветской крыше провод легко завязать вокруг печной трубы. А вот как прикрепить его к крыше амбара?

Но Володька довольно легко решил задачу. Обойдя вокруг амбара, он сказал:

— Есть длинная слега. Пристроим на распорках, и будет мачта.

Вдвоем с Серезжкой они сбегали к Бардиным и приволокли слегу. Она оказалась даже выше сельсоветской трубы. Мы привязали к ее макушке провод и установили рядом с амбаром. В нескольких местах рейками пришили к углу сруба. Слега стала прочно, готовая выдержать любую бурю.

Потом мы посадили Серезжку на крышу сельсовета и подали ему другой конец антенны. Осторожно переставляя руки и ноги, он на четвереньках дополз до конька, натянул провод и замотал его вокруг трубы. После этого мы с Володькой проделали отвод антенны в форточку окна. Вернувшись в комнату, воткнули вилку на конце его в отверстие на крышке детектора.

Когда все было готово, мы уселись за стол и почувствовали, что находимся в преддверии невероятного. Неподвижно и загадочно стоял перед нами деревянный, выкрашенный в черный цвет ящик со стеклянной трубкой, блестящей иглой и наушниками. Мы молча и пристально смотрели на него. Неужели ж он и вправду заговорит человеческим голосом? Неужели свершится чудо и мы услышим Москву?

Володька решительно махнул рукой и с отчаянием сказал:

— Пробуй!

Я надел наушники и с опаской взялся за иглу. В ушах что-то зашуршало. Потом послышался треск и писк. Я смелей стал тыкаться в кристалл. Тыкался усердно и долго, чувствуя, как мокнет лоб. Но, кроме треска, писка и шума, похожего на ветер, ничего не слышал. И уже готов был снять наушники, чтобы передать ребятам, не спускавшим с меня глаз, как различил чей-то голос. Далекий, неясный, но все же человеческий голос. Я затаил дыхание. Напряглись и ребята. Это видно было по их багровым лицам. Но голос исчез, словно задохнулся. А в уши опять хлынул шум. Я с досадой ткнул иглой в одно место, потом в другое, потом в третье. И снова услышал человеческий голос. Да, настоящий человеческий. Теперь уже громкий, звучный, отчетливый.

«Молодежь — наша надежда, наше будущее. Ей придется завершать начатое нами. И мы не должны жалеть труда на ее воспитание...»

Я снял наушники и передал Володьке. Он надел их и замер, уставившись взглядом на ящик.

— Слышу, — прошептал он, точно боясь спугнуть говорившего. — Прямо рядом...

И протянул наушники Серезжке. Тот слушал также напряженно. Но в голубых глазах то и дело вспыхивали искорки. Радость брала верх над

страхом.

Послушав минуту, Сережка вернул наушники мне. Я надел их и снова услышал тот же мягкий и ясный голос:

«Враги Советской власти много раз делали ставку на молодежь. Но расчеты их не оправдались. Молодежь всегда следовала за партией, живо откликалась на ее призывы...»

Я снял наушники и сказал:

— Говорит!

— Говорит! — подтвердил Володька Бардин.

— Говорит! — расплылся в улыбке Сережка Клоков.

— Москва говорит! — продолжал я.

— Москва говорит! — подхватил Володька.

— Москва говорит! — весь сияя, воскликнул Сережка.

— И Знаменка слушает столицу! — не переставал я, охваченный энтузиазмом.

— Знаменка слушает столицу! — повторил Володька.

— Знаменка слушает столицу! — ликовал Сережка.

Я протянул один наушник Володьке.

— А ну, давай вместе!..

Мы уперлись лбами над ящиком и приложили к ушам по наушнику. Из них уже лились нежные и ладные звуки. Музыка! А мы-то и не знали, что она может быть такой! И откуда было знать? Как могла она залететь в нашу глухомань? Иной раз она вырывалась из окон поповского особняка. Там заводили граммофон. Но какая это была музыка! Воющая, рыдающая, стонущая. От нее хотелось бежать без оглядки. А эта... Она звенела колокольчиками, пела жалейками, заливалась соловьями. Она проникала в самую душу. И рождала что-то несравнимое, неизведанное.

Сережка приткнулся лбом к нашим лбам, стиснул нас за плечи.

— Дайте и мне, дьяволы!..

Так сидели мы, сгрудившись над говорящим ящиком. И как зачарованные слушали нежные звуки, рождавшиеся в нем. И было как-то необыкновенно на душе, будто она взлетала ввысь. А перед взором стлались необозримые поля с волнующимися хлебами, возникали яружки и балки, поросшие лесами и перелесками, вставали деревни и села с белыми хатами в цветущих садах. Русская земля! И по ней уверенно шагали мы, новые люди. В прошлом бесправные, теперь свободные и сильные. Те самые голодранцы, не в шутку, а всерьез великие, которые строят новую жизнь.

Но вот музыка замерла, и женщина сказала:

— Мы передавали симфонию Чайковского. А сейчас объявляется перерыв...

Я положил наушники рядом с приемником и глянул на ребят. Они молчали, точно все еще вслушиваясь. Потом Сережка мечтательно сказал:

— Си-им-фо-ни-ия!

А Володька вдруг обнял ящик, как ребенка, и проникновенно заговорил:

— Ах ты ж наш дорогой! Да откуда ж ты к нам пожаловал? Да мы с тобой теперь такие дела будем делать!..

Я разомкнул Володькины руки и подтянул детектор к себе.

— Осторожно. А то и поломать недолго. Он хоть и говорящий, а не пожалуется...

\*

Новость с быстротой ветра разнеслась по селу. И Знаменка загомонила, затараторила на все голоса:

— Слыхали, комса балакающую коробку раздобыла?

— Бают, такое чудо, что и церковному нос утрет!

— Нечистая сила в той коробке на все лады разорется!

— Нет, что ни толкуй, а здорово! Москва, она ж вон где! А выходит, будто рядом!

— Окститесь, окаянные! Страшный суд наступает! Антихрист уже сошел на землю!

— Вот теперича жизнь будет! Такая жизнь, что и помирать не захочется!

— Одним словом, радиво!..

И любопытные повалили в сельсовет. Одни — с затаенной радостью, предчувствуя великое. Другие — с недоверием, страшась неизвестности. Но мы встречали всех.

— Милости просим на радиосеанс!

— Добро пожаловать к нашей культуре!

Когда набралось много народу, я решил произнести речь.

— Видите эту штуковину? — спросил я, поднимая ящик и поводя им, чтобы всем было видно. — Это радиоприемник. Называется детектор. Почему так называется? А леший его знает. Только суть не в названии. Суть в том, что говорят в Москве, а в Знаменке слышно.

— Как же это? — поинтересовался Яшка Поляков, застенчиво

улыбаясь.

— А очень даже просто, — пояснил Семка Судариков; он только что вернулся из города, где ему вырезали слепую кишку, и теперь выглядел еще более худосочным и длинным. — Как по телефону. Слова снуют по проволоке, как молния.

— А ты, что же, никак разговаривал по телефону? — съехидничал Петька Душин.

— Не разговаривал, а слышал, — уверенно ответил Семка. — На роговатовском тракте. Там, известно, столбы бегут. А по ним — проволока. Вот я один раз решился. Сбросил чоботы — и на столб. Взобрался до стеклянной чашечки — и ухом к проволоке.

— И подслушал? — не унимался Петька Душин.

— Подслушал, — соврал Семка не моргнув глазом. — Все до словечка. Кубыть сам был там. Как чичас с вами.

— А что подслушал-то? — спросил Яшка Поляков. — Какую новость?

— Разные были новости, — отмахнулся Семка. — Два ответработника резались. Ууу, здорово! Аж до потасовки. Один как даст другому...

— Постой, постой, — вмешался Володька Бардин. — Как же до потасовки? Один — на одном конце провода, другой — на другом. Может, за сто верст? Руки у них, что ли, такие длинные?

Ребята смеялись дружно и весело. Заврался-таки Сударик. Споткнулся и носом запахал. А Петька Душин, когда смех погас, снисходительно заметил:

— На тракте — проволока. А тут что? Тут она вон тока до амбара. А дальше — пустота. К чему ж ухом прикладываться?

Совсем сконфуженный Семка не нашелся что ответить. И с кислой миной уселся на подоконнике. А я, вспомнив, как в том же романе «Тайна пятнадцати» Земля связывалась с Марсом по радио, заявил:

— Телефон и радио — разные вещи. По телефону разговор ведется по проволоке, а радио передает по волнам. Есть такие в воздухе. Они так и называются — радиоволны. На радиостанции их начинают словами и звуками и выпускают во все стороны. Они летят и, встретившись с антенной, садятся на нее. А уж по ней — в приемник.

Яшка Поляков подскочил к проводу, тянувшемуся из оконной форточки к детектору, ухом приложился к нему и объявил:

— Ни шиша!

— От проволоки ничего не услышишь, — пояснил я, переждав смех. — Тут Семка перехватил через край. Чтобы слова зазвучали, и нужен приемник. Он озвучивает и передает в наушники.

— Ты говоришь, слова летят по проволоке, — заметил Петька Душин, в усмешке скривив губы. — А чего ж мы не видим этого?

— А ты видишь сейчас мои слова? — в свою очередь, спросил я, испытывая желание сбить спесь с Петьки. — Вот я говорю с тобой. И мои слова летят к тебе. Так что ж, ты видишь их?

— А они и не летят ко мне, твои слова, — отрезал Петька. — Нечего им летать, раз я их и так слышу.

— А ну-ка, кто-нибудь заткните ему уши, — попросил Володька Бардин. — Да хорошенько. Пускай потом скажет, что слышал.

К Петьке подскочил Яшка Поляков, ладонями зажал ему уши.

— Готов!

— Слушай же, задавала и фармазон, — негромко произнес Володька Бардин. — Игра твоя не доведет тебя до добра. Скоро мы возьмемся за тебя. И зададим такого перцу, что век будет горько. — Он кивнул Яшке, и тот отнял ладони. — И что ж ты слышал?

— А ничего, — ответил Петька, озираясь на хохочущих ребят. — Уши-то были закупорены.

— В том-то все и дело, — сказал Володька. — Уши были закупорены, и слова мои в них не залетали. Долетали до Яшкиных ладошек и рассыпались. Значит, слова летают. А только мы их не видим. Так не видим и радиоволны...

Володька говорил уверенно, как ученый. Он, как и я, дважды прочитал книгу о полете на Марс. Теперь эта книга вместе с другим отчимовскими книгами стояла в шкафу. Но ребята смотрели на Володьку без веры.

— Ладно, — сказал Яшка Поляков. — Все одно непонятно. А потому хватит болтовни. Давай-ка лучше показывай...

Я не заставил себя упрашивать. Надел наушники и принялся настраивать приемник. Вытянув шею, ребята жадно следили за мной. Но они уже не беспокоились. И недоверие сменялось любопытством.

В уши хлынули слаженные голоса. Хор пел про Ермака, покорителя Сибири. Песню эту часто напевали и мы. Только теперь она звучала могуче, будто пело само вольное войско.

Сняв наушники, я позвал Яшку Полякова.

— Садись...

Яшка слушал серьезно. Широко раскрытые глаза не мигали. Губы часто вздрагивали. Казалось, вот-вот по ним пробежит улыбка. Но Яшка так и не улыбнулся. Торопливо стащив наушники, он посмотрел на них, потом на приемник и проникновенно сказал:

— Как распевают! И прямо тут!..

Семка Судариков слушал долго. Я пробовал прервать его, но он всякий раз отмахивался.

— Чичас... Ишо каплю.

Когда же песня кончилась, сам снял наушники и весь расцвел в улыбке.

— «Черного ворона» пели... — И медленно покачал головой. — А как тянули! Нам так не потянуть!..

За стол уселся Петька Душин. Сдвинув на затылок барашковую шапку, он расправил клапаны накладных карманов френча, зачем-то подул на наушники, словно сдувая пыль, небрежно надел их. И сразу же замер, полузакрыв глаза, точно отчалил в другой мир. Даже не заметил, как шапка сорвалась с крутого затылка и упала на пол. И тоже слушал долго. А когда я снял с него наушники, встрепенулся. И, входя в обычную роль, сморщился.

— Ничего особого... Про Марусю-трактористку под баян... А вопче...

Потом подходили другие. Тихо усаживались за стол и слушали. Слушали спокойно и растерянно, с удивлением и восторгом. А поднимаясь из-за стола, коротко выражали чувства:

— Вот это да!

— Аж поджилки трясутся!

— И додумаются же люди!..

Среди ребят я увидел Миню Лапонина. Прыщ появился незаметно и держался позади, выглядывая из-за плеч других. Мне захотелось выпроводить кулацкого отпрыска. Но сделать это было не просто. Нельзя же без всякой причины взять за рукав и вывести. Разгорлопанится, что и рад не будешь. Да и ребята могут возроптать. Пришлось смириться. Ничего не поделаешь. Гражданских прав не лишен пока что.

Неожиданно вошли отчим и Иван Иванович. Остановились в сторонке и зашептались. Я позвал их. Они подошли робко, смущенно присели на скамью.

— Прослышали и завернули, — оправдывался отчим. — Больно занятно. Прямо не верится...

Первым я надел наушники отчиму. Он сразу напрягся, будто радиоволны побежали и по его нервам. Но скоро лицо его округлилось, а впалые глаза заблестели. Сам того не замечая, он согласно кивал головой. Один раз даже довольно хихикнул и погладил усы. А когда снял наушники, с сожалением заметил:

— И что это у тебя их одна пара? Хоть бы дюжинку заимел. Народ гуртом мог бы приобщиться...

А Иван Иванович слушал настороженно, недоверчиво. И выглядел

ершистым, задиристым. Так и казалось, вот сейчас вскочит и забунтует. И опасения мои оправдались. Внезапно он стукнул кулаком по столу и гневно крикнул:

— Нет, брешешь, милоч! Не такие уж мы простаки. Понимали что к чему...

Я сорвал с него наушники. Сосед мог ляпнуть что угодно. Он вспыхивал, как порох, от искры. Я приложился к наушнику. Что рассердило старика? Передавали о деревне. Она становилась на социалистический путь. Бедняки создавали кооперативы, освобождались от кулацкой зависимости.

А Иван Иванович продолжал кипятиться:

— Сидит там, ядрена мать, и несет чушь. Средняки колебались в революцию... Да нешто это правда? В Знаменке и бедняки и середняки — все вместе громили помещика. И с бандами дрались без колебаний. А он, умник, такое куролесит!

— Будет тебе, Иваныч, — сказал отчим, обнимая соседа. — Утихомирься. Ты слышал середку. А поначалу говорилось другое.

— А надоть, чтобы не токмо начало, а и середка была правильная, — не унимался Иван Иванович. — Мы за Советскую власть горой. И бедняки и середняки. Вот так-то. И нечего наводить тень на плетень...

Отчим взял разбушевавшегося деда Редьку и увлек к выходу. А мы продолжали показывать наше чудо, по очереди усаживая к детектору любопытных. И с радостью замечали, как люди, преодолевая растерянность, проникались к нам доверием.

Уже поздно ночью, когда все желающие посидели у приемника, а мы еле держались на ногах от усталости, к столу вдруг приблизился Миня.

— А ну, дай-ка и мне, — потребовал он, опускаясь на скамью. — Хочу тоже послушать. Что оно и как?..

И протянул руку к наушникам. Но я раньше подхватил их и объявил:

— Шабаш! Перерыв до утра. — И выключил антенну. — А что до тебя, Миня... Ищи-ка ты для прогулок подальше переулоч. А мы тебе не товарищи. Ясно?

Миня закусил толстую губу, удерживая ругательство, кольнул меня злобным взглядом и, не ответив, нехотя вышел.

\*

На другой день я помчался в сельсовет чуть ли не с рассветом. А

взбудоражил меня и выбросил из теплой хаты странный сон. Иду я будто бы по залитой солнцем улице и вижу, как со всех сторон слетаются птицы. Но не простые какие-то, а птицы-радиоволны. И начинают эти птицы клевать меня. Я отбиваюсь всеми силами, но ничего не помогает. Тогда я со всех ног бросаюсь наутек. А птицы-волны летят следом и клюют меня куда попало.

Но вот вижу я перед собой большой ящик. А на ящике надпись: «детектор». Я влезаю в ящик и закрываюсь крышкой. И слышу, как птицы говорят:

— Вот и хорошо. Сам забрался. Берись за углы и поднимай. И взлетай выше, чтобы лучше разбился...

И ящик поднимается вверх. Все выше и выше. Сквозь расщелины в досках видны тучи. Потом — голубое небо. И яркое солнце. А птицы говорят:

— Хватит. Дальше некуда. Бросай. Разобьется в лепешку...

И отлетают в стороны. А ящик вдруг устремляется не на землю, а к солнцу. И летит со свистом, как снаряд. Все дальше и дальше. И вот его весь охватывает пламя. Оно сжигает стенки, дно, крышку. И уже один я, без ящичка, лечу прямо на расплавленное светило. Тело обжигает огонь, душа наполняется тяжестью... Я просыпаюсь и обнаруживаю себя на печке рядом с посвистывающим Денисом. Спину палят раскаленные кирпичи, а едкий дым перехватывает дыхание. Я сползаю вниз и вижу на кухне мать. Она виновато улыбается.

— Нынче у меня хлебы. Вот пораньше и затопила. И напустила дыму...

Мне хочется рассказать сон. Мать умеет отгадывать их. Но я подавляю это желание. Комсомольцы не верят в сны. А я еще и кандидат партии.

«Неужели украли детектор? — с тревогой думаю я, подгоняя собственные ноги. — Мы же надежно спрятали его. А может, надо было забрать домой?»

Но детектор оказался на месте. Я прижимаю его к груди, целую в стеклянную трубку.

— Ах, ты ж, дружище! — радостно смеюсь я. — Знал бы ты, как я перетрусил. Думал, что ты погорел безвозвратно. Ну то есть, что тебя утащили. Сон, понимаешь, такой привиделся. Даже сам невера поверил бы...

Поставив приемник на стол, я включил антенну. Вот сейчас заговорит Москва. И польется в нашу глухомань музыка. Симфония. Более всего хотелось услышать ее. И я принялся настраивать детектор. Долго тыкался в

кристалл иголкой. Но все бесполезно. Приемник молчал как мертвый. В ушах только шуршало да потрескивало. Ни человеческого голоса, ни музыки. Будто этого никогда и не было. Что же случилось? Неужели он все-таки побывал в чужих руках?

Я принялся осматривать ящик. На задней стенке увидел два шурупа. Один показался не до конца завернутым. Так оно и есть. Кто-то проник внутрь и напортил. Карманным ножиком я отвернул шурупы, осторожно снял дощечку. Ну, конечно, какой-то гад побывал тут! Вон как перепутаны проволочки! Я начал усердно выпрямлять их. Они охотно поддавались, словно были живыми. Откуда-то выпала пластинка. А вот откуда? Где ее место? Скорее всего, она тут случайно. А может, подложена с какой-то целью? И этот шпенек почему-то отскочил. Может, тоже лишний? Или подложен?

Едва я снова привернул дощечку, как в комнату ввалился Сережка Клоков. На ходу сбросив пиджак, он подсел к столу и, сияя глазами, спросил:

— И как он, наш друг?

— А вот сейчас попробуем, — ответил я, надевая наушники. — Должен балакать...

Но на этот раз детектор даже не шуршал. Казалось, он совсем испустил дух. Все мои старания ни к чему не привели. Ни к чему не привели и Сережкины старания. Мы долго смотрели на безжизненный ящик. Потом с отчаянием глянули друг на друга.

— Может, нутро испортилось? — спросил Сережка. — Как-нибудь само собой?

— Смотрел, — безнадежно махнул я. — Все поправил. Полный порядок навел...

Вошел Володька Бардин. На лице тоже тоска. Будто и ему уже известна кончина нашего агитатора.

— Молчит? — спросил он, тяжело опускаясь на скамью.

— Молчит, — удрученно подтвердил я. — Как воды в рот набрал.

— Значит, контра поработала?

— Поработала, — согласился я. — Только непонятно, как она могла?

— Что ж тут непонятного? — возразил Володька. — Слегу — набок.

Кусачками — провод.

— Какую слегу? — спросил Сережка. — Какими кусачками?

Володька глянул на Сережку как на очумелого.

— Как это какую? А антенна-то где? Она же тю-тю! Один хвостик на крыше болтается...

Забыв одеться, я вылетел на улицу. Антенны не было. Действительно, на крыше болтался провод, зацепленный за печную трубу. А отвод антенны отжеван у самой форточки. Слега же валялась возле амбара. Ночной снег запорошил все следы.

— Вражина, — сказал Сережка, выбежавший следом. — К ногтю бы такого. Как гниду...

Володька и Сережка отправились собирать ребят. А я вернулся в сельсовет и снова открыл детектор. Неспроста перестал он шуршать и потрескивать. Вывихнул я ему нутро. И теперь, как видно, ничто не поможет. Как же быть? Признаться и покаяться перед товарищами? А может, все-таки ничего с ним не сделалось? И он заговорит, если будет антенна?

\*

Конечно, больше всех досталось мне. Как мог я проявить беспечность? Неужели ж мне не известно, что враг только и ждет случая? Разве нельзя было сделать так, чтобы убирать антенну на ночь?

Но мало-помалу страсти улеглись. Стали думать, как поправить дело. А поправить дело оказалось нелегко. А вернее, просто невозможно. Где взять проволоку? Такую не то чтобы в селе, в городе не раздобыть.

— А веревочкой нельзя заменить — робко спросил Андрюшка Лисицин. — Я б такую свил! Не хуже проволоки!

— По веревочке слова не пойдут, — вздохнул Сережка Клоков. — В пеньке застрянут. А ежели бы веревка пришлась, свой бы телефон соорудили. Опутали бы хаты веревочками, и болтай себе на здоровье.

— На роговатовский бы тракт податься, — цокнул языком Митька Ганичев. — Там проволоки!.. Один бы пролетик чиркнуть. Понятно, трудно забраться на столб. Зима все ж таки. В валенках или сапогах не вскарабкаться. А только это ерунда. Можно и разуться. А проволока потолще этой будет. Даже лучше примет радио...

Ребята с удивлением уставились на Митьку. А Илюшка Цыганков вкрадчиво спросил:

— Ты это серьезно, Мить?

Митька беспокойно заерзал на скамье.

— Не то чтоб серьезно, а между прочим. Как говорится, думка не сумка. Даже самая тяжелая ничего не весит. Вот я и соображаю. Может, смотреть ночью? Вдвоем с кем-нибудь? С тем, кто швыдко на дерево

взбирается? И сразу на два столба. И кусачками — по стекляшки.

— А как же телефон? — спросил Гришка Орчиков. — Разговор-то оборвется?

— Понятно, оборвется, — согласился Митька. — Но до утра. Утром обнаружится и поправится. Мы можем срезать поближе к райцентру. Чтобы, значит, поскорейше отремонтировали. А что? — пугливо оглянул он нас. — Разве ж она не портится, линия? В пургу и бурю? А ветер, он, бывает, даже столбы валит...

Митька говорил полушепотом, точно боясь, как бы кто не подслушал. Глаза, его горели, ноздри раздувались. Да, он легко обделал бы это дело. И проволока вполне заменила бы антенну. Побежали бы по ней слова и звуки. И мы опять стали бы удивлять односельчан чудом. И не каким-то колдовским, а взаправдашним... Так думал я. Это можно было прочитать и на лицах ребят. Но в глазах у них металось и мое беспокойство. А что будет с телефоном? Когда и как исправят его? Сколько времени пройдет, пока разговор возобновится?

— Ну как? — снова заговорил Митька воровским полушепотом. — Решимся?

— Да ты что? — спросил Володька Бардин. — Свихнулся? Как же это можно разорить линию? Да это похлестче, чем украсть антенну.

— Я ж не красть, — оправдывался Митька. — А одолжить. Один пролетик. А то ж погибнет радио. Некоторые хоть трохи послушали. А я даже не приложился. Да и для народа польза. Через радио люди куда скорей окультурятся...

— Слушай, — остановил его Илюшка Цыганков. — Я вижу: свая не пошла тебе впрок. И ничему не научила. Жалко, что она стукнула тебя по ноге. А надо бы по башке...

Илюшка говорил сердито, даже зло. Выглядел он каким-то напряженным, точно собирался драться. На руках бугрились мускулы. Откуда они? Откуда эта собранность и подтянутость? Как здорово изменился он за последнее время!

— Прекратим этот разговор, — сказал Прошка Архипов. — Это просто недостойно комсомола. Мы ж не разбойники какие, чтобы по ночам выходить на дорогу... — Он повернулся ко мне и насупил брови: — Надо идти в райком и просить помощи. Вот так. И придется шагать тебе самому. Ты и секретарь и виновник. А потому с тебя и спрос...

Да, я был главным виновником. И больше, чем они, винил себя. Без труда можно было соорудить съемную антенну. А во время радиопередач устраивать дежурства под ней. Все можно было сделать. И помешала этому

не беспечность. Нет. В беспечности ни меня, ни кого-либо из них упрекнуть нельзя. Простодушие и доверчивость — вот причина того, что случилось. Мы считали кулаков своими врагами, вели с ними борьбу. Но боролись открыто, честно. И лишь в безвыходных случаях прибегали к хитростям. Они же, как видно, не гнушались никакими средствами. Вплоть до самых гнусных и подлых.

— Прощка прав, я виноват во всем, — сказал я, загораясь желанием раскрыть душу. — И вы правильно ругали меня. Стоит. Проморгал. Да что проморгал. Разиней оказался. Но все же... Урок этот не для одного меня. Он для всех нас. Отныне надо знать: враг способен на все. На любую подлость. И сделать из этого выводы. Для работы и жизни. Да, жить надо по-другому. Честно, правдиво, преданно. И дороже жизни беречь свободу. Советскую власть, свое государство. И к вывиху товарища Ганичева подойти с этих позиций. Да, это политический вывих. И говорит он о нашей незрелости. Отсюда задача: повышать политическую зрелость, идейно закалять себя. И делать это надо постоянно, каждый день, каждый час. Только при этом условии мы сможем разгадывать коварные замыслы врагов, вовремя отражать их удары.

Речь моя была выслушана с глубоким вниманием. А когда я кончил, Прощка Архипов порывисто встал и протянул мне руку.

— Клянемся не распускать нюни! — воскликнул он, сильно сжимая мою ладонь. — И все силы отдавать борьбе с врагами!..

На наши руки легла рука Володьки Бардина.

— Клянемся!..

Потом присоединил свою руку Сережка Клоков. Потом — Илюшка Цыганков, Гришка Орчиков, Андрюшка Лисицин, Митька Ганичев. И каждый твердо произносил:

— Клянемся!..

\*

Симонова в райцентре не оказалось. Техсекретарша райкома сказала, что он обещал к вечеру вернуться из Роговатого.

От нечего делать я забрел в раймаг. И, к своему удивлению, увидел там новенькую балалайку. В Знаменке играли на самодельных. А эта была фабричная. Она сверкала гладким лаком, блестела серебряными ладами. А кроме балалайки, на полках лежали струны. И как же их много, этих струн! Я держал балалайку в руках и чувствовал, как дрожат они. Просто

невероятно! Фабричная балалайка! Вместо противных колышков, которые то и дело надо слюнявить, чтобы не прокручивались, костяные закрутки с металлическими колесиками и валиками. Я легонько тронул струны. Они забренчали вразнобой. Я настроил их, поставил на место «кобылку». Теперь балалайка заиграла звонко и напевно. Но стоила она дорого. Со мной были селькресткомовские деньги. Я захватил их на всякий случай. Никогда мне не приходилось занимать их на личные нужды. Но тут особое дело. К тому же балалайка нужна не только для личной забавы, а и для общей культуры.

«Как-нибудь рассчитаюсь, — думал я, выходя из раймага с балалайкой и почти полным карманом струн. — В долгу не останусь».

Зимний день короток, и вечер наступил быстро. А Симонова все не было. Техсекретарша посоветовала подождать в его комнате и отдала ключ. Я зажег висячую лампу и устроился на деревянном диване. Хотелось со всей силой ударить по струнам. Но я еле перебирал их. В соседних комнатах трудились люди, и нельзя было мешать. А балалайка пела ладно и нежно. И душа моя пела ладно и нежно. Теперь мы создадим целый оркестр. И в центре оркестра будет фабричная, сверкающая и блестящая балалайка. И пусть тогда Ванька Колупаев задается сколько хочет.

А Симонов все не появлялся. Какие-то юнцы без конца заглядывали в комнату, спрашивали его и с досадой скрывались за дверью. Я же продолжал сидеть на диване и улыбаться. А самому уже было не до улыбок. На дворе вовсю хозяйничала ночь. Очень хотелось есть. Можно было бы сбегать в чайную. Но на это уже не было денег. И я терпел, прислушиваясь к урчанию в животе. И с опаской поглядывал на мутнеющее окно. Никогда мне не приходилось так поздно возвращаться из райцентра. Какой же дорогой лучше пойти? Стежкой между оврагом и болотом? Или проедем трактором через поле? Первый путь короче, но страшнее. Через поле — много дальше. Зато там далеко видно. Только бы не разыгралась пурга.

Симонов ввалился чуть ли не в полночь. Сбросив тулуп, с удивлением уставился на меня.

— Это из какой же пушки тебя выстрелило?

Я рассказал, ради чего явился. Симонов сразу посерьезнел.

— Та-ак, — протянул он. — Враг не сидит сложа руки. И на активные меры отвечает контрмерами. Диалектика... — Он прошелся по комнате, потерев замерзшие руки. — А запасной антенны нет. И взять ее негде. Дефицит... — Он постучал пальцем по моему детектору. — А его зачем приволок?

Уши мои запылали жаром.

— Да что-то плохо работает...

Симонов поставил приемник на стол, достал из-за шкафа провод и включил его. Надев наушники, он принялся тыкать иглой в кристалл.

— Гм... Не подает признаков жизни... — Он достал из ящика стола свой детектор, переключил в него антенну и улыбнулся. — Антенна на месте. А я уж думал, и нашу сперли... Значит, дело не в антенне, барахлит сам приемник...

Сняв наушники, он долго смотрел на мой детектор. Впервые я видел его нерешительным. А мне-то казалось, ему все нипочем. Выходит, между нами небольшая разница.

— Жалко, нечем открыть, — сказал Симонов, перевертывая ящик. — Посмотреть бы, что там...

Я протянул карманный ножик. Симонов отвернул шурупы, отнял заднюю крышку. Глаза его округлились, будто он увидел что-то несуразное.

— Минуточку... Что-то не то... — Он открыл и свой детектор. — Так и знал... Они не только сняли антенну, а и изуродовали приемник. Смотри, как перекорезено...

Но я не двинулся с места. Зачем смотреть, когда и так все видно? Можно было бы подтвердить подозрения Симонова, но язык не поворачивался. Противно было лгать даже на кулаков. И я признался, что сам все перекорезил.

— Тоже думал, что залезли. И стал поправлять. И поправил...

Симонов глянул на меня так, как будто увидел впервые. Раскрыл рот, чтобы выругаться, но тут же захлопнул его. И запустил пятерню в свои густые, пышные волосы.

— М-да... Ремонтер из тебя получился аховый... Ладно, — смягчился он, заметив мое отчаяние. — Как-нибудь переживем... — Он поставил мой детектор рядом со своим. — Антенна вам пока что не нужна. А нужна вам бдительность. И аккуратность... — Он взглянул на часы, поддев ремешок большим пальцем. — Ух ты! Уже совсем поздно. Где ночевать думаешь? У родственников?

У меня не было родственников в райцентре. Симонов набросил тулуп на плечи.

— Пошли ко мне. Я тут недалеко конуру арендую. Тесно и неудобно. Но как-нибудь перевеваемся.

Я отказался. Утром надо быть в кресткоме. Не уговорил меня Симонов и сходить в чайную, хотя в желудке моем скребли кошки. Я взял балалайку, стоявшую за диваном, и направился к выходу. Но Симонов задержал меня.

И попросил сыграть что-нибудь.

— Что самому любо...

Я сыграл «страдания». Симонов порывисто сжал мои плечи.

— Спасибо, Федя. Очень рад за тебя...

\*

На окраине, где дорога выбрасывается в степь, мы простились. Симонов крепко пожал мою руку и посоветовал не трусить. Но я трусил самым постыдным образом. Оставшись один, я почувствовал себя беспомощным и жалким. А валенки на ногах чересчур растоптанными, чтобы одним духом перемахнуть поле. В таких скороходах не разбежишься. А босиком бежать в такую даль по снегу еще не приходилось.

Подбадривая себя, я принялся громко напевать. Смотрите, злые духи, мне все равно. Я никого и ничего не боюсь. И ходьба эта для меня все одно что прогулка. Такая прогулка, какую я совершаю с охотой.

И ночь словно бы расступилась в удивлении. Даже звезды повылезали на небе. И с восторгом уставились на шагающего по земле смельчака. Они казались добрыми фонариками, освещавшими путь в безлюдной, полутемной степи.

Но вот перепеты все песни. Усталость разливается по телу. Оказывается, песня не только укрепляет смелость, а и утомляет. Но если нельзя петь, чтобы не задыхаться, то надо думать. О чем же? Конечно же, о новой жизни. О том, какой она будет. Какой же? Точно этого пока никто не знает. Но в общем все уже известно. Она будет хорошей. Даже счастливой. Не станет богатых и бедных. Все люди будут равными. Исчезнут невежество и бескультурье. Попы перестанут обманывать народ. Да и некого будет обманывать. Люди станут грамотными и сознательными. На полях появятся машины. Где-то уже бороздят степь тракторы. Прибудут они и на наши угодья. А за тракторами пожалуют и другие машины: самокоски и самовязки всякие. Не придется тогда нам гнуть спину и обливаться потом. И хлеб насущный не будет для нас таким горьким и соленым от пота.

Впереди справа возникают темные точки. Или это кажется? Нет, не кажется. Точки движутся поперек поля. Одна за другой. Волки? Да, волки. Целый выводок. Раз, два, три, четыре. Целых четыре. Я останавливаюсь, замираю на месте. Скрыться? А куда? В поле как на ладони.

А волки уже у дороги. Сейчас пересекут ее и помчатся к лесу. Тогда я

сброшу валенки и дам ходу. А пока стоять и не шевелиться. Пусть думают: не человек, а столб какой-то.

Но волки не пересекают дорогу. Выбежав на нее, они устремляются ко мне. Что делать? Бежать? Но разве от волка убежишь? Вступить в схватку? А с чем? С балалайкой и карманным ножиком? Да еще против целой своры? Ледяная дрожь пронизывает меня. Неделью назад где-то здесь волки вытащили мужика из розвальней и растерзали. Может, это та же стая?

А звери — уже рядом. Останавливаются в двух шагах. И рычат. А я смотрю на них и стучу зубами. Что же будет? Чем кончится встреча? А может, это опять сон? Я до боли кусаю губу. Нет, не сон. Страшная явь. Вон как скалят они клыки. Как сверкают зелеными глазами. А рык все громче и свирепее. Злятся, что не падаю перед ними. Но я не хочу умирать. Не хочу. Я буду бороться. Всеми силами. До последнего вдоха.

Становится дурно. К горлу подступает тошнота. Тело странно немеет. Колени подламываются. Сейчас я упаду. И тогда все будет кончено. Балалайка выскользывает из рук. Бренчат струны. Волки пятятся назад. Чего испугались? Стука или звона? Я подхватываю балалайку и дергаю за струны. Волки снова откатываются. Вот оно что! Музыка действует. Я вскидываю балалайку и начинаю играть. В ночной степи льются ладные звуки. Волки пятятся дальше и дальше. Потом вдруг расступаются, садятся по два на обочинах и, задрвав оскаленные морды, воют. А я медленно иду между ними и наигрываю «барыню». Шагаю с таким видом, будто мне нет до них никакого дела. Но когда волки остаются позади, еле удерживаю ноги. Нет, нет! Идти шагом. И играть. Играть без конца. Только в этом спасение.

Я шагаю по дороге и старательно бью по струнам. А волки всей сворой следуют за мной. И в четыре глотки истошно воют. До каких пор они будут сопровождать меня? Скоро ли кончится концерт? И чем кончится? Не надоест ли им музыка? И хватит ли у меня сил играть долго? Пальцы уже начинают коченеть и с трудом перебирают струны. А дороге не видно конца. Что же будет, когда оборвется музыка? Не обрадуются ли звери? И не набросятся ли?

Я прибавляю шаг. Уйти бы, оторваться. И хоть немного подышать на озябшие пальцы. Но волки не отстают. Они движутся по пятам. И воют гнусаво, жутко, дико. Я теряю представление о времени. И не чувствую самого себя, словно растворяюсь в ночи. И весь превращаюсь в слух. А он до самых краев полнится воем. И только нестерпимый вой звенит в ушах, раздирает барабанные перепонки.

Но вот дорога ложится под уклон. Впереди — балка. А в балке —

село. Неужели волки пойдут и дальше? Я прислушиваюсь и замечаю: вой отдаляется. Скоро он и совсем затихает. Хочется оглянуться, чтобы передохнуть, успокоиться. Но страх подавляет желание. Вдруг зверюги втихомолку следуют за мной? И набросятся, когда увидят на лице ужас. И я продолжаю идти и играть, еле перебирая замерзшими пальцами. И как же долгон этот путь!

А в балке дорога и совсем разбита. Часто ее пересекают снежные валы и рытвины. Да и ночь в логу плотнее. Серый сумрак смешивается с туманом. И все же я не сбавляю ходу. И, спотыкаясь, не перестаю играть. А волки будто крадутся за мной. И ждут, когда замолкнет балалайка. А только не дождутся, поганые. Никогда не дождутся!

А вот и улица. Она в глубоком снегу. И в таком же глубоком сне. Не видно ни одного огонька, не слышно ни малейшего звука. И все же люди рядом. И душа возвращается на место. Я заставляю себя обернуться. А потом долго стою посреди дороги, тяжело дыша и размазывая слезы по лицу.

\*

Зимой в Знаменке принято устраивать посиделки. Девчата снимают хату. Она должна быть просторной и стоять на бойком месте. Плата сходная — керосин и топливо. А веселья — хоть отбавляй. Хороводы, игры, пляски. Плясать приходится под гребенку. Между зубьями гребенки вставляется лист бумаги. Чем тоньше, тем звонче. Девчонка или парень прикладывается к листу губами и наигрывает что душе угодно: «страдания», польку, «барыню». Даже перед вальсом не пасуют. И гребенка звенит, как диковинный инструмент. А что же делать? Ванька-то Колупаев со своей гармошкой бывает не на всех посиделках. Да и не задерживается, если и заглянет.

Попиликает минуту-две и смотается. Дескать, другие тоже ждут не дождутся. Мало радости от такой музыки. А тут еще лихая компания, увивающаяся за гармонистом. Брат Васька, Миня Лапонин, Петька Душин и прочие задавалы. Они кривляются, матерщинничают. И, что хуже всего, хлещут девчат поясами. Ни за что ни про что. Отказалась плясать — и засвистел ремень. И свистит, пока из девичьих глаз не посыплются слезы.

Мы горячо обсуждали проблему посиделок. Володька Бардин и я предлагали ради связи с молодежью не чураться их. Другие ребята колебались. Хотелось веселья, но пугали насмешки. А Прошка Архипов и

Илюшка Цыганков с пеной у рта доказывали, что посиделки — страшный пережиток. По этой причине снизойти до них значило совершить грехопадение, какому нет оправдания. В конце концов победа досталась им, Илюшке и Прошке. Большинством ячейка запретила комсомольцам бывать на посиделках, которые объявлялись очагами старины и бескультурья.

И вот мы, как отшельники, чахли в сельсоветской комнате. Штудировали газету «Молодой коммунар», читали разные книжки, спорили о социализме, о котором понятия не имели. И конечно, скучали. Коротать вечера приходилось без девчат, А какое же веселье без девчонок? Они же наотрез отказывались идти к нам. Никакие уговоры и посулы не помогали.

Но вот появились струны, и все изменилось. Впрочем, не одни только струны, а и фабричная балалайка. Та самая, которая так неожиданно выручила меня в ночной степи. Андрюшка Лисицин и Гришка Орчиков принесли и свои самодельные, но голосистые. На каждую навесили по шести струн. И зазвенели они, три балалайки, как оркестр. Куда там старой колупаевской гармазе!

Несколько дней на здании сельсовета красовалось объявление, намалеванное крупными буквами. Но на «Вечер дружбы» явилось всего лишь трое девчат и двое парней — Ленка Светогорова с подружками и Яшка Поляков с Семкой Судариковым. Не только густо, а даже пусто. За многотрудную подготовку — и такая скромная плата. И все же мы радовались. Лед тронулся. Заговор равнодушия нарушен. Завтра эти девчонки и ребята разнесут молву о том, как хорошо было в сельсовете. И другие не устоят. Потому-то мы, сил не жалея, развлекали первых гостей. Мы кружили девчат в вальсе, с ребятами выбивали чечетку. И старания наши не пропали даром. Надежды оправдались с избытком. На другой день пришло вдвое больше ребят. На третий — втрое. А на четвертый мы и считать перестали.

Но и после этого приходилось трудиться до седьмого пота. Мы попеременно играли на балалайках, носились с девчонками в танцах, не скупившись на рассказы и шутки. Так от вечера к вечеру. Ребята валили в сельсовет чуть ли не с заходом солнца. Теперь что-то неудержимо тянуло их к нам. Может, звонкие балалайки? Или деревянный пол? На нем не то что на земляном — легко выстукивать каблуками. А может, покоряло разнообразие? В перерывах между танцами Сережка Клоков декламировал стихи, Андрюшка Лисицин показывал остроумные фокусы, а Володька Бардин организовывал массовые игры. Правда, игры были без поцелуев. Ребята называли их постными. Но желающих участвовать в таких играх

хватало. И проходили они весело, с шутками и смехом.

По вопросу о поцелуях в ячейке тоже были жаркие споры. На этот раз победили мы с Володькой Бардиным. Мы заклеили такие игры как старорежимные и вредоносные. И сумели доказать, что подобные упражнения противоречат духу нашего времени. Да и как это можно целоваться в сельсовете? На посиделках еще куда ни шло... Но в сельсовете?.. Нет, это было бы чересчур! От стыда покраснел бы не только комсомол, а и Советская власть...

Но и без поцелуев молодежь развлекалась неплохо. До полуночи звенели балалайки, стучали каблуки, слышались песни. А в полночь приходил конец забавам. Парочками и группами растекались гости по домам. В сельсовете оставались только мы, комсомольцы. И начиналось самое трудное. Из соседней комнаты выносились подогретые возле грубки ведра с водой. С ног сбрасывалась обувь. Штаны закатывались выше колен. И мокрые тряпки начинали плясать по старым, выщербленным половицам. Таково было условие Лобачева.

— Хотите собираться и развлекаться? — сказал он, отвечая на нашу просьбу. — Пожалуйста, ничего не имею против. Только керосин ваш, как и на посиделках. А вместо топлива — пол. Утром пол должен быть как зеркало...

И мы терли его, старый, шершавый пол, мыли теплой водой, насухо вытирали суконками. И он в самом деле блестел почти как зеркало. А лбы наши покрывались крупными каплями пота. Но никто не жаловался, не роптал. Каждый знал, что победа не дается без труда.

\*

Однажды в самый разгар веселья в сельсовет ввалилась ватага подвыпивших молодчиков. Как на самых захолустных посиделках, они принялись кривляться и паясничать. Ванька Колупаев без приглашения уселся на видном месте, оттеснив Андрюшку Лисицина, игравшего на фабричной балалайке, и рванул поблекшие мехи гармошки. Но сиплый, расстроенный лай не вызвал восторга, и круг оставался пустым. Только Петька Душин вразнобой затопал хромовыми сапогами и гнусавым голосом запричитал:

Челды, елды, через колды чеколды.  
Пил бы, ел бы, не работал никады!..

Мы с тревогой следили за гуляками, не зная, что предпринять. Затеять ссору, а тем более драку в сельсовете не хотелось: легко можно было испортить хороший вечер. Да и скандал не принес бы пользы. Скорей наоборот. По селу поползли бы кривотолки и пересуды. И Лобачев мог взъерепениться. И закрыть «красные посиделки». Вряд ли он стал бы разбираться, кто прав, а кто виноват. Уговаривать же хулиганов было бесполезно. Уговоры действовали на них так же, как арапник на бешеных собак.

Вдруг Петька рванул Ленку Светогорову на середину круга.

— А ну, Светогориха, поддай жару! А то захочу, враз поколочу!

Ленка брезгливо фыркнула и пошла на место. Петька подскочил к ней, повернул ее к себе и звучно чмокнул в губы.

— Вот тебе, шваль!

Ленка со всего размаху залепила ему оплеуху.

— А вот тебе, мразь!

Кругом одобрительно засмеялись.

— Молодец, Ленка!

— Так ему и надо!

— Не будет слюнявиться!

Побурев от стыда, Петька приблизился к Ленке и принялся расстегивать ремень на френче.

— Сейчас я проучу тебя, зануда!..

Но перед ним встал Сережка Клоков.

— Отставить учебу. Учи себя на печи, а тут лучше помолчи...

Снова смех. Петька повернулся к Сережке, смерил его вызывающим взглядом. Но тем и ограничился. Крепкий комсомолец не девчонка. С ним не так-то просто сладить. А Петька не отличался храбростью. И напал только на слабых. Да и то исподтишка.

На выручку дружку поспешил Васька Колупаев.

— Сгинь, комса, а то дам по носам! Го-го-го!

Сережку отстранил Илюшка Цыганков. Он спокойно сказал Ваське:

— Уноси ноги, живодер! Да поскорей, пока цел.

Васька обалдело выпучил глаза. Его не боятся!

Ему угрожают! Вот так диво! Он захохотал так, что огонь замигал в лампе.

— Мотри-ка, пугают! А кто? Голытьба! Хлам и мусор!..

Илюшка вплотную подступил к Ваське, сжал кулаки.

— Хватит ломаться, бузотер! Мы не пугаем, а предупреждаем. Убирайся со своей шатией! Не то вынесем на носилках...

Васька хотел было гаркнуть, чтобы голосом потушить лампу, но поперхнулся, словно подавившись собственным гневом.

— Не ты ли вынесешь, Цыган?

— А хоть бы и я.

— Не чуди, пролетарий! А то, как бог черепаху...

— А ну, пойдём, друг!

Васька ещё пуще выкатил слюдяные глаза.

— Ты это сурьезно?

— Как видишь.

— Один на один?

— Верно понял...

Я с беспокойством смотрел на Илюшку. Что он делает? На что надеется? Вспомнилась схватка в церковной ограде. Тогда Илюшка и Митька вдвоем еле сдерживали Ваську. Теперь же он один вызывает громилу. Уж не рехнулся ли парень?

— Гоже! — рыкнул Васька багровея. — Но допреть гроб закажи. И с комсой протись...

Илюшка взял Ваську за руку и потащил к выходу.

— Пошли, комик! Сейчас сам угодишь в могилу...

Упираясь плечо в плечо, они вышли на улицу.

За ними, перебрасываясь шутками, хлынули все. На ходу мы условились разнять драку, как только Илюшка выбьется из сил. На улице нас ничто не связывало. Да и большая часть ребят держала нашу сторону.

Вокруг бойцов сразу же сомкнулось живое кольцо. И со всех сторон посыпались советы и предупреждения:

— Порядок блюда, ребя!

— Дуй на полную и без обману!

— Сзади не нападать!..

Яшка Поляков и Петька Душин бросились притаптывать снег. Ничто не должно мешать бою. Ванька снял с брата ватный пиджак. Под ним оказалась куртка с ременными застёжками. Илюшка тоже разделся, оставшись в одной рубашке.

— Правильно! — громогласно похвалил Семка Судариков. — А то жара будет!

Илюшка и Васька сошлись в центре круга и насторожились, готовые ринуться друг на друга.

— А ну, вдарь! — великодушно предложил Васька, будто Илюшкин

удар должен был доставить удовольствие. — Да не промажь! Больше одного не удастся!..

Еще несколько секунд они стояли один против другого, освещенные звездами. Но вот Илюшка качнулся в одну, потом в другую сторону, словно раскачивая в себе силу, и стремительно ударил Ваську в лицо. В ответ раздался многоголосый выкрик:

— Вот это съездил!

— Аж зашатался!

— Вася, дай сдачу, милоч!

Подхлестнутый криками, Васька бросился на Илюшку. И остервенело заработал кулачищами. А Илюшка пятился назад по кругу, отбиваясь и увертываясь. Казалось, не будь плотной стены из возбужденных зрителей, он бросился бы наутек. Но так только казалось. Я видел: Васькины удары не достигают цели. Они впустую бороздят воздух.

«Так, Илюша, — мысленно подбадривал я комсомольца. — Уходи от прямых. Уклоняйся и жди случая. И бей без промаха. Глуши одним ударом...»

И Илюшка будто услышал меня. Как молния, метнулся он на Ваську, едва тот остановился перевести дух. И нанес несколько ударов, вызвавших всеобщее ликование.

«Как мексиканец, — с радостью думал я, вспомнив рассказ Джека Лондона. — Сначала закрывался от вихря, потом сам налетел вихрем. Молодец!..»

Тревога отступила, и я с интересом стал наблюдать за поединком. Еще бы! Не простая, а классовая схватка! От ее исхода зависело многое: либо богатеи вволю поиздеваются над нами, либо сами проглотят горькую пилюлю. И я еще жарче подбадривал Илюшку:

— Так, Илюша! Уклоняйся и выматывай! Так. Очень хорошо. Не пропускай момента. И наноси ответ...

Васька с каждой минутой выдыхался. Удары его становились редкими, а дыхание — тяжелым и прерывистым. Мы видели это и торжествовали. Видел это и Илюшка. И постепенно захватывал инициативу. Наконец пришла Васькина пора защищаться. Но он делал это неумело: ведь до сих пор ему не приходилось обороняться. А Илюшка, вдохновляемый нами, окончательно выпрямился. И атаковал без устали, не оставляя ни одного открытого места. И бил сильно, точно, расчетливо. Кулаки его неуловимо взлетали над Васькой. Они не давали ему ни минуты покоя. И вынуждали тратить последние силы.

Ребята ревели от восторга. Даже девчонки, обычно молча

наблюдавшие кулачки, визжали. Да и как было не визжать! Непобедимого громилу бьют. И кто бьет-то? Илюшка Цыганков. Ничем не приметный парень. И поделом грубияну. Не будет измываться над девушками!

Внезапно Васька, как мешок с мякиной, рухнул наземь. И вытянулся на снегу, будто испутив дух. Ванька бросился к нему и принялся тормошить брата:

— Вась, а Вась! Ну же, вставай! Не кобенься!

А мы окружили Илюшку. Прошка набросил ему на плечи пиджак. Митька заботливо пригладил на голове взмокшие волосы. Ребята поздравляли победителя, похлопывали его по плечу. Но Илюшка ничего не замечал. Он стоял в боксерской стойке и смотрел на еле поднимавшегося Ваську. А когда тот, наконец, встал, шагнул к нему и спросил:

— Сыт или еще хочешь?

Васька не ответил и, пошатываясь, побрел прочь. За ним уныло поплелись дружки. А вдогонку им полетели свист, смех и злое улюлюканье.

\*

В тот же вечер, когда мы остались в сельсовете, Илюшка рассказал, как все случилось. Вскоре после того как я поведал ребятам о храбром мексиканце, Илюшке пришлось побывать в городе. Вместе с отцом он возил на базар пеньку, чтобы на вырученные деньги подкупить хлеба.

В городе Илюшка зашел в горком комсомола. И признался, что хочет научиться боксу. Он сказал, что стремится к этому не ради забавы, а для борьбы с классовым врагом. Секретарь горкома со вниманием отнесся к просьбе и написал записку с адресом.

В спортивном обществе Илюшку приняли также приветливо. Показали кожаные перчатки и «грушу». И подробно объяснили, как надо тренироваться. А на прощание подарили книжку, в которой обо всем рассказывалось просто и ясно.

Вернувшись домой, Илюшка набил песком сумку и подвесил ее в сарае. Потом надел овчинные рукавицы и принялся обрабатывать самодельную «грушу». И так с весны до нынешнего боя. Каждый день по нескольку раз. Даже в жаркое лето не изменял режиму. И все тайком, втихомолку. Чтобы не дознались и не подняли на смех.

— Хотелось, как тот мексиканец, — признавался Илюшка, застенчиво улыбаясь. — Это здорово помогало. Но помогало и другое. Я представлял, что передо мной не сумка с песком, а враг. Сильный, злой, хитрый. И надо

было победить этого врага...

А недавно Илюшке снова довелось побывать в городе. На этот раз они с отцом возили рожь и покупали одежонку для малышей. Конечно, Илюшка не преминул заглянуть к спортсменам. Теперь они приняли его как друга. Обо всем расспросили подробно. И решили проверить, чего достиг начинающий боксер. На руки надели настоящие перчатки и вывели на подмости, обтянутые канатами. В другом углу оказался веснушчатый подросток со светлым вихорком. Слушая наставления инструктора, Илюшка думал, каким по счету ударом свалит паренька. Но едва они сошлись на середине ринга, как сам непостижимо очутился на полу. Правда, быстро вскочил, умело увернулся от нового удара. Даже сам успел нанести удар, от которого подросток зашатался. Но все же долго продержаться не смог. Паренек загнал его в угол между канатами и забил бы совсем, не останови судья бой.

— Молодчина! — похвалил Илюшку инструктор, похлопывая его по спине. — Смело дрался. И долго стоял. Мы же выставили против тебя мастера в весе «петуха»...

А сегодня Илюшка решился выступить против Васьки. У громилы, конечно, вес скорее бычачий, чем петушиный. А силы не меньше, чем у иного буйвола. Но не зря же говорят: велика Федора, да дура. Илюшка подтвердил эту мудрость, посрамив силача.

— Ты, понятно, доложишь Симонову, — вдруг сказал Илюшка, повернувшись ко мне. — А он присобачит мне какой-нибудь уклон. Скажет, идеями надо бороться, а не кулаками. И влепит выговор.

— Что ты, Илюша! — воскликнул я, да так громко, что свистнул на букве «ш», рассмешив ребят. — И не подумаю докладывать. А если бы и доложил, ничего не было б. Симонов-то, он же неглупый парень. Понимает что к чему. А что до нас, то я так скажу. Нынче ты заработал не выговор, а благодарность.

Глаза Илюшки радостно засияли.

— Ты это правда?

— Ну, конечно, правда! — с жаром продолжал я. — И ты сейчас убедишься... — Быстрым взглядом я окинул ребят. — Предлагаю объявить товарищу Цыганкову от ячейки благодарность. За то, что он проучил классового задавалу. И тем самым высоко поднял авторитет комсомола. Кто «за»?..

И первым поднял руку. За мной подняли руки все.

На сходки карловцы собирались редко. А собравшись, не очень-то разглагольствовали. Не любили тратить слова, словно они дорого стоили.

Обычно сходились у Кости Рябикова. Он был уполномоченным сельсовета по Карловке. К тому же его хата вмещала больше народу, чем любая другая на хуторе. А хозяйка, добрая и простодушная Катерина Степановна, так встречала хуторян, что невозможно было усидеть дома.

Но на этот раз и жилище Рябикова оказалось тесным. На сходку явились не только мужики, а и бабы. Даже моя мать, чуравшаяся всяких собраний, и то пожаловала. Пожаловала вслед за отчимом, должно быть не доверяя ему. А может, подозревая сына в дурных намерениях.

Мужики курили больше обычного. Скоро в хате, несмотря на полдень, стало темно. Пришлось зажечь лампу. Но она горела нехотя, задыхаясь в дыму. Бабы чихали, кашляли и обзывали мужиков нелестными словами, а те только посмеивались и продолжали дымить.

«А кто звал вас, сороки? — как бы говорили они всем своим видом. — Сами показали прыть. А ради чего, спрашивается? Вертелись бы у печи да лепили калачи. А не совали нос в общий обоз...»

Но многие сами притащили жен. Чтобы в случае чего спрятаться за их спину. И свалить на них вину. Дескать, мы тут ни при чем. Это все бабы. А что с них взять, отсталых?

А позвали мужики жен потому, что сами страшились. Коммунисты, видите ли, намереваются взломать порядки, заведенные исстари. И сварганить какую-то артель, именуемую «тозом». А как можно жить целой артелью, когда в одной семье часто не бывает ладу? Вот и тревожились. И на всякий случай старались огородиться.

Сидя рядом с Костей за столом, я наблюдал за собравшимися. Односельчане. Добрые и сварливые. Податливые и упрямые. У каждого своя душа. А в каждой душе свои потемки. Попробуй проникнуть. И отгадать, что там.

Взгляд невольно задержался на Иване Ивановиче. Чуткий и уважительный сосед. В то же время колготной и взбалмошный. В любую минуту может взорваться. И поднять шум. А потом, когда увидит, что напрасно, сморщится, как от боли, и скажет:

— Ишь ты, едят ё мухи. Взбрыкался, как необъезженный. Вожжа под хвост попала.

Но детектор все-таки тронул старика. Не раз он вспоминал слова,

услышанные из Москвы. И не раз жалел, что не довелось еще послушать столицу.

— Это ж надо, а? — сокрушался он, когда заговаривали об украденной антенне. — Да как же можно так? Сам бы отрубил руки подлецам!..

Но про печи в клубе помалкивал. Будто ничего и не было. Молчал и я. Но молчал не потому, что забыл или смирился. Нет! Забыть и смириться трудно было. Ждал тепла. А когда оно придет, печник и сам назовется. И загладит свой грех перед народом.

Думая так, я смотрел на деда Редьку. А он, словно почувствовав мой взгляд, вдруг встрепенулся, заерзал на скамье и вскинул бородавку.

— Слышь-ка, Костенька, начинать бы пора. Не то бон как пропотели и провоняли чадом...

Другие тоже заворчали, требуя открывать сходку. Рябиков пробежал по лицам глазами, точно подсчитывая собравшихся, и сказал:

— Открывать так открывать. И правда, семеро одного не ждут... — и кивнул. — Валяй, Касаткин, докладывай...

Я встал, но меня опередил все тот же дед Редька.

— Слышь, Костенька, — сказал он, дернув себя за бороду. — А отчего не сам ты докладываешь? Ты ж у нас хуторской вождь. И мы уже привыкли к твоим докладам.

Костя скривился, будто проглотив какую-то тухлятину.

— Никакой я тебе не вождь, — сказал он. — А кто докладывает, неважно. Партячейка поручила ему. Он кандидат, ну и все тут.

— То-то, кандидат, — не сдавался Иван Иванович. — А на что нам кандидат, коль в натуре имеется член?

На деда зашикали. И Костя, ободренный поддержкой, сказал:

— И что ты лезешь в каждую дыру, Иваныч? Как какая-то затычка, честное слово! Ни одно собрание не обходится без твоих вылазок. Да были б вылазки подходящие. А то так, одна дурость. — И властным движением руки остановил пытавшегося возразить старика. — Сиди и слушай. Некогда нам с тобой дискуссировать. — И снова мне: — Давай докладывай.

Я встретился глазами с матерью. Она смотрела на меня сурово, будто заранее осуждала. И глаза других карловцев показались строгими, осуждающими. По спине пробежал неприятный холодок, внутри что-то защемило. Но я взял себя в руки и, была не была, начал.

Я рассказывал о том, что такое товарищество по совместной обработке земли. Рассказывал обстоятельно и, как самому казалось, убедительно. О таком коллективном объединении я знал все до мелочей. А знал из газеты, которую получал на ячейку. В последних номерах она напечатала несколько

рассказов о разных артелях. Из каждого рассказа я выбрал самое важное, объединил в одно целое, заучил на память и теперь шпарил как по писаному.

Мужики слушали в глубоком молчании. И смотрели на меня подозрительно, будто я готовил им западню. Но дали договорить, потом глухо загудели, беспокойно заерзали, звонко зашлепали губами, раскуривая сигарки.

И опять первым вскочил дед Редька. Сжимая в руках потертую капелюху, он спросил меня:

— Слышь-ка, мил-друг, а откуль ты про все проведал? Ежели это, знамо дело, не секрет?

Я ответил, что обо всем, что рассказал, прочитал в газете. Дед Редька подергал себя за щупленькую бороденку и показал выщербленные зубы.

— А почему ж это мы должны верить газете? Можить, в той газете прописана суцая брехня. А ты нам энту брехню за чистую правду преподносишь?

Прежде чем я ответил, Рябиков стукнул кулаком по столу и наставительно сказал:

— Предупреждаю, дед. Не имеешь права подозревать наши газеты в брехне. Это тебе не буржуйская пресса, а советская печать.

— Усмиряюсь, Костенька, — просипел Иван Иванович. — Я только так, промежду прочим. Для выяснения, стало быть. А подозрений никаких не имеем. Упаси бог.

— Ясно, — сказал Рябиков. — Еще есть вопросы?

— А то как же? — встрепенулся Иван Иванович. — Беспременно есть. И главный такой... — Он повернулся ко мне, и на морщинистом лице опять расплзлась хитрая усмешка. — А скажи-ка, мил-друг, что допрежь явилось на свет божий — курица аль яйцо?

— Как это? — не понял я.

— А вот так, — пояснил старик. — Ежели, скажем, курица, то из чего она вывелась? А коль яйцо, то кто ж его снес?..

Хохот всколыхнул дымное облако под потолком. Я растерянно смотрел на гогочущих мужиков, на визжащих баб и с обидой думал об Иване Ивановиче. И что за въедливый старик? И отчего ведет себя не по соседски?

А Рябиков, утихомилив сходку, сердито сказал деду Редьке:

— Вопрос к делу не относится. И не баламуть собрание, дед. А то я не погляжу, что самый старый.

— Не согласный с тобой, Костенька, — возразил Иван Иванович. —

Вопрос мой дюже людям к делу подходит. В самую притирку. А ежели вы с ним, — кивок в мою сторону, — не в силах справиться, то отвечу сам. И курочка и яичко разом на свет появились. А произвел их, значитца, бог. Как и все сущее на земле. И нас сотворил такими, какие есть. А потому, стал быть, невозможно нас, как скотину, на общий баз...

— Ну хватит, — досадливо махнул Рябиков. — Садись, дед. Тебя выслушали. Послушаем кого другого...

От окна отвалился Костопаров, один из богачей Карловки, переступил валенками, словно утверждаясь на ногах, и нетерпеливым движением расправил бороду.

— Сообща оно, можить, и сподручней. А тольки, как же это можно сопоставить? Чтобы справедливость соблюсти. Вот возьмем, к примеру, меня и кого-то из безлошадных. И что ж тодыть получится? Я на своих лошадках буду пахать, сеять, скородить, снопы с поля таскать и прочие дела делать. А безлошадник в то время станет чем заниматься?

— Безлошадник в это время будет делать другое, — решил я восстановить свой пошатнувшийся авторитет. — Полоть сорняк, косить, снопы вязать, молотить.

Костопаров окинул меня снисходительным взглядом.

— Полоть, косить, вязать, — повторил он, наигранно улыбаясь. — А ежели я все это сам с сынами и невестками могу? В таком разе как быть?

— В таком разе как хотите, так и поступайте, — разошелся я. — Уж вас-то никто силком в артель не потянет. Обойдемся и без ваших сыновей и невесток...

— Ах даже так-тось! — воскликнул Костопаров, сделав обрадованный вид. — Ну, тоды благодарствуем. И вопросов больше не имеем...

Костопарова сменил Гришунин, тоже видный карловец, владелец крупной пасеки. И этот не скрыл беспокойства. И, сравнив себя с многодетным бедняком, заключил, что тот, бездельничая, припеваючи будет жить в артели. Семен Палыгин, хромой сапожник и отец десятерых детей, приняв укор на себя, матерно выругался и заявил, что ни за какие деньги не согласится объединяться с костопаровыми и Гришунинными.

— Еще надо посмотреть, кто больше бездельничает. А потом уж и оскорбление наносить. А то ответ держать придется.

А потом наступило молчание. Никто ни о чем не спрашивал, ни о чем не говорил. Мужики беспрестанно сопели сигарками, а бабы вызывающе поджимали губы. Будто сговорились играть в молчанку и сорвать сходку.

Рябиков много раз просил высказываться, но ответом было упорное молчание. И тогда он достал тетрадь, разглядел ее на столе и, послунив

карандаш, сказал:

— Не желаете говорить, будем записываться. Вступаю в ТОЗ первым. — И аккуратно вывел в тетрадке свою фамилию. — Кто следующий?

Вторым записался Семен Палыгин. За ним подали голоса еще трое безлошадников. И снова молчание.

Я глянул на отчима. Согнувшись, он прикрывал лицо ладонями, будто стыдясь чего-то. Я перевел взгляд на мать. Она, наоборот, сидела прямо и не отрывала от меня глаз. И тогда я громко сказал:

— Записывай и меня...

Рябиков записал и мою фамилию. На середину вышагнул дед Редька.

— А ты что ж, мил-друг, никак всей семьей идешь?

— Нет, — ответила за меня мать. — Он записал себя. А мы пока что подождем.

— А как же со стригуном-то? — не унимался Иван Иванович. — В артель отдадите аль при себе оставите?

— Ничего не дадим, — отрезала мать. — Пусть идет голый. И наживается вместе с артелью. А мы свое нажили сами. И никому ничего не отдадим... — Она встала, накинула на голову платок. — Вот и весь сказ. А теперь прощайтесь. Хватит воду в ступе толочь...

Она вышла. За ней встали другие бабы. За бабами потянулись мужики.

Проходя мимо стола, отчим, не подняв глаз, проговорил:

— Правильная ваша затея, ребятки. А только народ пужается. И Прасковья Ивановна покамест ни в какую. Ни на что не поддается. Ни на какую агитацию...

И вот мы остались одни. Рябиков, Палыгин, я и трое других безлошадников. Долго молча смотрели друг на друга, будто виделись впервые. Потом Костя сказал:

— Начало положено, товарищи! Оформим артель. Назовем, как и хутор, именем Карла Маркса. Никто не против? Считается принятым. А теперь изберем председателя. Называйте кандидатуру...

Мы хором назвали его. Он кивнул, точно благодаря, и подытожил:

— Итак, ядро социализма зародилось и у нас. Теперь начнет расти и развиваться. Как плодое дерево в хорошей почве...

\*

Я не сомневался, что мать снова выгонит меня из дому, и перебирал в

уме знакомых, где можно бы приютиться. Теперь я уже не чувствовал страха, как год назад, и не собирался прятаться.

Но мать не выгнала меня. Она только с нескрываемой горечью сказала:  
— Живи как знаешь. Сам по себе. А мы сами по себе. И на нас не надейся. Чужой ты нам. Постоялец...

И, не желая слушать меня, вышла из хаты. А отчим, когда за ней закрылась дверь, попыхтел трубкой и сказал:

— А ты не горюй, сынок. Мать, известное дело, расстроилась. Тяжко смириться с твоим отколом. Но ТОЗ этот самый вы образовали не напрасно. Я вот подумал и решил... Пора и нам начинать ломку. Хорошую жизнь никто на блюде не преподаст. За нее, как видно, придется драться. А драться с пользой можно только сообща. То есть, значитца, коллективно. Так что верное приняли решение. И пусть он, ваш ТОЗ, покамест не ТОЗ, а «тозик», все одно — великое дело. Минет время, и артель разрастется. И всех нас объединит. Всех до одного. И мать наша пойдет. Как увидит, что не подвох, так и потянется. Она ж себе не лиходейка. А покамест надо подождать. Требуется время. — И, вздохнув, покачал головой. — На многое требуется время. И на то, чтобы ТОЗ образовать. И на то, чтобы кулаков одолеть. И на то, чтобы с отсталостью нашей покончить. На все требуется время. Даже на то, чтобы понять это самое время. Ну, значитца, в какое живем. И уж придется набраться терпения. Другого выхода нет...

\*

Однажды в селькрестком явилась Домка Землякова. Без приглашения опустившись на табурет у стола, она широко улыбнулась и подмигнула мне раскосым глазом.

— А я к тебе, председатель. Хлеб весь вышел. Последние крохи доедаем. Вызволи, председатель. Христом богом прошу.

С безотчетной тревогой я пододвинул к себе бумаги, боясь, как бы она не сцапала их.

— А самогонкой, что ж, уже не промышляешь? Это ж доходная статья. Домка тяжело вздохнула и болезненно поморщилась.

— Лапонины-то посадили. Вот и статья лопнула. Как мыльный пузырь. Так что лишилась доходу.

— Кроме Лапонины, есть и другие винокуры.

— Других не знаю. Не связывалась. Только Лапониным кормилась. А

теперь кормежка кончилась. Все, что заработала, истратила. Ни гроша, ни зернышка. Хоть клади зубы на полку.

По ней не видно было, что она нуждалась. Краснощекая, грудастая, она выглядела цветущей молодой. И глаза настырно блестели. В крестком чуть ли не каждый день приходили бедняки. Больше всего это были вдовы. Прося помощи, они плакали, стонали. А эта не плакала, а улыбалась. И улыбалась так, будто пришла не хлеба просить, а в гости звать.

— Ну, так как же, председатель? Пудиков пять бы. И мукой, понятно. А то этот дьявол, Комаров-то, за помол уж больно дерет. Ну, вызволяй, председатель.

— Не могу, — сказал я, почему-то испытывая раздражение. — Не располагаю возможностью. Да и вряд ли ты нуждаешься.

— Ей-богу, нуждаюсь. Вот те крест. — И небрежно перекрестилась. — Нужда уже на плечах. Давить начинает. Ну, отпусти, председатель. Пудиков пяток. Двое ребятишек. Да и самой жрать надо. — И, воровато оглянувшись на дверь, подалась ко мне. — А я уж отблагодарю. Зайдешь как-нибудь, бутылочку разопьем. Самого крепкого достану.

Я чувствовал, как загораются мои уши. Хотелось надавать ей по щекам и выгнать вон. Ничего другого нахальная вдова не заслуживала. Но я сидел неподвижно, как пригвожденный к месту. И ничем не выражал негодования. Она была еще и кляузной, эта Землячиха. И несладко приходилось тому, кто попадал ей на язык.

— Ну, так как же, председатель? — спросила Домка. — Поладили?

— Нет, не поладили, — набрался решимости я. — Самогонка твоя не требуется. Угощай кого-либо другого. А я тебе неподкупный. Хлеба не дам. Ни за что не дам.

Домка обиженно поджала губы. А потом спросила:

— Что за причина, председатель?

— Я уже сказал, — пояснил я. — Не такая уж ты беднячка.

— Как это не такая? — возмутилась вдова. — Двое сирот. Мужа в гражданку потеряла. Ни кола, ни двора нет. Хата и та подпорок просит. Какую ж тебе еще беднячку?

— На самогонке небось немало наспекулировала? Сотнями, должно, загребала?

Домка полоснула меня злым взглядом:

— Ххха, сотнями! Какой ты провидец! Прямо в нутре все замечаешь...

— Ладно, — прервал я. — Кончим разговоры. Хлеба нет. Купишь в городе на базаре.

На круглом лице вдовы проступили коричневые пятна. А раскосые

глаза совсем сузились и стали похожи на лезвие ножа.

— В город сам проваливай. А я в кресткоме получу. Не хуже других горемыка. Имею полное право. И требую.

Я не выдержал и, грохнув кулаком по столу, крикнул:

— А я не дам!

Домка вся выпрямилась и тоже бухнула кулаком по столу.

— Нет, дашь!

— Нет, не дам!

— Нет, дашь!

Усилим воли мне все же удалось удержать себя, и я, стараясь быть спокойным, сказал:

— Ну, вот что. Уходи отсюда. Сейчас же уходи. Иначе я не ручаюсь...

Домка смерила меня презрительным взглядом.

— Ах, так! — угрожающе прошипела она. — С тобой по-хорошему, а ты по-скотски? Ну что ж, как знаешь. А только пожалеешь.

— Это о чем же? — спросил я, почувствовав на спине холод.

— А все о том же, — усмехнулась вдова. — Распуцу слушок. Молодчик-то этот, Хвиляка, за хлеб ласку потребовал. И не дал, как отказала...

От нее можно было ожидать что угодно. Но тут она превзошла все. Я долго смотрел на нее.

— И думаешь, тебе поверят?

— Еще как!

— Но это же брехня.

— И что ж что брехня? Кое-кто обрадуется ей. И раздует получше правды.

Вспомнились Дема и Миня Лапонины. Братья и впрямь с радостью подхватят клевету. И разнесут по всему свету. Они только и ждут случая, чтобы очернить противников.

— Да за такую выдумку я привлеку тебя к ответу.

— А ну, скажи, что сделаешь?

— В суд подам.

Домка весело засмеялась.

— Ну и глупый же. Да суду-то свидетели нужны. А где ты их возьмешь? То ж было меж нами, с глазу на глаз.

— Меж нами ничего не было.

— Это так. Но попробуй доказать...

Мне не хватало воздуха. Казалось, она забрала его весь в свою крутую грудь. Но и Домка дышала тяжело. И жгла меня горящим взглядом.

— Слушай, — сказал я. — Неужели у тебя нет стыда?

Домка опять рассмеялась. Но тут же оборвала смех, насупилась.

— А на что он мне, стыд? И без стыда прожить трудно. А со стыдом и совсем околеешь. — И опять с вызывающей усмешкой глянула на меня. — Ну, так как же, председатель? По-хорошему аль со скандалом?

Да, этой женщине ничего не стоило оболгать. Она способна вывалить в грязи честь и совесть. Но почему же она так ведет себя? Может, и ей несладко приходится? И может, чуткость пробудит уважение к себе?

— Хорошо, — сдался я. — Приходи завтра. Тогда и решим.

Она опустила глаза, глубоко вздохнула.

— Спасибо и на этом...

И направилась к выходу. В дверях остановилась.

— А может, все же заглянешь? Как-нибудь вечером... — И вдруг запнулась, даже смутилась. — Да ты не подумай... Не за хлеб это. Хлеба все одно дашь. Никуда не денешься. Просто так. Хочется угостить. Все ж таки хороший, видать, ты, дурачок.

— Ну, хватит тебе, — взмолился я. — Ступай уж. А завтра приходи. В это время.

Домка запахнула полы кофты, застегнула пуговицы и вскинула голову.

— Завтра приду. Только дашь муки.

— Муки не будет. Вся вышла. Заранее говорю.

Домка закусила губу. Так стояла несколько секунд, будто решая что-то. Потом сказала:

— Ладно. Дашь зерном. Пуд накинешь. Для Комарова на помол. — И снова зло сверкнула глазами. — И что вы с ним цацкаетесь? Народ средь бела дня грабит. А вы в рот ему смотрите. Отобрали бы мельницу в крестком. И молотили бы бедноте бесплатно. А всем прочим — по справедливости. — И с шумом выдохнула воздух. — Была бы на вашем месте, я бы давно с ним разделалась. Чтобы не сосал из народа последние соки.

Не простившись, она вышла. А я долго еще сидел неподвижно. Почему-то ждал, что она вернется. Вернется, чтобы снова мучить меня. Но она не вернулась. И я почувствовал облегчение.

\*

О встрече с Домкой я рассказал Лобачеву. Не утаил ни приглашения, ни угрозы. Думал: рассказ развеселит председателя сельсовета. Но Лобачев

еще больше посуровел. И долго молчал. А потом глухо сказал:

— Когда придет, оставь нас вдвоем. Пропесочу, чертовку. Чтобы впредь зареклась...

Домка явилась в назначенный час. Увидев Лобачева, смутилась. Но тут же напустила на себя беспечный вид и нараспев сказала:

— Здравствуйте, товарищ председатель! Мое вам почтеньице!

Я пододвинул ей табурет и вышел, плотно закрыв дверь. На крыльце остановился. Переждать поблизости. Может, понадоблюсь.

Из водосточной трубы, свисавшей с крыши, со звоном выплескивалась вода. Она весело журчала и в ручейках на улице. Солнце ярко вспыхивало в окнах хат. Радостно было и на душе. В ближайшее время — открытие клуба. Всю зиму простоял он под замком. А теперь мы опять перекочуем туда со своими делами.

А еще радостно было оттого, что пришло письмо от Маши. На этот раз она писала много и откровенно. Она по-прежнему жила в Воронеже и работала на заводе учеником токаря.

«Если бы ты знал, Федя, как трудно было. Если бы только знал. Ничто не радовало, ничего не хотелось. Как болезнь какая-то, с которой трудно было справиться в одиночку. И тогда я решила пойти на завод, к рабочим ребятам...»

Да, ей нелегко было. И хорошо, что она подалась на завод. Там, в рабочем коллективе, обрела она новые силы. Но неужели мы больше не встретимся? Неужели навсегда разошлись наши пути-дороги?

Неожиданно из-за дома вышел Миня Лапонин. Увидев меня, он остановился, подумал. Потом решительно направился к крыльцу. Я спрятал письмо в карман и перешел на другую сторону, будто стараясь занять место поудобнее. Встреча с Прыщом всегда настораживала меня, и я всякий раз невольно подтягивался, готовясь к обороне.

Подойдя к крыльцу, Миня скабрено ухмыльнулся и пренебрежительно сказал:

— Привет, секлетарь! Давно собираюсь потолковать. Вопрос к тебе дюже важный. Хочу узнать, когда перестанешь вредить мне? Отца засадил в тюрьму — ладно. Туда ему и дорога. А вот за Клавку Комарову не благодарю. Даже обратно предупреждаю.

Я не понял, о чем речь. Миня снова поморщился, как от изжоги, и зло продолжал:

— О Клавке говорю. Попридержал бы язык, пока его не вырвали. У меня к ней чувства. Может, на всю жизнь. А ты впутываешься. И расстраиваешь дело.

Ах, вон оно что! В тот раз я нелестно отозвался о женихе. Даже, кажется, назвал его обезьяной. Неужели это расстроило сделку? Но как об этом стало известно Прыщу? Клавдия призналась? Или мельник передал ее признание?

— Я не впутывался и не собираюсь впутываться в твои дела, — сказал я, испытывая отвращение. — Но говорить о тебе буду всегда, что думаю. А думаю я о тебе только одно: ты настоящий гад и к тому же вонючий.

С этими словами я сошел со ступеньки и сжал кулаки. В кармане у меня лежало письмо Маши. А перед глазами стояла она сама с синяками на теле. И мне хотелось наделать таких же синяков на бугристом лице Прыща. Но тот не принял вызова. Трусливо втянув шею в воротник бобрикового пиджака, он отступил назад.

— Ладно, секлетарь, — процедил он сквозь зубы, забитые едой. — Больше предупреждать не будем. Хватит. Теперь будем...

И не досказав, что теперь будет, двинулся по улице. А я снова поднялся на крыльцо. И опять достал письмо Маши. Но на этот раз ровные строчки прыгали перед глазами, и на бумаге проступало девичье лицо. Оно было таким же, каким я видел его в последнюю встречу: гневным, обиженным, страдальческим. Я сунул письмо в карман и до боли стиснул челюсти. Нет, никогда я не забуду того, что случилось. И успокоюсь, когда ненавистный Миня получит свое.

В коридоре послышались шаги. На крыльцо вышла Домка. Выглядела вдова теперь неуверенно, даже сконфуженно.

— Ну как? — спросил я, с любопытством разглядывая ее. — Договорились?

Домка с нескрываемым сожалением посмотрела мне в лицо.

— Эх ты, рашпиленок! — проговорила она. — Уж и растрепался. Не выйдет из тебя ничего путного.

Покачивая бедрами, она сошла по ступенькам и крупно зашагала по стезжке, покрытой еще гладким, но уже потемневшим ледком. А я смотрел ей вслед и не испытывал обиды. Да на нее и грешно было обижаться. Как могла, она боролась за свое место в жизни. И не ее вина, что в этой борьбе ей приходилось пользоваться недозволенными приемами.

Когда Домка скрылась за углом, я вернулся в сельсовет. Лобачев, словно успокаиваясь, прохаживался по комнате. И у него был какой-то неуверенный, даже смущенный вид, точно он провинился в чем-то.

— Вот что, — сказал он, едва я опустился на стул. — Мы поговорили тут. Поговорили начистоту. Думаю: кое-что поняла. А кое-что поймет потом. Не все сразу. Что касается хлеба, придется помочь ей. Нам она не

чужая и не чуждая. Теперь самое время оторвать ее от врагов... — И, взяв со стола бумагу, положил передо мной. — Ее заявление. Пока что на три пуда. А там посмотрим... — И снова прошелся по комнате, подумал, точно припоминая что-то. — И условимся так. Отныне будем вместе разбирать просьбы на хлеб. Так будет лучше для тебя и для просителей...

\*

В клубе было зябко и сыро, но зато весело и вольно. Мы поставили стол перед окном, через которое пригревало солнце, и дышали паром.

Я пересказывал письмо Маши, которое получил накануне. Она работала на заводе ученицей и была довольна. А пересказывал я потому, что не мог прочитать. В письме были такие места, которые трудно объяснить. Ведь ребята до сих пор не знали всего. И потому-то я сказал, что забыл письмо дома, хотя оно лежало в кармане.

Ребята слушали с жадностью. Они уважали Машу и радовались за нее. Но не скрывали и огорчения. Нелегко было расставаться с единственной комсомолкой. К тому же расставание получилось странным. Маша уехала внезапно. Это похоже было на бегство. Но от кого или от чего бежала Маша?

— Все ж таки удивительно, — сказал Андрюшка Лисицин. — Ну, уехала к тетке. Так может быть. Допустим. Но почему же не предупредила и не простилась? А так не бывает. И это недопустимо.

— По уставу мы можем даже исключить ее, — заметил Гришка Орчиков. — Три месяца пропадала. И небось взносы не платила.

— Платила, — сказал я. — Стала там на учет и платила. Об этом написано в письме. Я забыл сказать.

— Но почему же она уехала? — спросил Сережка Клоков. — Мы тут беспокоились. Что только не передумали! Ведь она ж нам не чужая.

— Не будем гадать, — предложил Володя Бардин. — Значит, была причина. Сейчас давайте ответим ей. Обо всем отчитаемся...

Предложение Володи понравилось всем.

— Ты записывай, — сказал мне Сережа. — А мы будем диктовать. Вначале напиши, что, конечно, рады. А потом и про дела. Хвалиться нам нечем. Но все же работа не стояла. За зиму приняли четверых. Ребята хорошие. Пропиши фамилии. Она ж их знает. Еще троих готовим.

— Обидно только, что не идут девчата, — пожаловался Гришка Орчиков. — Об этом тоже упомяни. Прямо ничем их не заманишь. Живут

по старинке. А без девчат даже в комсомоле скучно.

— О суде над Лапониным не забудь, — подсказал Митя Ганичев. — Пятерку отвалили кулаку. За самогонокурение. А вот Дема и Миня так и отвертелись. Сухими из воды вышли. А это несправедливо. Не один же старик занимался поганым делом.

— От себя про Дему и Миню дописываю, — сказал я. — Сейчас отвертелись. Но мы их все же не оставим в покое. И добьемся своего. Они ответят за все. И ответят по всей строгости. Ничто не поможет им избежать кары.

— Про ликбез сообщи, — посоветовал Володька Бардин. — Работа идет полным ходом. Даже некоторые старики учатся. К примеру, мои родители. Грамотных на селе, считай, уже намного прибавилось.

— Но скоро с учебкой кончать придется, — добавил Гришка. — Весна наступает. В поле выедут не только единоличники, а и ТОЗы. Их пока что три на все село. К тому же они малочисленные и маломощные. Но все же это коммунистические зачатки.

— В артели вступили и комсомольцы, — дополнил Володька. — Некоторые с родителями, а некоторые — без них. Обещаем показать трудовой пример.

Неожиданно в клуб вошла Ленка Светогорова, наша карловская девчонка. Она осмотрела нас и осторожно приблизилась к столу.

— Тут, что ли, в комсомол принимают?

Несколько мгновений мы молча смотрели на Ленку. Потом разом вскочили и наперебой стали упрашивать ее садиться. Она загадочно усмехнулась, присела на скамью и отбросила назад толстую, цвета спелой ржи косу.

— Вот пришла, — сказала она, хлопая длинными ресницами. — С просьбой к вам. Примите, пожалуйста, в комсомол...

Я спросил ее:

— А зачем тебе комсомол?

Ленка подумала и певуче ответила:

— Чтобы учиться. И чтобы передовой быть...

— А родители как? — спросил Володька Бардин. — Позволили?

— Позволили, — ответила Ленка. — А если бы не позволили, не пришла бы.

— Ты знаешь, — заметил Андрюшка Лисицин, — что комсомольцы не верят в бога?

— Знаю, — пропела Ленка. — И тоже не буду верить.

— А сейчас веришь? — спросил Семка Судариков.

— Сейчас верю, — призналась она. — А почему ж не верить, коль не комсомолка?..

Я слушал Ленку и испытывал необычайное волнение. Она была тоже хуторянка. Отец ее недавно записался в ТОЗ. Это был первый середняк в нашей артели. А теперь вот дочь пришла в комсомол. Одна из самых лучших девушек. Что поет, что пляшет. И на работе равных нет.

Ребята расспрашивали Ленку и смотрели на нее, улыбаясь. Не скрывали радости, будто она становилась сестрой. Мне вспомнилась Маша Чумакова, которой мы только что сочиняли ответ. Вот и явилась ей замена. И в ячейке не будет унылого одиночества. Ведь за Ленкой придут и другие девчата. Теперь в это верилось.

Сережка предложил сейчас же принять Ленку. Но Володька Бардин возразил:

— Нет, нет! Так нельзя. Пусть подает заявление. Соберем ячейку. Чтобы все как положено...

Мы согласились с Володькой. Всем хотелось, чтобы прием прошел торжественно. И чтобы важность события почувствовала не только Ленка, а и мы сами. Сережке не терпелось, потому что Ленка была его подружкой. Но он все же не настаивал на своем. И даже пообещал помочь Ленке подготовиться.

— Устав проштудируем, — сказал он, глядя на Ленку во все свои голубые глаза. — И о задачах потолкуем...

Когда Ленка собралась уходить, мы все, как по команде, встали. Она усмехнулась и, потупившись, спросила:

— Только скажите, косу в комсомоле обязательно отрезать?

— Нет, — сказал я. — Совсем не обязательно.

— Ну что я тебе говорил? — упрекнул Сережка. — А ты все не верила. И боялась. — Он вдруг смутился, точно решив, что выдал себя. — Носи на здоровье.

— Такая чудесная коса! — сказал Володька. — И так идет тебе. Мы не только не заставим отрезать, а не примем, если отрежешь...

Ленка счастливо зарделась.

— Ну, тогда спасибо. И до свидания! — проговорила она, скользнув по нашим лицам веселым взглядом. — Пойду готовиться...

Неторопливой походкой она вышла. А мы еще некоторое время смотрели на дверь, за которой скрылась будущая комсомолка. А потом Гришка Орчиков сказал:

— Знаете что! Давайте объявим Сережке благодарность. Это же он ее сагитировал.

Оттопыренные уши Сережки порозовели.

— Какая там благодарность! — простодушно отмахнулся он. — Я ж ничего не добился. Маялся, маялся, а все без толку. Никак не поддавалась. Плюнул и бросил. Как хочешь, так и делай. А она вон явилась. Явилась сама по себе, без моей агитации.

— Слушайте, ребята, — сказал Митька Ганичев. — А у меня есть предложение. Давайте решим так. Каждый должен вовлечь свою девушку в комсомол.

— А если ее нет, девушки? — спросил Яшка Поляков. — Тогда как?

— Тогда надо занять, — посоветовал Семка Судариков. — В самое ближайшее время. И сразу в комсомол вовлечь.

— А ежели она не вовлечется? — спросил Гришка Орчиков. — Ежели у нее трудный характер?

— Если так, — сказал Митька, — тогда побоку ее. И другую завести.

— А любовь? — встревожился Гришка. — Как с этим?

— Любви не может быть с такой, какая не в ногу с нами, — разъяснил Митька. — Сперва пускай сознание свое поднимет. А потом уж и в комсомольца влюбляется...

Разговор прервал Илюшка Цыганков. Он вбежал в клуб и долго не мог отдышаться. А когда отдышался, сказал, стуча зубами:

— Прошка помирает. Лежит пухлый и синий. Вот, вот кончится.

\*

К Прошке рвалась вся ячейка. Но после недолгого спора решили отправить троих: Илюшку, Володьку и меня. Остальные согласились ждать в клубе. Либо все мы, либо кто-то из нас должен как можно скорее вернуться и доложить, что случилось.

До Котовки, где жил Прошка, по распутью было неблизко. Расстояние вполне достаточное, чтобы хорошо и пропотеть и поразмыслить. Я ругал себя за бездушие. Около месяца Прошка не показывался на глаза. Но меня это не беспокоило. И только сегодня я попросил Илюшку забежать к Архиповым. А почему не забежал сам? Почему не встревожился?

Сказать правду, у меня была причина чураться Прошкиного дома. Я стыдился показываться Варваре Антоновне на глаза. Все еще памятна была встреча с ней в сарае, когда она отхлестала меня метлой. Впрочем, беспокоился я не только за себя. Казалось, и она не забыла этого случая. И чувствовала бы себя со мной тоже не в своей тарелке. Я не был тайным

комиссаром, для которого она не жалела еду. Но я и не заслуживал того, чтобы меня выпроваживали метлой.

Встретила нас сама Варвара Антоновна. Она еле передвигалась и выглядела тоже болезненной. А глаза красные, заплывшие, будто изошедшие слезами.

Мы приблизились к кровати, на которой лежал Прошка. Он не слышал, ничего не почувствовал, точно уже был неживой. Но открыл глаза, когда мы позвали его.

— Вы? А я думал...

Он выглядел полным. Но полнота пугала. Страшила и синева. Она подкрашивала глазницы, потрескавшиеся губы.

— Что с тобой, Проша? — спросил Володька, наклоняясь над больным. — Отчего это?

Прошка облизал губы, с трудом перевел дыхание. Видно было, что силы его истощаются.

— Ни отчего, — ответил он и снова опустил веки. — Не беспокойтесь.

— Надо доктора, — предложил я. — Немедленно.

— Не надо, — качнул головой Прошка. — Не нужен.

— Не поможет доктор, — заголосила Варвара Антоновна. — Хлеб нужен. С голоду это, а не с болезни. Две недели хлеба в рот не брали...

Я снова перевел взгляд на Прошку и весь содрогнулся. В памяти встал страшный голодный год. Таким же пухлым и синим был и я тогда. И не лекарства, а хлеб выручил. Хлеб, привезенный отчимом с Кавказа.

— Почему же вы молчали?

Варвара Антоновна глянула на сына и опять заплакала.

— Упрашивала, богом молила. Сходи, говорю, в крестком и попроси. Другим-то дают. А чем мы хуже? Так нет, не послушался. Другим, говорит, нужней. А мы, говорит, как-нибудь перебьемся. Вот и перебиваемся. Сам уже свалился. Не нынче-завтра свалюсь и я. И тогда конец.

Она судорожно глотала слезы и фартуком вытирала глаза.

— Успокойтесь, — сказал я, готовый и сам расплакаться. — И простите нас. За то, что ничего не знали...

Я кивнул ребятам, и мы тихо вышли. А на улице чуть ли не бегом бросились назад. По дороге условились обо всем. Пока мы с Илюшкой будем насыпать муку, Володька сбегает домой за санками. На санках отправим хлеб Архиповым.

— Почему же Прошка молчал? — спросил Володька. — Чего дожидался?

— Настырства не хватало, — ответил Илюшка. — Как у некоторых.

Вот и скромничал.

Илюшка был прав. Этих некоторых насчитывалось немало. Они чуть ли не с боем добивались своего. А Прошка мучился и молчал. Ради других обрекал себя и мать на голод.

Выписав из неприкосновенного запаса муку, я вместе с Илюшкой отправился в амбар. Подоспел и Володька с санками. Ребята подхватили мешок, уложили на санки и повезли.

— Передайте тетке Варе! — крикнул я вдогонку. — Кормить надо понемногу. Сразу досыта опасно.

Закрыв амбар, я отправился в клуб. Там ждали комсомольцы. Они волновались за товарища. И надо было успокоить их.

\*

Дома у нас гостила Нюрка с мужем. Они сидели за столом и ели яичницу. За столом также сидели мать и отчим. Но они не дотрагивались до еды. Яичницей угощали зятя. Таков был обычай. Сами же мы лакомились яйцами на пасху. По другим праздникам мать делала из них драчонки.

Меня не пригласили к столу. Не для постояльца угощение. Сейчас мать отправится на кухню, наложит пшенной каши, польет борщом и кликнет меня. Но мать не торопилась. Она сидела со скрещенными руками и с умилением смотрела на зятя. Я тоже смотрел, как Гаврюха уплетает яичницу, и завидовал ему. В желудке у меня противно ворочалась боль. А в душе нарастало негодование. Я отдавал всю зарплату, а получал борщ да кашу. Да косые взгляды матери. Вот и теперь она косилась на меня, как на постороннего. И ничуть не беспокоилась.

Долго молчали. Слышалось только Гаврюхино чавканье да посапывание отчима, тянувшего трубку. Но вот Нюрка, шмыгнув носом, вдруг спросила:

— Слышь, Хвиль, не то правда, что ты в какую-то артель записался?

— Правда, — подтвердил я. — И не в какую-то, а в нашу карловскую. А тебя почему это интересует?

— Да так просто, — сказала Нюрка. — Вроде брат ты мне.

— А если брат, так твоим умом жить должен?

— А что ж? — подтвердила Нюрка. — Неплохо было бы.

— Ты так думаешь?

— Даже уверена.

— А я думаю: твоего ума тебе и самой не хватает.

Нюрка покраснела и закусила губу. Я ждал, что за нее заступится Гаврюха. Но тот ничего не понял. И продолжал уплетать яичницу. А когда съел все, вытер губы рушником, лежавшим на коленях, и глубокомысленно сказал:

— Каккая ттам арттель?! Тттюха да ммматюха, да колллунай с бррратом...

Зять заикался больше обычного. Теща угостила и самогонкой. А бутылку убрала, чтобы сын не увидел. Она любила зятя больше, чем сына. Ну что ж, сердцу не прикажешь. Вон с какой угодливостью подливает ему молока. А про сына и совсем забыла, будто его и не было. Или серьезно считает меня квартирантом? Ну и пусть. Сама знает, что делает. Я же не позволю себе поступать с ней, как с квартирной хозяйкой.

Не удостоив Гаврюху ответом, я вышел. И отправился в холодную комнату. Недавно мать совсем переселила меня в нее. Со стен смела паутину, земляной пол посыпала песком. А когда сделала все, сказала:

— Ну вот. Большого постояльцу и не положено.

Я не возразил. Даже поблагодарил ее. И сделал это от чистого сердца. Мне и в самом деле было лучше в этой комнате. Никто не мешал читать и думать.

Только холодно было спать. Весна лишь начиналась. По утрам деревья еще рядились в иней. Мороз печатал и на стеклах окон легкие узоры. И я корчился на жестком топчане под ветхой дерюгой. Но я не жаловался. Да и жаловаться не было проку. Мать выслушала бы и сказала:

— Не нравится? Можешь искать другое жилье. Удерживать не стану...

Войдя в комнату, я повалился на топчан. Обида и злость перемешивались в груди. А перед глазами стояли Прошка и Гаврюха. Один — пухлый от голода, другой — розовощекий от сытости. И вспоминался разговор с ребятами. Они терпеливо дожидались в клубе. И когда я рассказал обо всем, долго молчали.

— Да, — протянул Сережка Клоков, глядя через окно. — Трудное время. Столько лишений.

— Жалко Прошку, — сказал Андрюшка Лисицин и скривился, точно самому стало больно. — Такой парень... А мы ни разу не проведали.

— А почему так? — спросил Яшка Поляков, обводя ребят осуждающим взглядом. — Да потому, что мало у нас этого... Как его?.. Сообщения, что ли? Мало, стало быть, меж собой сообщаемся. Все в сельсовете да в клубе. А почему бы не собираться в хатах? Сперва, к примеру, у меня. Потом — у тебя. Потом — у него.

— Тут другое, — вмешался Семка Судариков. — Тот же крестком.

Другим хлеб дает. А комсомольцам... Кто из нас получил от него помощь? А разве ж мы не такие люди?

— Такие и не такие, — ответил Гришка Орчиков. — Мы должны заботиться не о себе, а о других. Я хочу сказать, о других больше, чем о себе. Иначе какие ж мы будем комсомольцы?..

Теперь, лежа на топчане, я думал об этом разговоре. Такие мы или не такие? Насколько больше других отпущено нам невзгод и лишений? И где та дорожка, которой надо держаться, чтобы не сбиться с пути?

Опять перед взором возник сытый Гаврюха.

И мать, заискивающая перед зятем. И обида сильнее заточила под ложечкой. И что нашла она в нем особенного? Почему раболепствует перед ним? И тратит на него мои деньги? Да, мои. Ведь у нее теперь не было ни гроша. Все ушло на жеребенка, приданое Нюрки и Лапониных, с которыми, наконец-то, расплатились. И семья пробавлялась моим скудным заработком. Но мать все же не жалела денег на зятя. И каждый раз потчевала его самогонкой.

Я приказал себе не распускать нюни. Так провозгласил Прошка, когда мы клялись отдавать себя борьбе с врагами. Ах, Прошка, Прошка! Какой ты славный парень! И какой чудной. Почему ты не признался мне? Да я бы отдал тебе свой кусок, если б он был даже последний. Ради чего терпел муки? Вон какие схватки полосуют мой живот. Прямо хоть кричи караул. А ведь я не ел только полдня каких-то. Каково же было тебе, пережившему столько голодных дней?

В сенях послышались шаги. Дениска? Если бы догадался заглянуть. Я попросил бы принести хотя бы корку хлеба. Но это была Нюрка. Она вошла как-то робко, поставила табурет напротив топчана и осторожно присела.

— Слышь, Хвиль, — вкрадчиво начала она. — Просьба к тебе. Дал бы хлеба немножко. Хоть пудов шесть.

Я глянул на нее. Не шутит ли? Нет, не шутила. Взгляд выдержала- не моргнув глазом.

— Почему это я должен давать вам хлеб?

— А так, — сказала Нюрка. — По-родственному. Мы прикидывали. Не хватит до урожая.

— Не хватит, так подкупите.

— А где его подкупишь? У частников дорого. Денег таких не наберешь. А государство не продает. Вот и просим по-родственному. Отпусти пудов шесть.

— Нету у меня хлеба, — сказал я. — Нету. Понимаешь?

— Как же нету? — удивилась Нюрка. — Другим даешь, а для своих нету? Как же это?

— Даем бедноте. А вы середняки.

— Что ж, что середняки? — возразила Нюрка. — Зато тебе родственники. — И заморгала глазами, словно собираясь расплакаться. — Ну уважь, Хвиль. Вечерком подъедем. И ни одна душа не дознается.

— Нету у меня ничего! — закричал я, вскочив с топчана. — Нету! Понимаешь? Себе крохи не возьму. И вам не дам И отстань!

Нюрка помолчала, вздохнула и поднялась.

— А и правда чужой ты, — сказала она с нескрываемой горечью. — Совсем чужой. Ну что ж. И мы для тебя чужие. Так и знай.

И гордо удалилась. А я опять упал на топчан и, чтобы не зареветь, закусил подушку. Так лежал долго. Уже начал засыпать, как почувствовал на шее у себя теплое дыхание. Это был отчим. Он протянул кусок сала и скибку хлеба.

— Повечеряй, — проговорил он, озираясь на дверь. — У матери стырил. Оно хочь и ржавое, сальцо, а все ж пользительное. Перехвати чуток. А то они долго будут калякать.

Я с жадностью набросился на еду. А отчим сидел напротив и смотрел на меня своими ласковыми, добрыми глазами.

\*

Все чаще и чаще вспоминалась Домка Землякова. Не потому, что жалко было отпускать ей хлеб. Это само собой. Я был уверен, что вдова обошлась бы и без кресткома. И против воли подчинился Лобачеву. Вспоминалась же она потому, что заронила в голову мысль. И в самом деле, почему бы не отобрать у Комарова мельницу? Как можно мириться, что один человек владеет целым предприятием? Ведь это же несправедливо. Да, он купил мельницу. Но за какие деньги? Разве честным трудом заработать такую уйму?

С Лобачевым об этом говорить не хотелось. Скажет: нет директивы. И отмахнется. Но самочинно поступать было боязно. Потому-то я поставил этот вопрос на ячейке.

Ребята спорили на редкость горячо. Планы предлагались один другого несбыточнее. Добиться постановления сельсовета. Обратиться с просьбой в районные организации. Послать прошение в Москву. Но всех перещеголял Илюшка Цыганков. Он предложил учинить над Комаровым

погром.

— А что с ним нянчиться? — горячился он, обводя нас сверкающими глазами. — Помещиков громили. А почему нельзя его? Чем он лучше помещика? Царской власти не боялись, а своей собственной стесняемся? Откуда такая стыдливость? Нет, как хотите, а дальше так не пойдет. Пора дать эксплуататорам бой.

— Не очень круто, Илюха, — сказал Володька Бардин. — Помещики были опорой царской власти. Выступление против них расшатывало буржуазный строй. А теперь совсем другая картина. И потому надо не бунтовать, а соблюдать законы.

— Удивительно! — не сдавался Илья. — При царизме помещики грабили народ. При социализме кулаки сосут из него кровь. Но при царизме, плохо или хорошо, можно было дать помещику в зубы. А вот при социализме — ни-ни! Кулаков, видите ли, оберегают законы. Да на что нам такие законы?

— Илюшка думает так, — заметил Сережка Клоков. — Ребята, колья хватай и наотмашь махай. И глуши всех врагов наповал. Объявился и сразу всего добился.

— Бедный Юлий Цезарь! — с нарочитой жалостью воскликнул Андрюшка Лисицин. — Слушает он теперь нашего Илью и ворочается в гробу. Куда ему до нашего воеводы!

Выждав, пока стихнет смех, Илюшка серьезно сказал:

— Ежели нужно, я возьмусь и за кол. И не побоюсь уложить врага. А заодно и тех, кто вместо дела зубоскалит. Что же до Юлия Цезаря, то пускай себе ворочается сколько хочет...

Когда все планы были отвергнуты, я предложил поговорить с Комаровым по душам. Отдайте добром, иначе отнимем. Волей народа и законным образом. И самого из села выдворим.

— Видали чудака? — возмутился Илюшка Цыганков. — Да ты что, спятил? Как же это можно с кулаком по душам?

Но ребята все же поддержали меня. Попытка не пытка. С кулаками надо не только драться, а и маневрировать. И если маневр даст то же, что и драка, лучше обойтись без драки.

Володька Бардин предложил выбрать делегацию. Но я возразил против этого.

— К мельнику пойду один. И не от комсомола, а от кресткома. С комсомолом он не будет разговаривать. А от кресткома вряд ли увильнет...

И вот я снова отправился на мельницу. Поговорить по душам. А почему бы и нет? Ведь он же человек, Комаров. И должен откликнуться на

голос времени. А если не откликнется, тем хуже для него. Мы же от обращения к нему ничем не пострадаем.

И на этот раз я увидел Клавдию. От удивления даже поморгал глазами. Не обманывает ли зрение? Но зрение не обманывало. То была живая Клавдия. Она стояла у стены дома, подставив лицо неяркому солнцу.

Я окликнул ее. Она встрепенулась, глянула в мою сторону и заторопилась к калитке. В черной юбке, белой кофточке, с зачесанными назад темными волосами, она показалась какой-то другой. И лицо необычно задумчивое, будто с ней стряслось горе.

Подойдя к забору, Клавдия сказала:

— Здравствуй! А я только что думала о тебе. И хотела повидаться. Но не знала, где и как.

— Мне нужен твой отец, — в свою очередь, сказал я, словно оправдываясь. — О том, что ты дома, даже не подозревал. И очень удивился.

— Вчера приехала, — сказала Клавдия и почему-то опустила глаза. — А завтра уезжаю. Навсегда.

Она произнесла это «навсегда» отчетливо, точно подчеркивая. Но я сделал вид, что ничего не заметил. От этой встречи мне было как-то не по себе, хотя любопытство уже начинало разбирать. Хотела повидаться со мной. И уезжает отсюда навсегда. Что все это значит? Но я напустил на себя безразличие и будто ради вежливости спросил:

— Опять в Воронеж?

— Да, — кивнула Клавдия. — Работаю там. Чертежницей. Закончила курсы и поступила.

— И как?

— Ничего. Нравится...

Хотелось сказать, что и Маша Чумакова в городе. Но я удержался. Она ж не знает ее, Машу. Да и мне нет дела до нее, Клавдии. И я сухо повторил:

— Отец нужен. По важному делу. Он дома?

— Дома, — замялась Клавдия. — Но не один... У него гости. Не очень чтобы такие... Ваши, деревенские.

Я почесал затылок.

— А вызвать нельзя? Так и так. Срочное дело. Прямо неотложное...

Клавдия подумала и открыла калитку. У дома сказала:

— Побудь здесь. Сейчас спрошу...

И почти тут же вернулась с отцом. Я шагнул к мельнику и, не поздоровавшись, сказал:

— Завтра обсуждаем вопрос... Беднота требует отобрать мельницу.

Потому и беспокою. Лучше всего переговорить... Может, добровольно отдадите? Проникнетесь духом и решитесь. Так было бы удобней для вас. А мы бы выдали бумагу...

Суровое лицо мельника дрогнуло. Он посмотрел себе на ноги, помолчал. А потом предложил:

— Пойдем в дом. И там поговорим.

Он отступил, давая мне дорогу. Проходя мимо Клавдии, я заметил на лице у нее испуг. И невольно замедлил шаг. Но Комаров подтолкнул в спину.

— Пошли, пошли. На улице о таких делах не толкуют!..

В знакомой комнате перед бутылками и тарелками сидели Дема Лапонин и пономарь Лукьян. Позади раздался железный щелчок, и Комаров, опустив ключ в карман, присел к столу.

— Вот теперь поговорим. И поговорим начистоту... — И, повернувшись к гостям, пояснил: — Прохвост, за мельницей пришел. Слыхали? Сперва сто двадцать целковых содрал. Потом муки пятьдесят пудов увез. А теперь вот за мельницей явился. Что скажете?..

Я стоял у порога и не знал, что делать. В голову не приходила возможность встречи с Лукьяном и Демой у Комарова. Да еще когда они бурные от водки. Они тоже некоторое время пялили на меня помутневшие глаза. А потом Дема, передернувшись, процедил:

— Этот гадюка и нам причинил немалый урон. Чуть ли не всего исполу лишил. И отца в тюрьму упрятал.

— Тако ж и на церковную собственность покусился, — добавил пономарь. — В святом месте дьявольское гнездо свил. Вертеп сатанинский устроил...

— Видишь, сколько за тобой грехов, — сказал Комаров. — А их, грехи-то, искупать придется. Просто так не списываются.

— Учиним божий суд, — пьяно пробасил Лукьян. — Святую инквизицию.

— Какую там святую, — зарычал Дема, наливаясь кровью. — Самую что ни на есть чертячью. Задушить как собаку, и в пруд с камнем на шее. На самое глубокое место. Пущай тоды комса ищет...

Вначале думалось, что они пугают. Но вскоре я понял, что ошибся. Они готовы были лопнуть от ненависти и живьем съесть меня. Я стоял, не чувствуя самого себя. А в голове проносились мысли: что делать, как вырваться?

Страх толкает на крайние действия. Так говорилось в какой-то книге. Так случилось и со мной. Не отдавая себе отчета, я шагнул к столу и

схватился за спинку свободного стула.

— Душите! Вешайте камень! Бросайте в пруд! А только знайте: и вас в том пруду утопят! Всех до единого! Как бешеных! Что оторопели? Думали, испугаюсь? Как бы не так! Попробуйте тронуть! Не один к вам явился! Там ждут комсомольцы! Те самые, каких голодранцами величаете! Они разнесут этот дом, разгромят ваши осиные гнезда! Чтобы никогда не измывались над народом! И не обжирались за его счет!

Не ожидавшие такого отпора, они сидели неподвижно, как в столбняке. И только когда я перестал кричать, Дема, точно опомнившись, вдруг грохнул кулаком по столу и рывкнул:

— Убью!..

Он медленно поднялся. Но Комаров остановил его:

— Свяжем и запрем в чулане. А сами посмотрим, есть там кто или нет. Если они тут, голодранцы, выпустим. Не докажет, что было. Ну, а если никого нет... — Челюсти его, как жернова, задвигались, заскрежетали. — Тогда за все заплатишься, щенок. Шкурой своей поганой... — И, поднявшись, бросил гостям: — Принесу ремни. Покрепче скрутим...

Он вышел в соседнюю комнату. А я стоял, впившись ногтями в спинку стула, и леденел от ужаса. Неужели выполняют угрозу? Что же делать? Броситься к окну? Но на окнах — двойные рамы. К тому же они с той стороны, где Дема. Перехватит и задушит. Кричать? А кто услышит? Клавдия? А может, она заодно с ними?

Комаров вернулся с ремнями.

— Надежные, — сказал он, распуская их. — Свяжем так, что и недохнет. Ну давайте...

Дема и Лукьян разом встали. Я поднял стул над головой и отступил к двери.

— А ну подходи, кто первый! Кому-нибудь, а проломлю череп! Подходи же! Ну!..

В ту же минуту в дверь раздался стук и послышался девичий голос:

— Папа, открой! К тебе пришли!

Для них это был удар грома. Они стояли, как поверженные. Я опустил стул. Неужели произошло чудо? Может, ребята и в самом деле нагрянули?

Стук повторился, частый, настойчивый. И голос Клавдии — нетерпеливый и встревоженный:

— Папа! Да открой же! К тебе пришли!..

Дема и Лукьян опустили на свои места. Они растерянно смотрели на дверь, словно оттуда должен появиться сам дьявол. Вынув ключ из кармана, Комаров дрожащей рукой вставил его в замочную скважину.

Дверь широко распахнулась, и снова послышался голос Клавдии:

— Пожалуйста, проходите!..

В комнату вошел мой дядя, Иван Ефимович. В руках он держал новые сапоги. Нет, не держал, а протягивал Комарову, как дорогой подарок.

— Вот получай. До срока заказ выполнил. Прошу учесть... — Но, заметив Дему, Лукьяна и меня, согнал с лица улыбку. — Да тут целая сходка. И даже мой племянник. Что за компания?.. — И мне строгим тоном: — Тебе чего тут надо? И отчего такой белый?

Я невольно провел рукой по лицу.

— Что мне надо, мое дело. А чего белый... Хозяин так угостил... — И мельнику официально: — Прошу, гражданин Комаров. Думайте и решайте. Три дня срока. А пока до свидания!

И, не чувствуя ног, выбежал во двор. Здесь ко мне бросилась Клавдия. Она тряслась, как в лихорадке.

— Все слышала и видела. Подсмотрела в замочную скважину. А когда отец пошел за ремнями, кинулась позвать кого-нибудь. И встретила его, сапожника... — И с шумом перевела дыхание. — Господи, что ж это делается! Что творится на белом свете!

С благодарностью я пожал ее руку. Но сказал спокойно, даже беспечно:

— Зря волновалась. Нарочно они это. Чтобы пострадать. А только мы не из пугливых...

\*

Крупный и густой дождь лил непрерывно. Последние сугробы в яружках смыло, вода двинулась навстречу Потудани. Скоро река затопила прибрежный луг, подступила к огородам. Кудлатые и безлистые вербы над водой сразу уменьшились, будто их подрубили, и выглядели корявыми кустами.

Нечего было думать о доме. В такую погоду ни пройти, ни проехать на хутор. По непролазной топи я еле добрался до Бардиных, живших неподалеку от сельсовета. И раньше мне приходилось ночевать у них. Теперь же и подавно ничего другого не оставалось.

Заодно я прихватил с собой новые материалы рабфака на дому. Володька тоже трудился над ними. И каждую бандероль ждал с нетерпением.

Мы сразу же отправились в беззаконную пристройку, называвшуюся

клетью. Там мы спали на узком лежаке, сколоченном из досок. А перед сном при свете коптилки дискуссировали. Так и в этот ненастный вечер. Закрывшись на засов, мы принялись за новый материал. Но гранит на этот раз оказался слишком крепким, и грызть его не хватало сил. А тут еще дождь. Его монотонный шум за тонкой стеной клонил ко сну. Зевота до боли растягивала рты, а холод забирался в самую душу. И мы сдались...

Разбудил нас тревожный стук. Это была Домка Землякова. Володька зажег коптилку, открыл дверь и снова юркнул под лоскутное одеяло. Домка вошла и остановилась за порогом. Она была вся мокрая, точно только что вылезла из реки. С высоко подоткнутой юбки по красным от холода ногам стекала вода. Рыжие волосы из-под шерстяного платка мокрыми прядями прилипали ко лбу и пухлым щекам. И все же выглядела вдова бойко, даже задиристо, будто собиралась драться. Скосив на нас узкие глаза, она насмешливо проговорила:

— Дрыхнете, молодчики? А вода греблю размывает.

Мы разом привстали на соломенном тюфяке.

— Какую греблю? — спросил я, чувствуя озноб во всем теле, — Что ты мелешь?

— А что слышишь, то и мелю, — огрызнулась Домка и вдруг сникла, будто решив, что незачем юродничать. — Комаровскую греблю вода размывает.

Мельник в город сбежал, а заставни оставил закрытыми. Вот вода и переполнила пруд. И уже через греблю хлещет.

Мы переглянулись, словно спрашивая друг друга, верить или нет.

— А ты откуда знаешь об этом?

— Знаю, коль говорю, — опять окрысилась вдова. — И советую, поживей поворачивайтесь. А то поздно будет.

— А почему Лобачева не предупредила?

— А где он, твой Лобачев? — переспросила Домка. — С вечера куда-то смотался. И до сих пор глаз не кажет. Даже жена не в курсе... — И с вызовом глянула на меня. — Вот и решилась тебя разыскать. Принимай меры, рашпиленок... Не то на первом же собрании костей не соберешь...

С этими словами она шагнула в темноту и с силой захлопнула дверь. А мы снова тревожно переглянулись. Володька первым пришел в себя и рывком выбросился из постели. Дрожа всем телом, я последовал его примеру. Под топчаном нашлись два пустых мешка. Мы сложили их капюшонами и надели на головы. Володька снял с гвоздя веревку и где-то отыскал зубило.

— Голыми руками замки на заставнях не возьмешь...

Засучив штаны выше колен, мы выскочили во двор. Холод неласково обнял нас, острыми колочками впился в босые ноги. Кругом шумел дождь, и казалось, кроме этого шума, на свете ничего не было. И все же в груди теплилась радость. Сработала-таки хитрость. Испугался Комаров народа. Бросил мельницу и унес поганую душу. Ну и скатертью дорога. Сгинуть тебе, кулак, на веки вечные.

А еще радовала Домка Землячиха. Какой смелой оказалась вдова! В какую пору явилась! Что же заставило? И откуда дозналась?

Мы двигались по нижней улице. Она вся была сплошь затоплена жидкой грязью. Под ногами то и дело попадался нерастаявший лед. Он обжигал подошвы. Мы двигались друг за другом: я впереди, Володька за мной. Дождь густым потоком падал с черного неба. Темень была такой плотной, что ничего не виделось перед глазами. Каким-то чутьем я угадывал хаты. Прижатые ливнем к земле, они тянулись навстречу. Но вот и последняя. Сейчас дорога должна раздвоиться. Одна пойдет направо через Молодящий мост на Карловну, другая поползет на косогор. Эта другая и ведет на мельницу.

Я держусь левой стороны и скоро замечаю, что мы поднимаемся в горку. Нет, чутье не обмануло меня. Мы на верном пути. Володька все время окликает меня. Я каждый раз отзываюсь. Наши голоса вспыхивают в шуме и тут же гаснут, будто залитые дождем.

На пригорке в общий шум врывается какой-то грохот. Я останавливаюсь, прислушиваюсь. Володька тыкается мне в спину и тоже останавливается.

— Это мельница, — говорит он. — Работает.

— Значит, Комаров не сбежал? — спрашиваю я. — А Домка наврала?

— Нет, — уверенно отвечает Володька. — Если бы Комаров был дома, мельница не работала бы. Не стал бы пускать в такую ночь...

Под горку мы не шли, а скользили по грязи. Я сбил пальцы о камень. Боль была режущей, но я скоро забыл о ней. Мельница и впрямь работала полным ходом. Оба колеса сбрасывали воду. А внутри вхолостую кружились жернова. Высекаемые камнями искры прошивали темноту. Было жутко. Казалось, во тьме и грохоте орудуют сами черти. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и прислушивались. Но, кроме звона жерновов, грохота колес и шума дождя, ничего не различали. Зачем Комаров пустил мельницу? Чтобы испортить жернова? Или вывести из строя колеса? Сколько же злобы в этом человеке! А ведь в церковниках ходил, в святошу рядился.

Но эти мысли владели мной лишь короткую долю времени. Их

сменили другие, требовавшие действия. Остановить мельницу. Для этого перекрыть лотки заставнями. И преградить воде путь к мельничным колесам.

Я увлек Володьку во двор. Скользя и падая, мы подобралась к лоткам. На них не было заставней. Они исчезли бесследно. Должно быть, сам Комаров спрятал. Остановить мельницу нельзя. Она будет работать, пока не рухнут под водяным напором колеса.

— На большой мост! — крикнул я Володьке. — Поднять не только верхние, а и средние заставни! Тогда уровень воды опустится ниже лотков и мельница сама станет!..

Держась друг за друга, мы двинулись по гребле. Через нее перекатывалась вода. Она уже размывала насыпь, сбрасывала под откос комья и камни.

Чем дальше, тем труднее было идти. Местами вода доходила чуть ли не до колен. А огромный пруд, по которому хлестал дождь, все напирал. И казалось, ничто уж не устоит перед его натиском. Но мы все же двигались вперед, дрожа от холода и страха. Где же этот большой мост? Только бы добраться до него. Сбить замки и поднять заставни. И тогда злые потоки устремятся в проемы. И уровень в пруду станет понижаться. Вот только бы добраться до большого моста!..

Неожиданно Володька споткнулся, свалил и меня. На секунду голова моя оказалась в воде. Она хлынула в рот и нос. Я вскочил и Долго отфыркивался грязью. А когда снова взял Володьку за руку, услышал его испуганный голос:

— Ничего не сделаем! Опоздали! Надо уходить!..

Я с силой потащил его вперед. Несколько минут мы шли, скользя в воде. Но вот ноги ступили на ровную и твердую поверхность. Это был мост. Через него также сбегала вода. Но перила еще возвышались над ней. Да и поток на мосту не был сильным.

Замки на заставнях оказались под водой. Чтобы подобраться к ним, надо было спуститься в воду. Володька вызвался попробовать первым. Я обвязал его одним концом веревки, другой обмотал вокруг себя. И держал все время, пока он, по плечи в воде, отыскивал замок. И вот радостный крик:

— Есть! Порядок!..

Но замок не поддавался. Не раз Володька с головой уходил под воду. Наконец он поприподнялся и прокричал:

— Не сломать!

— Перейди на другой! Может, с тем сладишь?..

Володька послушался и, поддерживаемый мною, передвинулся на соседнюю заставню. Но и на той замок оказался крепким. Володька долго и бесполезно возился с ним. Я уже собирался остановить его, чтобы самому попробовать, как вдруг почувствовал под ногами толчок. Страшная мысль полоснула мозг. Не раздумывая, я потянул за веревку.

— Назад! — крикнул я в испуге. — Скорей назад!..

Проникнувшись тревогой, Володька быстро поднялся, перевалился через перила. В ту же минуту мост снова дрогнул, с треском пошатнулся и медленно двинулся. Мы со всех ног бросились к гребле. С разбега я упал на землю, ногтями впился в глину. Веревка рванулась в сторону, туго натянулась. Должно быть, Володьку отбросило за насыпь. Позади раздался грохот. Затем все заглушил рев воды.

Ноги мои свисали над пропастью. Я все глубже впивался пальцами в греблю. Но это не спасло бы меня, если бы не веревка. Она тянула в сторону и удерживала на земле. Поняв это, я осмелел и осторожно пошарил ногой. И задел что-то твердое. Боковая свая? Да, это была она. Упершись в нее, я стал подтягиваться. Вот и вторая нога уперлась в дерево. Я заметил, что барахтаюсь в грязи. Вода уже схлынула с гребли и теперь ревела там, где был мост. Упираясь ногами в сваю, я потянул веревку. Она задергалась, будто отвечая. Не помня себя, я заорал:

— Во-ло-дя-я!

Внизу послышался ответный крик. В диком реве он показался стоном. Я снова потянул веревку. Скорей! Скорей! Может, он ранен? Может, нуждается в помощи? Веревка поддавалась с трудом. Боясь сорваться, я тянул медленно. И наконец увидел его, Володьку. Он карабкался на греблю, подтягиваемый мною. Вот и совсем вылез, лег рядом.

А внизу могуче рычал поток. В прорву устремлялась вода, скопившаяся в пруду. За греблей, широко разливаясь по лугу, она уносила последние обломки моста.

Отдышавшись, мы встали. И вдруг заметили, что дождь перестал. А на востоке уже сияла светлая полоса неба. Начинался рассвет. Володька глянул в прорву и, вздохнув, сказал:

— Ах ты ж, беда! Не отстояли!

— Зато мельница остановилась, — заметил я. — Послушай...

И в самом деле, колеса уже не ворчали, не плескались наплывом. Да и рев в прорыве глож, терял силу. С каждой минутой вода в пруду оседала, натиск ее слабел.

— Ладно, — сказал Володька. — Леший с ним, с мостом. Он же был старый. А мы построим новый. Мельница-то теперь наша!

— Да, да! — подтвердил я. — Теперь мы хозяева и мельницы и пруда. Законные...

Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. На нас не было места, не залепленного грязью. Только зубы в предрассветном сумраке сверкали белизной.

\*

На другой день я обо всем доложил Лобачеву. Он решил создать комиссию. Она должна описать брошенное имущество. Сельисполнитель отправился вызывать активистов. В сельсовет зашел Максим Музюлев. В последнее время он опять навевывался домой редко, и мы обрадовались ему. Лобачев передал участковому мой рассказ о Комарове.

— Разбегаются крысы, — мрачно заключил милиционер. — Чуют, корабль ихний идет ко дну...

Через час мы отправились на мельницу. Лобачев включил в комиссию и нас с Володькой Бардиным. Вызвался принять в ней участие и Музюлев. Утро стояло ясное и теплое. Черные тучи, изрыгавшие потоки на землю, куда-то исчезли. Но грязь на улицах была непролазная. Мы шли босиком, засучив штаны выше колен. Только Лобачев и Максим не разулись. Председатель сельсовета жаловался на ноги и боялся простудить их, а участковый не имел права нарушать форму. Из-за них мы двигались медленно, так как им часто приходилось с трудом вытаскивать сапоги.

По дороге к нам присоединились любопытные. Новость уже расползлась по селу и волновала мужиков. Мельник сбежал. Оставил мельницу, дом и удрал. А под конец навредил. По его вине вода сорвала мост и ушла из пруда. Такое не часто случается.

Дом показался одиноким и осиротевшим. Стены его были украшены потеками, на стеклах окон, будто слезы, блестели невысохшие капли дождя. Входная дверь была распахнута настежь, точно хозяин ждал гостей. И комнаты пустовали. А все добро исчезло, будто его и не бывало. Значит, мельник готовился к бегству давно. И потихоньку вывозил имущество. И наверно, сбежал бы, если бы даже я не явился с нашим требованием. Мы с Володькой переглянулись. Да, так оно и есть И нашей заслуги, что все это стало народным, нет никакой. Но мы не страдали честолюбием и скоро забыли о своем открытии. Важно, что мельница становилась общественной. А чья в том заслуга, значения не имело.

Я вышел из дому и бесцельно побрел в сад. У забора остановился.

Отсюда, с пригорка, виден был пруд. Теперь он был покрыт лужами. Вода задержалась лишь в глубоких впадинах. Только на стрежне она продолжала неудержимо двигаться. На пруду кишмя кишела ребятня. Она собирала карасей, линьков и раков. Где-то среди них был и Денис. Вернувшись домой мокрый и грязный, я разбудил его и шепотом сообщил, что пруд сошел.

— Рыба прямо на земле валяется, — говорил я сонному брату. — Бери сколько хочешь голыми руками...

Поняв, наконец, в чем дело, Денис скатился с печки, схватил ведро и огородами помчался к реке. Теперь он был среди них, юных рыболовов. Я всматривался в мальчишек и не находил брата. Может, он где-либо в камышовых зарослях?

Где-то неподалеку раздался приглушенный стон. Я прислушался. Стон повторился — жалобный, безысходный. Я двинулся вдоль забора. И скоро в углу сада увидел Джека. Он лежал на земле, вытянув ноги, и казался дохлым. Из полуразжатой пасти текла пена. Заслышав шаги, он поднял голову и посмотрел на меня мутными глазами. Потом снова уронил ее и жалобно вздохнул.

На мой зов явились Лобачев и Максим. Они осмотрели собаку. Музюлев зачем-то даже перевернул ее на другой бок.

— Отравлен, — сказал Лобачев. — Хозяин порешил. Не захотел взять с собой. А живым оставить пожадничал.

— Сам он хуже собаки, этот Комаров, — сказал Максим и расстегнул кобуру. — Надо пристрелить, чтобы не мучился. — И протянул наган мне. — Хочешь?

Я отступил назад и замахал руками.

— Что ты, Максим! Я никак не могу. Лучше ты сам...

И опрометью бросился из сада, зажав уши ладонями. За домом остановился и опустил руки. Какой страшный человек Комаров. Отравить собаку, которая охраняла его. Да еще какую собаку-то. Вспомнился разговор с Денисом. Он жалел, что я не потребовал Джека за то, что тот покусал меня. Наверно, он сейчас упробил бы Музюлева не убивать его. А почему я не сделал этого? Почему испугался и убежал как оглашенный? Может, надо было бы вызвать ветеринара? Ведь он, ветеринар-то, совсем недалеко тут. И мог бы через час какой-нибудь явиться. В самом деле, может, еще не поздно? Помешать Музюлеву и вызвать ветеринара. Я бросился в сад.

— Не надо стрелять! — закричал я. — Лучше позовем ветеринара!

Ответом был выстрел, гулко прокатившийся над землей. Через минуту

эхо трижды повторило его над прудом.

\*

Объединенное заседание сельсовета и селькредкома, на котором обсуждался вопрос о восстановлении брошенной Комаровым мельницы, затянулось до полуночи.

Домой я возвращался один. Костя Рябиков приболел и на заседание не явился. Ночь стояла темная, но грязи уже почти не было. Жаркое солнце за несколько дней подсушило землю.

Я шел торопливо, насвистывая «Молодую гвардию». Всякий раз, когда приходилось идти ночью одному, я насвистывал этот марш. А насвистывал, чтобы отогнать страх. Сколько ни доводилось мне блуждать по ночам, я так и не мог побороть это чувство.

Так свистел я и в эту ночь. И свистом давал знать, что мне море по колено. А сам напряженно зыркал глазами по сторонам. Особенно напряг зрение между Молодящим мостом и Карловкой, когда дорога пошла меж кустами. Жуткая четверть версты перед самым хутором, поблизости от вековых дубов, на которых грачи уже свили гнезда. За каждым кустом чудился притаившийся леший либо в образе злого духа, либо в образе дикого зверя. Леший вот-вот должен наброситься на меня, растерзать в клочья. И я громко свистел, а сам с отчаянием считал медленно тянувшиеся минуты. Вон она, родная Карловка! Совсем близко, рукой подать. Там-то уж нет ни диких зверей, ни коварных духов. А вот тут, на мрачном, заросшем ольховыми кустами болоте, тут сердце так трепетало, что готово было расстаться с телом. Тут оно предчувствовало что-то страшное.

И предчувствие не обмануло. Внезапно на дорогу вышли двое. Лица их были обмотаны чем-то темным. И только глаза сверкали, как у голодных волков.

Я невольно замедлил шаг. Они молча подошли. Коренастый и плечистый ударил меня в лицо. Я отшатнулся, но сразу же стремительно ринулся на него и тоже ударил в лицо. Он отпрянул назад, а я бросился по дороге. Но в ту же минуту другой, худощавый, чем-то ударил меня сзади. Боль отшвырнула в сторону. Худощавый споткнулся о мою ногу и грохнулся на землю. Что-то тяжелое звякнуло на дороге. Я кинулся к кусту, но тяжелый удар в голову свалил меня.

Потом удары посыпались, как каменные глыбы. Я закрывал лицо руками, но невольно хватался за грудь, бока. Они топтали меня, били

сапогами. Боль нестерпимо полосовала тело, но я сдерживал стой. Ничто в эту минуту не могло разомкнуть мои челюсти.

А они продолжали бить, топтать. Это длилось долго. Тело перестало чувствовать. Может, потому, что на нем уже не было живого места?

Новый удар по голове. Яркая вспышка в глазах. И черная пелена. И как будто тут же новая вспышка. И рвущая боль во всем теле. После забытья сознание снова ожило. Слух уловил приглушенные голоса.

— Живучий большевичок.

— Отжился ленинец. Навек задохся.

— По кустам понесем?

— К черту по кустам. Вымокнем. А то и завязем.

— Как же тогда?

— Поволокнем по дороге к берегу. А там сбросим в воду, и поминай как звали.

— Пойду камень возьму. Где он тут?..

Я сильнее стиснул зубы, боясь обнаружить жизнь. Не испугала речка, в которой они собирались утопить. Все что угодно. Только бы не стали снова бить.

Вдруг один из них тревожно сказал:

— Кто-то едет.

Другой тут же ответил:

— Да. Кого-то несет.

— Бери его. Потащим в кусты...

— Дюже нужен. И тут не заметят...

Они оставили меня на обочине и скрылись. Я напряг все силы и неслышно пополз к дороге. А стук колес и лошадиный топот уже приближались. Кто-то гнал коня рысцой. Я полз медленно, цепляясь руками за землю. Ползти было трудно, все внутри переворачивалось. Хотелось прилечь, передохнуть. Но нельзя было останавливаться. Не успеть — значило погибнуть.

Вот и дорога. И лошадь уже рядом. Я собираю оставшиеся силы и привстаю на колени.

— По-мо-ги-те!..

Лошадь шарахается в сторону. Но возница удерживает ее. И останавливается передо мной. Я узнаю его. Сосед Иван Иванович, дед Редька. Он спрыгивает с телеги, наклоняется надо мной.

— Кто тут? Никак Хвиля?

— Скорей! — шепчу я. — Они рядом. Убьют и вас...

Иван Иванович с живостью подхватывает меня, втаскивает в телегу.

Потом вскакивает сам и хлещет коня. Тот с места берет рысью.

— А-а! — ликующе тянет Иван Иванович. — Вот они! Гонятся! А ну-ка, потягаемся!..

Он привстал на колени и принялся хлестать лошадь кнутом. Та перешла в галоп и стремительно помчалась вперед. Меня швыряло из стороны в сторону. Боль туманила сознание. Но и на этот раз я не разжал челюсти. Нет, и теперь враги не услышат моего стога.

Когда они отстали, Иван Иванович придержал лошадь и повернулся ко мне:

— Ну как, здорово помяли? Э, да ты весь в крови! Может, в больницу?

— Домой, — сказал я. — Скорей домой...

Иван Иванович звучно сплюнул на обочину.

— Ах, бандиты! Под суд их, проклятых!.. — И снова, наклонившись надо мной, запричитал: — Ай, ай, ай! Как они тебя! Креста на них нету! Да ты хоть распознал их?..

Я и сам думал об этом. Кто они? Плечистый и худощавый. Неужели Дема и Миня? Но, может быть, и не они? Может, другие кто-либо?

— Нет, не распознал. Закутали лица чем-то.

— Как это закутали?

— Не знаю. Чем-то обвязали. По самые глаза... И голоса оттого глухие...

Дед Редька снова закачался и запричитал:

— Ай, ай, ай! На убийство шли. И за нами неспроста гнались. Добить хотели. Не люди, а звери. И как же ты, господи, терпишь таких?..

Въехав к нам во двор, он снял меня с телеги, помог дойти до крыльца и постучал в дверь. А когда в сенях послышались шаги и отчим спросил, кого бог послал, повелительно крикнул:

— Принимай пасынка, Данилыч! Да поживей! Побитый парень!

Напуганный отчим открыл дверь. И когда увидел меня, ахнул:

— Кто ж тебя так-то? Да у кого ж налегла рука?

С помощью Ивана Ивановича он завел меня в комнату, помог лечь на топчан. На ходу повязывая юбку, вошла мать. Как подкошенная упала передо мной на колени:

— Убили! Убили, изверги!

— Не убили, мама, — сказал я. — Живой. И буду жить...

Но мать не долго плакала. Она бросилась на кухню, чтобы согреть воды и помыть меня. Иван Иванович собрался уходить. Я остановил его.

— Прощу... никому об этом... Не надо будоражить людей... И сеять страх...

Пообещав молчать, дед Редька ушел. А отчим с большими предосторожностями принялся раздевать меня.

\*

Однажды тишину хаты разорвал громкий плач Дениса. А потом послышался грозный голос матери:

— Ах ты, стервец! Ах ты, паршивец! Я ж тебе покажу! Сейчас ты у меня запляшешь!..

И вслед за тем — стук, крик, плач. Я прислушивался и удивлялся. Никогда еще мать не била Дениса, своего любимчика. Больше все доставалось мне. На меня она не жалела ни палки, ни веревки. И вдруг такой оборот. Должно быть, очень набедокурил.

Спустя некоторое время, когда за стеной улегся шум, ко мне зашел отчим. Вид у него был игривый, в глазах плясали смешинки. Усевшись на табурет, он пальцами разделил бороду и спросил, кивнув на горницу:

— Слыхал? Как мамка Дениску-то? Ух, как она его!.. Насилу отнял... — И беззвучно рассмеялся, вытирая слезящиеся глаза. — И ведь что придумал, пацан! Прямо комедия! Ей-богу! Мудрец не дотемяшит... — Он ближе придвинул табурет и, оглянувшись на дверь, продолжал: — Странности заметила мать. Молоко, видишь ты, стало испаряться. Да, да, испаряться. И не просто молоко, а самый вершок, сливки то есть. Истопит кувшин, поставит в погреб целый, с пеночкой, а через день аль два смотрит — и глазам не верит. Четверть кувшина испарилось. Ну, то есть прямо улетучилось. И притом пеночка в полной исправности. Никак и ничем не тронутая. Что за оказия? Куда девается молоко? А в другом кувшине — ничего. Все в порядочке. И так, почитай, целый месяц. С той поры, значитца, как ты свалился. Мать и так и этак. И кувшины переменит и местами переставит. Все одинаково. В одном обязательно испарится. И все это при нетронутой пеночке. К бабке Гулянихе мать ходила. Ну, та подсказала. Домовой, дескать, пристроился. С другой еды на молоко потянуло. Мать после этого малость успокоилась. Домового-то, чай, тоже кормить надо. Домовой-то не чужой, а собственный... — Он погладил бороду и весело улыбнулся. — А нынче этого домового мать и сцапала. Заглянула в погреб и увидела картину. Дениска это сидит на корточках и через соломинку из кувшина молоко тянет. Видишь, как пристрастился. Проткнет незаметно пеночку где-нибудь с краюшку, всунет соломинку и цедит. Вот так-то. Цельный месяц — дополнительное питание

сливочками. Ну мать и дала ему сливочки... Так отхлестала веревкой, что, должно, рубцами покрылся. Если бы не отнял, чего доброго, засекла бы. Так рассвирепела... Да оно и то сказать. Молока-то не жалко. Загадка страху нагнала. Как явление какое-то. Хоть молебен служи. Сроду ж подобного не бывало. И главное, с той поры, как тебя подбили. Что тут было думать? Как все понимать?..

Рассказ прервала мать. Она принесла кружку молока, протянула мне,  
— Выпей, сынок. Цельное. Скорей поправишься...

подавив улыбку, я выпил молоко. Оно походило на сливки. Как видно, губа у Дениса не дура. И, как видно, нелегко ему будет отвыкнуть от такого лакомства.

Мать увела отчима. Надо было вынести лохань с пойлом для коровы. А я опять подумал о Денисе. Ну и ловкач же малый! До чего додумался! А мать заметно подобрела, как меня покалечили. Но кто же все-таки покалечил? Кто они, коренастый и худощавый? И почему закутали рожи? Боялись, что узнаю. Значит, я знал их, раз боялись? Но если собирались убить, чего же было бояться?

Снова в памяти всплыло все, что произошло потом. Утром отчим на соседней лошади привез докторшу. Она осмотрела меня и сокрушенно покачала головой.

— Это ж надо так драться! И что, спрашивается, не поделили?

Потом Денис сбегал за Прошкой Архиповым. Выслушав меня, тот заявил, что немедленно соберет ячейку.

— Кулацкая расправа. И мы должны реагировать...

Еле удалось удержать его. Может, все-таки не кулаки? Но если они, тем более надо быть осторожным. Расправой они рассчитывали запугать молодежь. Так зачем же помогать им? Не лучше ли сохранить все в тайне?

С доводами моими Прошка согласился. Но в райком все же смотался. На другой день явился Симонов. Он выглядел встревоженным, но слушал спокойно. А когда я кончил, уверенно заключил:

— Вылазка врага. Классовая месть. Диалектика...

Однажды я уже слышал от него это слово. А сказал он так, когда узнал о краже антенны. Наверно, лучше всего этим словом выражать вражескую подлость. Но оно напомнило мне о детекторе. Почему он до сих пор не вернулся к нам? Я осторожно спросил об этом секретаря райкома.

— Какой детектор? — переспросил тот, думая о чем-то. — Ах, да! — встрепенулся он. — Просто забыл. Изжили они себя, детекторы. Скоро будут настоящие радиоприемники Ламповые, с батареями и громкоговорителями... — Внезапно он прервал себя, непривычно смутился

и сказал — Да ты не думай об этом, Федя. Знай себе поправляйся. Это сейчас главное. А все другое прибудется...

А потом пожаловал следователь в сопровождении Музюлева. У следователя было землистое лицо и отчужденный взгляд. Он допрашивал меня так, как будто я сам избил себя. А Максим сидел на топчане и не сводил с меня глаз. Теперь они были добрыми, его глаза.

Когда я рассказал обо всем, что случилось, следователь спросил, узнал ли я нападавших. Я покачал головой и сказал:

— Нет.

Тогда следователь все так же строго осведомился, подозреваю ли я кого-либо. Перед моими глазами встали Дема и Миня. Вспомнились их угрозы и предупреждения. Скорее всего это они. Но чем можно доказать? На людях они ничем не показывали себя. И я ответил следователю:

— У меня нет доказательств... Я никого не подозреваю.

— А тут и подозревать нечего, — вмешался Максим. — Без подозрений все ясно. Как божий день. Кулацкая работа.

Следователь наморщил бугристый лоб и заметил милиционеру:

— Правосудие руководствуется фактами, а не домыслами, И я просил бы вас... Мы с вами не на собрании.

Допрос длился долго. Я изнывал от боли и усталости. И готов был взмолиться... Следователь, наконец, захлопнул портфель. Но Максим задержался. Стоя перед топчаном, он сказал:

— Прокуроры — это само собой. Пускай копаются сколько хотят. А я не выпущу этого дела. Тут пахнет конторой... — Он вдруг потупился, часто заморгал глазами... — Только ты не подумай. Я берусь за это не ради славы. Нет. Я тоже кое-что понял. Кулаки не лучше бандитов. И пока мы не избавимся от них, жизни не будет.

Я часто вспоминал эти слова. И проникался к Максиму уважением. За последнее время он заметно изменился. Будто вырос на целую голову. И уже не хотелось называть его обидным и несуразным словом Моська.

И еще одно свершилось, пока я валялся в постели. Состоялась районная конференция комсомола. В своем отчете Симонов похвалил и нашу ячейку. На конференции меня избрали членом райкома. А на пленуме — членом бюро и заведующим отделом труда и образования районного комитета. Сокращенно это означало: зав. ОТО РК ВЛКСМ.

Об этом событии рассказал Прошка Архипов. Он горячо поздравил меня с выдвижением. Рады были мать и отчим. Еще бы! Незадачливый сын становился районным работником...

А я испытывал огорчение. Не хотелось расставаться со Знаменкой. И

кроме того, опять терзало недоумение. Что нашли они во мне достойного? Почему и за что доверили важный пост? Неужели не могли в целом районе найти получше?

Я замахал перед собой руками, отгоняя нудные мысли, будто они были дымом. Почему я о себе так думаю? Может, и в самом деле люди лучше видят, чем я сам? Да и не пора ли покончить с боязливостью?

В комнату несмело вошел Денис. Глянул на меня заплаканными глазами.

— Знаешь?

— Знаю.

— Не примешь в комсомол?

— Это от тебя зависит. Если больше так не будешь...

— Никогда в жизни!

— Верю. А теперь пойд и попроси у матери прощения.

Денис опустил глаза.

— Не пойду.

— Почему?

Денис передернулся всем телом.

— Больно дерется.

— Ну, как знаешь...

Денис вскинул на меня испуганные глаза.

— Пойду. Только не обмани...

\*

Денис ушел за прощением. А я встал и принялся ходить по комнате. Так делал по несколько раз в день. И это помогало. Правда, плечо все еще давало знать, а бок по-прежнему схватывало клещами. Но все же это было совсем не то. Теперь хоть сгорбившись, а можно было передвигаться без помощи. А главное, с каждым днем становилось лучше. И уже не за горами было время, когда кончится это невольное домашнее заключение.

Перед окном прошли двое. Я узнал Прошку Архипова. Но кто же была девушка? Лена Светогорова? Пока что никто не заглядывал ко мне. Может, Прошка уже снял запрет? Или для Ленки сделал исключение?

Это была Маша Чумакова. Мы долго смотрели друг на друга. Прошка кашлянул в кулак и сказал, что ему нужно к Косте Рябикову.

— Передать повестку. Председателей ТОЗов в район приглашают. Насчет посевной...

Я взглядом поблагодарил его. И когда мы остались одни, сказал:

— Маша, неужели это ты?...

Она больно обняла меня, головой прижалась к груди. А потом, порывисто отстранившись, сказала:

— Как они тебя...

— Ты бы посмотрела тогда, — рассмеялся я. — Живого места не было.

— И сейчас лицо все синее.

— Лицо — пустяки. Уже проходит. А вот бок... Он никак не заживает.

Маша была все та же и какая-то другая. Юнгштурмовка ладно сидела на ней. Пояс перетягивал тонкую талию. На лацкане левого кармана блестел комсомольский значок. А голова была повязана красной косынкой.

Я взял ее за руки и почувствовал загрубелость ладоней. Они еще больше потемнели, будто в них несмываемо въелась заводская копоть.

— Машенька... Как я рад...

Маша посмотрела на меня долгим взглядом и улыбнулась.

— Я тоже рада.

Я снова взял ее крепкую и жесткую руку.

— Надолго?

— На три дня.

— Так мало?

— И то еле отпросилась. Работа ударная.

— А зачем приехала?

— Тебя проведать... — И, заметив мое счастливое удивление, пояснила: — Симонова встретила в обкоме. В отдел рабочей молодежи заходила и встретила. Он рассказал о тебе. Я так переживала. И вот приехала.

Я крепко сжал ее руку.

— А почему уехала? Так внезапно, тайком. Прямо сбежала. Почему? Из-за Мини?

Маша отвела глаза.

— Из-за него ли? Гадина, причинил мне такую боль. И сейчас не могу спокойно вспоминать. А уехала, если хочешь, сбежала из-за тебя.

— Из-за меня?

— Да. Я любила тебя. Любила крепко. Но ты не любил. Я поняла это тогда. Ты опасался. Но не отговаривал. И не волновался. Нет, ты слушай... И я поняла. Конечно, я все равно пошла бы. Даже если бы запретил. Ничто не остановило бы меня. Но тогда я была бы смелее. У меня было бы больше сил. И мне легче было бы бороться. А так... Я шла туда убитая. Шла как на погибель. И даже не верится, что устояла. Чудом каким-

то спаслась. А когда вернулась — и совсем убедилась. Ты так обрадовался. Но не мне. Не тому, что я выдержала. А тому, что узнала. И я решила: это все. Сердцем ошиблась. Никакой надежды нет. Мой Никталоп не найдет меня. И стало так горько, так тяжело, что я не выдержала. И уехала. А чтобы легче было расставаться, уехала тайком, внезапно... — Она снова глянула на меня, печально улыбнулась.—

И вот работаю на заводе. А Знаменка... Она останется в сердце. Навсегда... — И опять на лице улыбка, но теперь виноватая, застенчивая. — Вот и разговор. Приехала проведать, а принялась упрекать. И в том, в чем не упрекают. Так что прости, Федя. Само собой получилось. Не обижаешься?

Я покачал головой.

— Вот и хорошо. И договоримся. Не будем будоражить прошлое. Не сбылось, не случилось. Значит, не судьба. Договорились?

Я утвердительно кивнул.

— Вот и хорошо, — повторила Маша. — И я рада. Рада, что повидала тебя. И на родине побывала. А через два дня уеду. К своим рабочим ребятам. Я им много рассказывала о вас...

Она замолчала и устремила взгляд куда-то. Потом принялась рассказывать о заводе, и в голосе ее зазвучала гордость. Там она чувствовала себя не хуже, чем в Знаменке. Ее окружали такие же друзья. Они помогали во всем. А завод перестраивался быстрыми темпами. Менялось старое оборудование. Росли ударные отряды. И потоком шли нужные стране машины.

Я слушал и не перебивал. И радовался за нее.

\*

И вот наступил этот день. Я уже ходил, как ходил и раньше. Правда, боль еще давала о себе знать. То резало между ребрами, то ныло в плече. Особенно при быстрых движениях и поворотах. Но все же это было не то, что было. Теперь я выглядел почти так, как до потасовки на болоте.

Больше всего помогла мне мать. Она настаивала какие-то травы и настоями смачивала битые места. Раны и ссадины смазывала медом, который отчим купил у пасечника Гришунина. Украшали меня и зеленые листки подорожника.

Особенно заботливо обращалась мать с моим лицом. По несколько раз в день она меняла на нем примочки, кровоподтеки протирала самогонкой.

И оно быстро приходило в порядок, лицо. Синяки постепенно бледнели, рассасывались, исчезали. Ранки зарубцовывались, подсыхали и отковыривались. И я все больше и больше становился похожим на самого себя.

Можно и нужно было переждать еще, чтобы совсем разделаться с болью и чтобы согнать с лица последние следы неравной схватки. Но нежиться и прохлаждаться дома было некогда. Пришло письмо от Симонова. Товарищеское, дружеское, оно все же звучало требовательно. Ждет не дождется ОТО райкома своего зава. А кроме того, собирается конференция союза работников земли и леса. На ней предполагается рекомендовать меня председателем этого профсоюзного комитета, а попросту батрачком. И в райцентре предстояло совмещать две работы. Другого выхода не было. В райкоме комсомола платным был один только Симонов. Другие члены бюро трудились по совместительству.

Но Симонов был чутким парнем. И потому предупреждал, что если мои кости не срослись, то лучше еще поваляться дома.

«Леший с ней, батрачкой конференцией, — писал он аккуратными буквами. — Не успеешь к ней, так придумаем еще что-либо. Чтобы управляться с делами, нужно быть здоровым. Райком комсомола не курорт. Вкалывать потребуется на полную катушку. Немало предстоит и бродить по району. А он, район наш, хоть не такой великий, а и не маленький. Иной раз и двадцать верст отмахать понадобится. Фаэтонов же и карет в комсомоле пока что нет...»

К этому же дню отчим сделал сундучок. Небольшой, но вместительный. С гнутой крышкой. Даже с внутренним замочком. Уж и не знаю, где раздобыл он такую редкость. Только краска подвела старика. Получилась какая-то темно-желтая, невзрачная, будто сундучок вываляли в навозе.

— И надо же чтобы так, — сокрушался отчим, дергая себя за бороду. — Чего-то переборщил или недоборщил. Оттого и получился такой загаженный.

— Спасибо большое, — успокоил я его. — Лучшего и не надо.

Отчим блеснул еще молодыми и умными глазами.

— Ладно, сынок, — сказал он. — Приеду в райцентр в гости. И перекрашу заново. В какой-нибудь небесный цвет...

Перед моим отбытием собрались в горнице. Мать обняла меня и крепко поцеловала в губы.

— Счастья тебе большого, — промолвила она, страдальчески глядя на меня, точно я отправлялся в тюрьму. — И крепкого здоровья. Не забывай

мать. Она хоть и не баловала тебя, а все ж любила.

Потом отчим облапил меня короткими и сильными руками. И по русскому обычаю трижды поцеловал в щеку.

— Того ж и я желаю, — произнес он и часто заморгал, будто в глаза попала пыль. — И к тому добавляю. Будь здоров не токмо телом, а и духом. И шествуй своей дорогой прямо. Да не виляй в стороны перед каждым бугорком...

Я обнял Дениса. С братом тоже было жалко расставаться. У него также на глазах навернулись слезы. Но он удержался и сказал сердито, будто самому себе:

— И к чему эти нежности? Не навсегда расстаемся...

Нежданно-негаданно в хату ввалились Нюрка и Гаврюха. Прослышав о моем отбытии, они примчались, чтобы напутствовать меня своими наставлениями.

Гаврюха стиснул мою ладонь в своей корявой лапе и сказал, заикаясь так, как будто только что выдул целую бутылку самогона:

— Ни пппуухха тттеббббе, ни ппперрра!

А Нюрка вдруг скривилась, точно ей стало нестерпимо больно, и без передыху затараторила:

— И что это ты надумал? Без тебя не обошлись бы там, что ли? Оставался бы дома и горюшка не знал бы. Женился бы, как все прочие. Так нет же! Не сидится парню, не покоится. А что хорошего в этом райцентре? Да и время-то беспокойное. Дома вон и то покалечили. А там, не дай бог, и совсем угробят.

— Типун тебе на язык, — рассердилась мать. — Мало он, бедняга, перенес, чтобы ты еще пророчила?

— Не отговаривай его, дочка, — попросил Нюрку отчим. — Не сам он туда стремится. Судьба дорогу прокладывает. Лучше пожелай счастья в пути.

Нюрка посмотрела на меня долгим взглядом. Потом притянула мою голову и поцеловала меня.

— Ладно уж, — вздохнула она. — Ступай, раз пошел. Только не будь дураком. Людей слушай, а про свой ум не забывай. И не женись на стороне, — И широко улыбнулась. — Жениться домой приезжай. Я уже невесту присмотрела. Есть у нас такая в Сергеевке. Не девчонка, а огонь. Кругом что надо...

В сенях послышался сиплый кашель. Явился сосед, Иван Иванович, дед Редька. Он тоже пожелал проститься со мной и также старательно потряс мою руку.

— Валяй, друг сердешный, — сказал он, моргая подслеповатыми глазами. — Да смотри там не подгадь. И нас, земляков своих, не подведи. Мы же, можно сказать, гордимся тобой, нашим карловцем!

Молча посидели минуту, как полагалось по обычаю. Потом вышли во двор. Там еще раз расцеловались. Мать и Нюрка не выдержали и расплакались. Отчим чаще засопел трубкой. А Денис, подхватив сундучок, нетерпеливо сказал:

— Ну пошли, Хвиля. А то ребята заждались...

И мы двинулись вдоль Карловки. В лучах весеннего солнца она казалась нарядной. Бело-розовая кипень заливала сады. Изумрудным ковром стлался луг. Между зелеными вербами поблескивала Потудань.

Денис тащил сундучок, часто перебрасывая его из руки в руку. Я попробовал отобрать его, но брат не сдался.

— Сам донесу. Невесть какая тяжесть...

А сундучок был нелегким. В нем лежали пара белья, ситцевая рубашка, голубой томик Есенина. И полно сдобных «жиримолчиков». Но я все же не беспокоился за брата. За зиму он заметно вырос и выглядел сильным.

Когда мы отошли на порядочное расстояние, Денис доверчиво сказал:

— На днях с Прошкой разговаривал. Велел принести заявление. Обещает вскорости принять в комсомол. Чтобы, значит, в ячейке не было урону...

\*

Ребята собрались в клубе, который скоро должен перебраться на центральную площадь. Так решил сельсовет по нашему предложению. Хоть церковь и пустовала, соседство с ней все же не устраивало.

Прощальная комсомольская сходка. Первым начал Прошка Архипов. Как дьячок, он завел настоящий хвалебен, и я закрыл ему рот ладонью. Ребята засмеялись и дружно закричали:

— Правильно!

А Володька Бардин серьезно заметил:

— Если фонтан чересчур бьет, надо заткнуть его...

Потом вспоминали былые дни. В них много было радостного и горестного. Нет, радостного, пожалуй, больше. И в горестях мы часто находили радости.

Илюшка Цыганков тронул меня за плечо и конфузливо признался:

— Слышь, Хвиля, а я и правда подкапывал. Думал, не настоящий ты. И с Клавкой Комаровой... А началось все с Цезаря. Как приравнял к императору, так я и взъерепенился. А теперь вижу: все зря. И делаю вывод...

А Сережка Клоков серьезно посоветовал:

— Не зазнавайся. И нос не дери. Член бюро райкома — это фигура. Но бывает, и фигура — дура...

Потом говорили другие ребята. Тронули напутствия Яшки Полякова и Семки Сударикова — самых молодых комсомольцев. Яшка попросил не забывать ячейку.

— Она ж для тебя вроде бы вторая мать...

Семка же предложил не задерживаться на полпути:

— Смелей иди в гору. И не хнычь, ежели будет трудно.

Даже Ленка Светогорова и та не утерпела.

— Ты же наш, карловский, — сказала она, глядя на меня лучистыми глазами. — А карловцы — хорошие парни. Вот и оставайся хорошим навсегда...

В конце я держал ответную речь. Мне хотелось сказать многое. Мысли теснились в мозгу, забегали одна за другую. А слова получались корявые, невразумительные. Совсем запутавшись и расстроившись, я заявил:

— Не будем распускать нюни. Раз надо, значит нужно. И прошу: не сомневайтесь. Где бы ни был, останусь таким же. И никогда не забуду родину...

После этого я начал было прощаться, но Прошка Архипов остановил меня.

— Мы пойдем с тобой...

И вот мы всей ячейкой двинулись по селу. Мы шли в ряд и пели комсомольские песни. И весеннее утро от этого становилось еще светлее и радостнее. Нам улыбались люди, выходившие из хат. Нас приветствовало солнце, поднимавшееся над балкой.

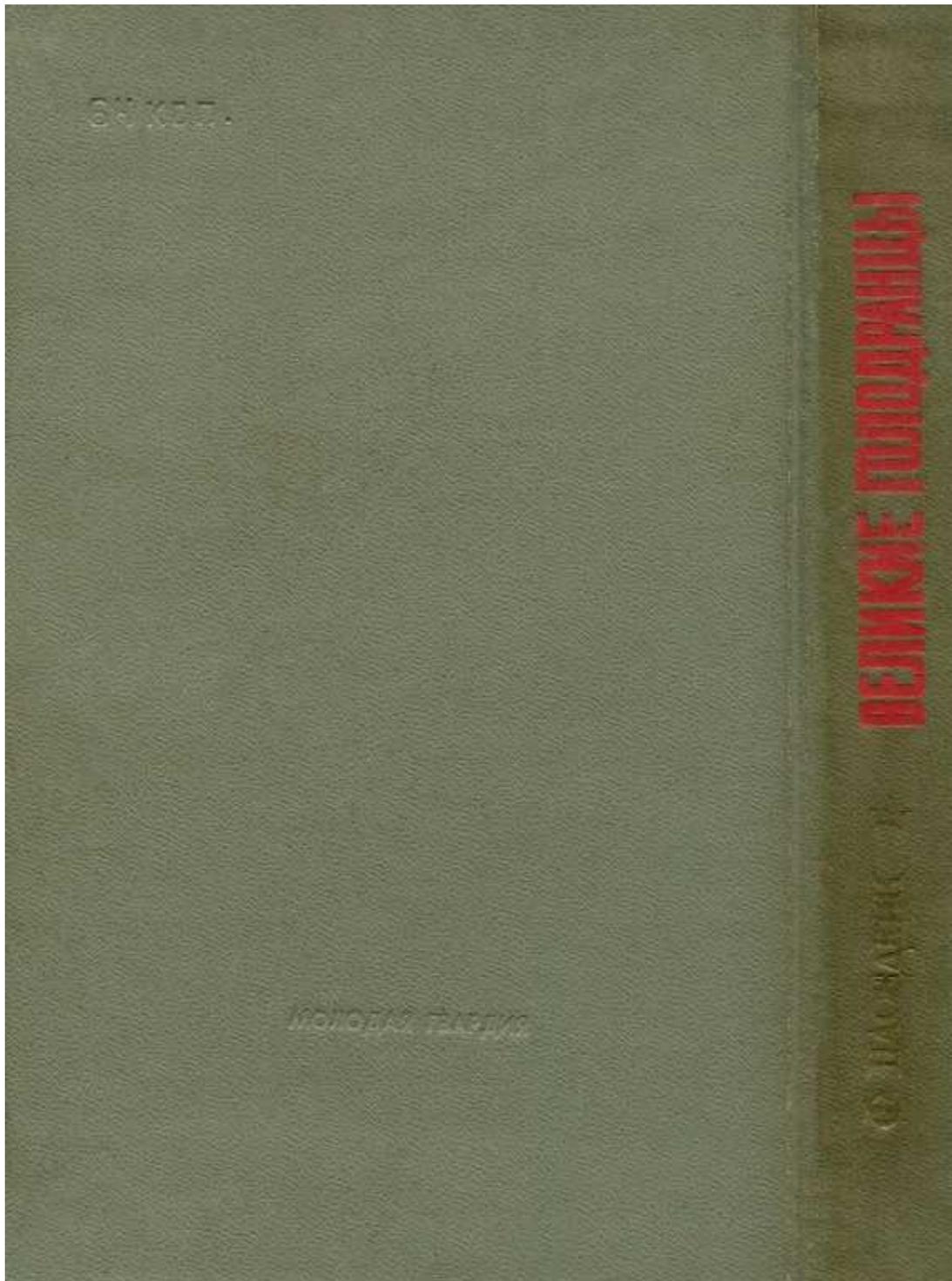
На окраине мы остановились. Прошка Архипов обнял меня, щекой прижался к щеке. Так же простились и другие ребята. А Ленка даже поцеловала меня. Я же кивнул всем, будто поклонившись, и сказал:

— До свидания, великие голодранцы!

И пошел по дороге с сундучком в руке. Я шел и чувствовал на себе их взгляд. Но не оборачивался, хотя трудно было удержаться. А не оборачивался потому, что боялся показать мокрые глаза. И только когда отошел далеко, оглянулся и поднял руку. Они тоже подняли руки и помахали мне.

— До свидания! — повторил я сквозь слезы. — Всего хорошего, дорогие друзья!..

1967



Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке](#)

[Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)